## Отверженные. Часть III. Мариус

Виктор Гюго

Перевод Н. А. Коган

### Книга первая

### Париж, изучаемый по атому

#### Глава 1

#### Parvulus[[1]](#footnote-1)

У Парижа есть ребенок, а у леса — птица; птица зовется воробьем, ребенок — гаменом.

Сочетайте оба эти понятия — пещь огненную и утреннюю зарю, дайте обеим этим искрам — Парижу и детству — столкнуться, — возникнет маленькое существо. Homuncio[[2]](#footnote-2), сказал бы Плавт.

Это маленькое существо жизнерадостно. Ему не всякий день случается поесть, но в театр, если вздумается, этот человечек ходит всякий вечер. У него нет рубашки на теле, башмаков на ногах, крыши над головой; он как птица небесная, у которой ничего этого нет. Ему от семи до тринадцати лет, он всегда в компании, день-деньской на улице, спит под открытым небом, носит старые отцовские брюки, спускающиеся ниже пят, старую шляпу какого-нибудь чужого родителя, нахлобученную ниже ушей; на нем одна подтяжка с желтой каемкой; он вечно рыщет, что-то ищет, кого-то подкарауливает; бездельничает, курит трубку, ругается на чем свет стоит, шляется по кабачкам, знается с ворами, на «ты» с мамзелями, болтает на воровском жаргоне, поет непристойные песни, но в сердце у него нет ничего дурного. И это потому, что в душе у него жемчужина — невинность, а жемчуг не растворяется в грязи. Пока человек еще ребенок, богу угодно, чтобы он оставался невинным.

Если бы спросили у огромного города: «Кто же это?» — он ответил бы: «Мое дитя».

#### Глава 2

#### Некоторые отличительные его признаки

Парижский гамен — это карлик при великане.

Не будем преувеличивать: у нашего херувима сточных канав иногда бывает рубашка, но в таком случае она у него единственная; у него иногда бывают башмаки, но в таком случае они без подметок; у него иногда есть дом, и он его любит, так как находит там свою мать, но он предпочитает улицу, так как находит там свободу. У него свои игры, свои проказы, в основе которых лежит ненависть к буржуа; свои метафоры: умереть на его языке называется «сыграть в ящик»; свои ремесла: приводить фиакры, опускать подножки у карет, взимать с публики во время сильных дождей дорожный сбор за переход с одной улицы на другую, что он называет «сооружать переправы», выкрикивать содержание речей, произносимых представителями власти в интересах французского народа, шарить на мостовой между камнями; у него свои деньги: подбираемый на улице мелкий медный лом. Эти курьезные деньги именуются «пуговицами» и имеют у маленьких бродяг хождение по строго установленному твердому курсу.

Есть у него также и своя фауна, за ней он прилежно наблюдает по закоулкам: божья коровка, тля «мертвая голова», паук «коси-сено», «черт» — черное насекомое, которое угрожающе крутит хвостом, вооруженным двумя рожками. У него свое сказочное чудовище; брюхо чудовища покрыто чешуей — но это не ящерица, на спине бородавки — но это не жаба; живет оно в заброшенных ямах для гашения извести и пересохших сточных колодцах; оно черное, мохнатое, липкое, ползает то медленно, то быстро, не издает никаких звуков, а только смотрит, и такое страшное, что его еще никто никогда не видел; он зовет это чудовище «глухачом». Искать глухачей под камнями — удовольствие из категории опасных. Другое удовольствие — быстро приподнять булыжник и поглядеть, нет ли мокриц. Каждый район Парижа славится интересными находками, на какие там можно набрести. На дровяных складах монастыря урсулинок водятся уховертки, близ Пантеона — тысяченожки, во рвах Марсова поля — головастики.

Что касается «словечек», то у этого ребенка их не меньше, чем у Талейрана. Он не уступит последнему в цинизме, но порядочней его. Он подвержен неожиданным порывам веселости и может ни с того ни с сего ошарашить лавочника сумасшедшим хохотом. Гамма его настроений легко переходит от высокой комедии к фарсу.

Проходит похоронная процессия. Среди провожающих покойника — доктор. «Гляди-ка, — кричит гамен, — с каких это пор доктора сами доставляют свою работу?»

Другой затесался в толпу. Солидный мужчина в очках, при брелоках, возмущенно оборачивается: «Негодяй, как ты смеешь «хватать талию» моей жены?» — «Что вы, сударь! Можете обыскать меня».

#### Глава 3

#### Он не лишен привлекательности

По вечерам, располагая несколькими су, которые он всегда находит способ раздобыть, homuncio отправляется в театр. Переступив за волшебный его порог, он преображается. Он был гаменом, он становится «тюти»[[3]](#footnote-3). Театры представляют собой подобие кораблей, перевернутых трюмами вверх. В эти трюмы и набиваются тюти. Между тюти и гаменом такое же соотношение, как между ночной бабочкой и ее личинкой; то же существо, но только летающее, парящее. Достаточно одного его присутствия, его сияющего счастьем лица, его бьющих через край восторгов и радостей, его рукоплесканий, напоминающих хлопанье крыльев, чтобы этот тесный, смрадный, темный, грязный, нездоровый, отвратительный, ужасный трюм превратился в парадиз.

Одарите живое существо всем бесполезным и отнимите у него все необходимое — и вы получите гамена.

Гамен не лишен литературного чутья. Однако, к крайнему нашему сожалению, классический стиль не в его вкусе. По природе своей гамен мало академичен. Так, например, м-ль Марс пользовалась у этих юных и буйных театралов популярностью, сдобренной некоторой дозой иронии. Гамен называл ее «мадемуазель Шептунья».

Это существо горланит, насмешничает, зубоскалит, дерется; оно обмотано в тряпки, как грудной младенец, одето в рубище, как философ. Этот оборвыш что-то удит в сточных водах, за чем-то охотится по клоакам; в самых нечистотах находит предмет веселья; вдохновенно сыплет руганью на всех перекрестках; издевается, свистит, язвит и напевает; равно готов и обласкать, и оскорбить; способен умерить торжественность «Аллилуйи» какой-нибудь залихватской «Матантюрлюретой»; петь на один лад все существующие мелодии, от «упокой господи» до озорных куплетов включительно. Он за словом в карман не лезет, знает и то, чего не знает, обнаруживает спартанскую непреклонность даже в плутнях, легкомыслие — даже в благоразумии, лиризм — даже в сквернословии. С него сталось бы присесть под кустик и на Олимпе; он мог бы вываляться в навозе, а встать осыпанным звездами. Парижский гамен — это Рабле в миниатюре.

Он недоволен своими штанами, если в них нет кармашка для часов.

Он редко бывает удивлен, еще реже — испуган. Высмеивает в песенках суеверия, разоблачает всякую ходульность и преувеличение, подтрунивает над таинственным, показывает язык привидениям, не находит прелести в пафосе, смеется над эпической напыщенностью. Отсюда не следует, однако, что он совсем лишен поэтической жилки; нисколько! Он просто склонен рассматривать торжественные видения как шуточные фантасмагории. Предстань пред ним Адамастор, гамен, наверное, сказал бы: «Вот так чучело!»

#### Глава 4

#### Он может быть полезным

Париж начинается зевакой и кончается гаменом — двумя существами, каких неспособен породить никакой иной город; пассивное восприятие, удовлетворявшееся созерцанием, и неиссякаемая инициатива; Прюдом и Фуйу. Только в истории Парижа и можно найти нечто подобное. Зевака — воплощение монархического начала. Гамен — анархического.

Это бледное дитя парижских предместий живет и развивается, «зацветает» и «расцветает» в страданиях, в гуще социальной действительности и людских дел, вдумчивым свидетелем происходящего. Сам ребенок мнит себя беззаботным, но он не беззаботен. Он смотрит, готовый рассмеяться, но готовый и к другому. Кто бы вы ни были, вы, что зоветесь Предрассудком, Злоупотреблением, Подлостью, Угнетением, Насилием, Деспотизмом, Несправедливостью, Фанатизмом, Тиранией, берегитесь гамена, хотя он и глазеет, разинув рот.

Этот малыш вырастет.

Из какого теста он вылеплен? Из первого попавшегося комка грязи. Берут пригоршню земли, дунут — и Адам готов. Нужно только божественное прикосновение. А в нем никогда не бывает отказано гамену. Сама судьба принимает на себя заботу об этом маленьком создании. Под словом «судьба» мы подразумеваем отчасти случайность. Этот пигмей, вылепленный из грубой общественной глины, темный, невежественный, ошеломленный окружающим, вульгарный, дитя подонков, станет ли он ионийцем или беотийцем? Дайте срок, currit rota[[4]](#footnote-4), и дух Парижа, этот демон, равно создающий и людей жалкой судьбы, и людей высокого жребия, в противоположность римскому горшечнику, превратит кружку в амфору.

#### Глава 5

#### Границы его владений

Гамен любит город, но, поскольку в гамене живет мудрец, он любит также и уединение. Urbis amator[[5]](#footnote-5), как Фуск; ruris amator[[6]](#footnote-6), как Гораций[[7]](#footnote-7).

Бродить, предаваясь раздумью, то есть прогуливаться прогулки ради, — самое подходящее времяпрепровождение для философа. В особенности же бродить по этому подобию деревни, по этой ублюдочной, достаточно безобразной, но своеобычной и обладающей двойственным характером местности, что окружает многие большие города и в частности Париж. Наблюдать окраины — все равно что наблюдать амфибию. Конец деревьям — начало крышам, конец траве — начало мостовой, конец полям — начало лавкам, конец мирному житью — начало страстям, конец божественному шепоту — начало людскому говору, — вот что придает окраинам особый интерес.

Вот что заставляет мечтателя совершать свои с виду бесцельные прогулки в эти малопривлекательные окрестности, раз и навсегда заклейменные прохожими эпитетом «печальные».

Пишущий настоящие строки и сам когда-то любил бродить за парижскими заставами, что служит ныне для него источником неизгладимых воспоминаний. Этот подстриженный газон, эти каменистые тропинки, эта меловая, мергелевая или гипсовая почва, эта суровая монотонность лежащих под паром или невозделанных полей, эти огороды с грядками ранних овощей, неожиданно возникающие где-нибудь на заднем плане, эта смесь дикости с домовитостью, эти обширные и безлюдные задворки, где полковые барабаны, отбивая громкую дробь, пытаются напомнить о громах сражений, эти пустыри, превращающиеся по ночам в разбойничьи притоны, неуклюжая мельница с вертящимися на ветру крыльями, подъемные колеса каменоломен, кабачки на углах кладбищ, таинственная прелесть высоких мрачных стен, замыкающих в своих квадратах огромные пустые пространства, залитые солнцем и полные бабочек, — все это привлекало его.

Мало кому известны такие необычные места, как Гласьер, Кюнет, отвратительная, испещренная пулями стена Гренель, Мон-Парнас, Фос-о-Лу, Обье на крутом берегу Марны, Мон-Сури, Томб-Исуар, Пьер-Плат в Шатильоне, со старой истощенной каменоломней, где теперь лишь растут грибы и куда ведет откидной трап из сгнивших досок. Римская Кампанья есть некое обобщенное понятие; парижское предместье является таким же обобщенным понятием. Не видеть ничего, кроме полей, домов и деревьев, в открывающихся нашим взорам картинах — значит скользить по поверхности. Все зримые предметы суть мысли божьей. Местность, где равнина сливается с городом, всегда проникнута какой-то скорбной меланхолией. Здесь слышатся одновременно и голос природы, и голос человека. Здесь все полно своеобразия.

Тем, кому, подобно нам, доводилось бродить по примыкающим к нашим предместьям пустынным окрестностям, которые можно было бы назвать преддвериями Парижа, наверное, не раз случалось видеть в самых укромных и неожиданных местах, за каким-нибудь ветхим забором, или в углу у какой-нибудь мрачной стены, шумные ватаги дурно пахнущей, грязной, запыленной, оборванной, нечесаной, но в венках из васильков, детворы, играющей в денежки. Все это — дети бедняков, покинувшие свой дом. За чертой города им легче дышится. Предместье — их стихия. Они вечно пропадают здесь, болтаясь без дела. Здесь простодушно распевают они весь свой репертуар непристойных песен. Это завсегдатаи предместья; вернее, тут, вдали от посторонних взоров, в легкой ясности майского или июньского дня, и протекает по-настоящему их жизнь. Вырвавшись на волю, ни перед кем не обязанные держать ответ, свободные, счастливые, они, собравшись в кружок, катают каменные шарики, загоняя их ударом большого пальца в ямку, и препираются из-за поставленной на кон полушки. Завидя вас, они тотчас же вспоминают, что у них есть ремесло, что им надо зарабатывать свой хлеб насущный, и предлагают вам купить у них то старый шерстяной чулок, набитый майскими жуками, то пучок сирени. Эти необычные встречи с детьми придают особую и вместе с тем горькую прелесть прогулкам по парижским окрестностям.

Иногда в толпе мальчиков попадаются и девочки — их сестры, быть может? — почти уже взрослые девушки, худенькие, возбужденные, с загорелыми руками и веснушчатыми лицами, веселые, пугливые, босоногие, с колосьями ржи и маками в волосах. Некоторые из них, забравшись в рожь, едят вишни. По вечерам можно услышать их смех. Группы детей, то ярко освещенные знойными лучами полуденного солнца, то едва различимые в сумерках, надолго завладевают мечтателем, и эти картины примешиваются к его грезам.

Париж — центр, его предместья — окружность; вот, в представлении детей, и весь земной шар. Ничто не заставит их переступить за эти пределы. Им так же не обойтись без парижского воздуха, как рыбе без воды. За два лье от заставы для них уже пустота; Иври, Жантильи, Аркейль, Бельвиль, Обервилье, Менильмонтан, Шуази-ле-Руа, Билянкур, Медон, Исси, Ванвр, Севр, Пюто, Нельи, Женевилье, Коломб, Роменвиль, Шату, Аньер, Буживаль, Нантер, Энгьен, Нуази-ле-Сэк, Ножан, Гурне, Дранси, Гонес — этим кончается вселенная.

#### Глава 6

#### Немножко истории

В эпоху, когда происходят описываемые в настоящей книге события, — кстати сказать, почти нам современную, — на углу каждой улицы (благодеяние, о котором здесь не время распространяться) не стоял, как ныне, постовой, и Париж кишел тогда маленькими бродягами. Из статистических данных видно, что полицейскими облавами на неотгороженных пустырях, в строящихся зданиях и под сводами мостов ежегодно задерживалось в среднем до двухсот шестидесяти бесприютных детей. В одном из таких стяжавших себе известность гнезд вывелись «ласточки Аркольского моста». Вообще же говоря, это самый грозный из симптомов всех общественных болезней. Все преступления взрослых людей берут свое начало в бродяжничестве детей.

Однако для Парижа надо сделать исключение. Несмотря на вышеприведенную справку, Париж до известной степени имеет на это право. Тогда как во всяком другом большом городе маленького бродягу можно уже заранее считать человеком погибшим, тогда как почти везде ребенок, предоставленный самому себе, как бы уже самой судьбой обречен погрязнуть в пороках нашего общества, отнимающих у него честь и совесть, парижский гамен, такой искушенный и испорченный с виду, остается — мы настаиваем на этом — внутренне почти нетронутым. Это замечательное явление особенно ярко выражено в изумительной честности наших народных революций, и как в водах океана — соль, так в воздухе Парижа растворены некие идеи, предохраняющие от порчи. Дышишь парижским воздухом и сохраняешь душу.

Но, что бы мы ни говорили, сердце болезненно сжимается всякий раз, когда встречаешь этих детей, за которыми, кажется, так и видишь концы оборванных нитей, связывавших их с семьей. При нынешнем столь еще несовершенном состоянии цивилизации существование таких распадающихся семей, которые стараются потихоньку освободиться от лишних ртов, равнодушны к участи собственных детей и выбрасывают свое потомство на улицу, не представляется чем-то из ряда вон выходящим. Отсюда происхождение безродных людей. Это печальное явление стало настолько обыденным, что сложилось даже особое выражение «быть выкинутым на парижскую мостовую».

Укажем попутно, что старую монархию отнюдь не беспокоило подобное небрежение к детям. Существование некоторого количества праздношатающихся и бродяг в низших слоях общества устраивало высшие сферы и было на руку власть имущим. «Вред» распространения образования среди детей простого народа был возведен в догму. «Нам не нужны недоучки» — стало требованием дня. А детская невежественность логически вытекает из детской бесприютности.

Впрочем, по временам монархия испытывала нужду в детях и в таких случаях производила очистку улиц.

При Людовике XIV, чтоб не заходить слишком далеко, — по желанию короля, и желанию весьма разумному, — было решено создать флот. Идея сама по себе хорошая, но посмотрим, какими средствами она осуществлялась. Флот немыслим, если наряду с парусными судами, являющимися игрушкой ветра, нет в помощь им также судов, свободно передвигающихся в любом направлении с помощью весел или пара. Место нынешних пароходов в те времена занимали во флоте галеры. Следовательно, нужно было обзавестись галерами. Но галеры не могут плавать без гребцов. Следовательно, нужно было обзавестись гребцами. Кольбер, при посредстве провинциальных интендантов и парламентов, увеличивал, сколько мог, число каторжников. Судейские весьма услужливо шли ему в этом навстречу. Человек не снял шляпы перед проходившей мимо церковной процессией — гугенотская повадка — его отправляли на галеры. Попадался мальчишка на улице, и если только оказывалось, что он уже достиг пятнадцатилетнего возраста и у него нет приюта, — его отправляли на галеры. Великое царствование, великий век!

При Людовике XV в Париже наблюдались случаи исчезновения детей. Полиция похищала их в каких-то неведомых, таинственных целях. Люди с ужасом перешептывались и строили чудовищные предположения относительно ярко-алого цвета королевских ванн. Барбье простодушно повествует об этом. Случалось, что полицейские из-за нехватки детей забирали и таких, у которых были родители. Отцы в отчаянии набрасывались на полицейских. Тогда вмешивался в дело парламент и приговаривал к повешенью. Кого? Полицейских? Нет, отцов!

#### Глава 7

#### Гамены могли бы образовать индийскую касту

Парижские гамены — это почти что каста. И, надо сказать, не всякому открыт в нее доступ.

Слово «гамен» впервые попало в печать и перешло из простонародного языка в литературный в 1834 году. Оно появилось в первый раз на страницах небольшого рассказа, озаглавленного «Клод Ге». Разыгрался шумный скандал. Но слово привилось.

Основания, на которых зиждется уважение гаменов друг к другу, весьма разнообразны. Мы близко знали одного гамена, который пользовался большим почетом и вызывал необыкновенный восторг товарищей, потому что он видел, как человек упал с колокольни собора Парижской Богоматери. Другой добился такого же почета потому, что ему удалось пробраться на задний двор, где временно были сложены статуи с купола Дома инвалидов, и «стибрить» там малую толику свинца. Третий — потому, что видел, как опрокинулся дилижанс. Еще один — потому, что «знавал» солдата, который чуть было не выколол глаз какому-то буржуа.

Вот почему становится понятным восклицание одного парижского гамена — глубокомысленное восклицание, над которым по неведению смеются непосвященные: *«Господи, боже мой! Какой же я несчастный! Подумать только, ведь мне еще ни разу не пришлось видеть, как падают с шестого этажа!»* (Причем *мне* произносилось, как *мине*, а этаж, как *етаж.* )

Надо заметить, что недурно сказал и один крестьянин: «Послушай, отец, твоя жена хворала и умерла от болезни; почему ты не позвал доктора?» — «Воля ваша, сударь, мы люди бедные, нам приходится умирать *самосильно* ». Но если в этих словах отражена вся крестьянская пассивность, то все вольнодумство и анархизм мальчонки из предместья нашли полное отражение в нижеследующем: преступник, приговоренный к смертной казни, слушает в тележке, везущей его к месту казни, напутствие духовника. «Он разговаривает с попом! — негодующе восклицает дитя Парижа. — Экий трус!»

Некоторая смелость в вопросах религии придает гамену авторитет. Очень важно быть свободомыслящим.

Присутствовать при казнях — его долг. Гамены разглядывают гильотину, со смехом обмениваются замечаниями, дают ей разные шутливые прозвища: «Прощай, суп», «Ворчунья», «Голубая (небесная) мамаша», «Последний глоточек» и т. д. и т. д. Чтобы ничего не упустить из предстоящего зрелища, они влезают на стены, взбираются на балконы, карабкаются на деревья, виснут на решетках, цепляются за трубы. Гамен — прирожденный кровельщик, как и прирожденный моряк. Ни крыша, ни мачта ему не страшны. Никакое празднество не может для него сравниться с Гревской площадью. Сансон и аббат Монтес — поистине самые популярные имена. Чтобы подбодрить осужденного, его встречают гиканьем. Иногда им восхищаются. Ласнер, будучи гаменом и глядя, как мужественно умирал страшный Дотен, произнес слова, исполненные предчувствия собственной судьбы: «Я ему завидовал». Никто среди гаменов не слыхал о Вольтере, но зато все отлично знают Папавуана. В этом сонме героев не делают различия между «политиками» и убийцами. Предание о том, кто какой вид имел в свой последний час, одинаково сохраняется обо всех. Известно, что Толерон был в шапке кочегара, Авриль — в меховой фуражке, Лувель — в круглой шляпе, что лысый старик Делапорт оставался с непокрытой головой, что Кастен был румян и очень красив, Бориес носил короткую романтическую бородку, Жан Мартен не снял подтяжек, а мать и сын Лекуфе ссорились между собой. «Хватит вам делить вашу корзину!» — крикнул им какой-то гамен. Другой, желая посмотреть, как повезут Дебакера, но из-за малого своего роста ничего не видя в толпе, облюбовывает себе фонарный столб на набережной и лезет на него. Стоящий возле на посту жандарм хмурит брови. «Позвольте мне влезть, господин жандарм, — просит гамен. И, чтобы задобрить служителя власти, добавляет: — Я не свалюсь». — «А мне-то что, свалишься ты или нет», — ответствует жандарм.

Большое значение придается среди гаменов несчастным случаям. Высший почет обеспечен тому, кому случится, например, глубоко, «до самой кости», порезаться.

Немалым уважением пользуется у гаменов также кулак. Излюбленная фраза гамена: «Я здорово сильный. Во!» Быть левшой считается очень завидным свойством, а косить на оба глаза — весьма ценным качеством.

#### Глава 8,

#### в которой прочтут об одной милой шутке последнего короля

С наступлением лета гамен превращается в лягушку. По вечерам, когда стемнеет, с какой-нибудь угольной баржи или плота, где стирают прачки, в полное нарушение всех законов стыдливости и полицейских правил он бросается вниз головой в Сену, прямо против Аустерлицкого или Иенского моста. Но, поскольку полицейские не дремлют, положение частенько становится крайне драматичным, что и породило раздавшийся в один прекрасный день достопамятный братский клич. Клич этот, получивший славную известность около 1830 года, является стратегическим предостережением, передаваемым от гамена к гамену. Он скандируется, как строфы Гомера, почти с такими же малодоступными пониманию ударениями, как мелопеи элевзинских празднеств, и в нем слышится античное «Эвоэ!». Вот этот клич: «Гей, тютий, ге-эй, не заразись! Фараоны близко, шевелись, собирай свои пожитки, живо, сточной трубы держись!»

Иногда эта мошкара, как они сами себя называют, умеет читать, иногда писать, но рисовать, с грехом пополам, умеет всегда. Какими-то таинственными путями взаимного обучения гамен приобретает таланты, которые могут оказаться полезными общественному делу. С 1815 по 1830 год он подражал крику индюка. С 1830 по 1848-й — малевал на всех стенах груши. Раз летним вечером Луи-Филипп, возвращаясь пешком во дворец, заметил карапуза, который, обливаясь потом и приподнимаясь на цыпочках, старался нарисовать углем огромную грушу на одном из столбов решетки в Нельи. С присущим ему добродушием, унаследованным от Генриха IV, король помог ребенку и сам нарисовал грушу, а затем дал ему луидор, пояснив: «Тут тоже груша». Гамен любит шум и гам, рад всякому скандалу. Он терпеть не может «попов». Как-то на Университетской улице одного из таких шельмецов застали рисующим нос на воротах дома № 69. «Зачем ты это делаешь?» — спросил его прохожий. «Здесь живет поп», — ответил ребенок. В доме действительно жил папский нунций. Но как бы ни был в гамене силен вольтерьянский дух, он не прочь при случае вступить в церковный хор, и тогда он добросовестно выполняет во время службы свои обязанности. Две вещи, которых он, страстно желая, никак не может достигнуть, обрекают его на муки Тантала, — это низвергнуть правительство и отдать починить свои штаны.

Гамен в совершенстве знает всех парижских полицейских и, встретившись с любым, безошибочно назовет его имя. Он может перечислить их всех по пальцам. Изучает их повадки, имеет о каждом определенное мнение. Как в открытой книге, читает он в душе полицейских и живо, без запинки, отрапортует вам: «Вот этот — ябеда; этот — злюка; этот — задавака; этот — сущая умора (все эти слова: ябеда, злюка, задавака, умора — имеют в его устах особый смысл); а вот тот вообразил себя хозяином Нового моста и не дает *публике* прогуливаться по карнизам по ту сторону перил; а вот у этого прескверная привычка драть *людей* за уши» и т. д., и т. д.

#### Глава 9

#### Древний дух Галлии

Что-то родственное с этим ребенком было у Поклена — сына рынка; было оно и у Бомарше. Гаменство — разновидность галльского характера. Примешанное к здравому смыслу, оно придает ему порой крепость, как алкоголь вину, иногда же является недостатком. Если можно допустить, что Гомер пустословит, то про Вольтера можно сказать, что он гаменствует. Камилл Демулен был жителем предместий. Шампионе, весьма невежливо обращавшийся с чудесами, вырос на парижской мостовой. Еще мальчишкой он «орошал» паперти церквей Сен-Жан-де-Бове и Сент-Этьен-дю-Мон. А взяв себе привычку бесцеремонно «тыкать» раке святой Женевьевы, он, не задумываясь, отдал команду и фиалу святого Януария.

Парижский гамен одновременно почтителен, насмешлив и нагл. У него скверные зубы, потому что он плохо питается, и желудок его всегда не в порядке, но прекрасные глаза — потому что он умен. В присутствии самого Иеговы он не постеснялся бы вприпрыжку, на одной ножке, взбираться по ступенькам райской лестницы. Он мастер ножного бокса. Пути его развития неисповедимы. Вот он играет, согнувшись, в канавке, а вот уже выпрямляет спину, вовлеченный в восстание. Картечи не сломить его дерзости: миг — и сорвиголова становится героем. Подобно маленькому фиванцу, потрясает он львиной шкурой. Барабанщик Бара́ был парижским гаменом. Как конь Священного Писания подает голос: «Гу-гу!», так он кричит: «Вперед!», и мгновенно мальчонка вырастает в великана.

Это дитя не только скверны, но и высоких идеалов. Измерьте всю широту размаха от Мольера до Бара.

Итак, резюмируем: гамен — существо, которое забавляется, потому что оно несчастно.

#### Глава 10

#### Ессе Paris, ecce homo[[8]](#footnote-8)

А теперь резюмируем еще раз: парижский гамен является ныне тем же, чем был некогда римский graeculus[[9]](#footnote-9). Это народ-дитя с морщинами старого мира на челе.

Гамен — краса нации и одновременно — ее недуг. Недуг, который нужно лечить. Но чем? Учением.

Учение оздоровляет.

Учение просвещает.

Единственным источником всего благородного в сфере социальных отношений является наука, литература, искусство, образование. Воспитывайте же, воспитывайте людей. Дайте им свет знаний, чтобы они могли согревать вас. Рано или поздно великий вопрос всеобщего обучения завоюет признание непреложной истины, и тогда тем, кто будет стоять у власти, придется под давлением французской прогрессивной мысли решать, на ком остановить свой выбор: на истинном ли сыне Франции, или на гамене Парижа; на ярком ли пламени, зажженном лучами просвещения, или на болотном огоньке, мерцающем во мраке невежества.

Гамен — олицетворение Парижа, а Париж — олицетворение мира.

Ибо Париж всеобъемлющ. Париж — мозг человечества. Этот изумительный город представляет собою изображение в миниатюре всех отживших и всех существующих нравов. Глядя на Париж, кажется, что видишь изнанку всеобщей истории, человечества, а в разрывах — небо и звезды. У Парижа есть свой Капитолий — городская ратуша, свой Парфенон — Собор Парижской богоматери, свой Авентинский холм — Сент-Антуанское предместье, свой Азинарий — Сорбонна, свой Пантеон — тоже Пантеон, своя Священная дорога — бульвар Итальянцев, своя Башня ветров — общественное мнение; и он не сбрасывает с Гемоний — он отдает на посмешище. Его majo[[10]](#footnote-10) зовется хлыщом, транстеверинец — жителем предместья, hammal[[11]](#footnote-11) — крючником, ладзарони — мазуриком, кокней — фатом. Все, что существует где бы то ни было, есть и в Париже. Рыбная торговка Дюмарсе сумела бы подать реплику Еврипидовой зеленщице; дискобол Веян оживает в канатном плясуне Фориозо; воин Ферапонтигон мог бы пройтись под ручку с гренадером Вадебонкером, антикварий Дамасип, наверно, чувствовал бы себя как дома у парижских торговцев старым хламом; Сократ, конечно, был бы брошен в Венсенский замок, а Дидро засажен Агорой в тюрьму; и если Куртилусу принадлежит такое изобретение, как жареный еж, то Гримо де ла Реньеру — такое, как ростбиф в сале; в шарообразном куполе арки Звезды мы видим возрожденной трапецию Плавта; повстречавшийся Апулею пожиратель мечей с афинского портика Пойтиле теперь глотает шпаги на Новом мосту; племянник Рамо и прихлебатель Куркульон составили бы превосходную парочку; д’Эгрфейль не преминул бы познакомить Эргасила с Камбасересом; четырех римских щеголей — Алкесимарха, Федрома, Диабола и Аргириппа — в наши дни можно видеть возвращающимися из Куртиль в почтовой карете Лабатю; Авл Гелий задерживался перед Конгрионом не дольше, чем Шарль Нодье перед Полишинелем; правда, Мартон нельзя назвать неумолимой, но и Пардалиска не была недоступной; весельчак Пантолаб и сейчас потешается в английском кафе над гулякой Номентаном; Гермоген стал тенором на Елисейских полях, а плут Фразий, нарядившись Бобешем, расхаживает возле него и собирает пожертвования; назойливый субъект, который останавливает вас в Тюильри, схватив за пуговицу сюртука, заставляет вас через две тысячи лет повторить апострофу Фесприона: «Quis properantem me prehendit pallio?»[[12]](#footnote-12); сюренское вино — подделка албанского, а налитый до краев бокал Дезожье ничем не уступает полной чаше Балатрона; в дождливые ночи от Пер-Лашез исходит такое же свечение, как от Эсквилина, и купленная на пять лет могила бедняка стоит взятого напрокат гроба рабов.

Попробуйте отыскать что-либо такое, чего бы не было в Париже. Содержимое чана Трофония найдется в сосуде Месмера; Эргафил воскресает в Калиостро; брамин Вазафанта воплощается в графа Сен-Жермен; чудеса Сен-Медарского кладбища ничуть не менее поразительны, чем чудеса мечети Умумие в Дамаске.

У Парижа есть свой Эзоп — Майе, своя Канидия — девица Ленорман. Как некогда Дельфы, и его покой смущают явления светящихся духов, и он занимается верчением столов, как Додона — верчением треножников. Пусть Рим возводил на трон куртизанок — он возводит на него гризеток; в конце концов, если Людовик XV и хуже Клавдия, то г-жа Дюбарри лучше Мессалины. Сочетая греческую ясность с еврейской уязвленностью и гасконским краснобайством, Париж создает небывалый тип человека, который, однако, существовал и с которым нам приходилось сталкиваться. Сделав месиво из Диогена, Иова и Паяца, нарядив призрак в старые номера «Конституционалиста», он производит на свет божий Шодрюка Дюкло.

Хотя Плутарх и говорит, что «тирана ничто не смягчит», при Сулле и Домициане Рим был смирен и безропотно разбавлял свое вино водой. Тибр, если верить несколько доктринерской похвале Вара Вибиска, играл в данном случае роль Леты: «Contra Gracchos Tiberim habemus. Bibere Tiberim, id est seditionem oblivisci»[[13]](#footnote-13), говорит Вар. Париж выпивает ежедневно миллион литров воды, что не мешает ему, однако, при случае бить в набат и поднимать тревогу.

А при всем том Париж — добрый малый. Он царственно приемлет все и не слишком щепетилен в любовных делах; его Венера — из готтентоток; он готов все простить, только бы посмеяться; физическое уродство его веселит, духовное забавляет, порок развлекает; ежели ты затейник — будь хоть мошенник; его не возмущает даже лицемерие — эта последняя степень цинизма; он достаточно начитан, чтобы не зажимать нос при появлении дона Базилио, а молитва Тартюфа шокирует его не больше, чем Горация «икота» Приапа. Чело Парижа повторяет все черты вселенского лика. Разумеется, бал в саду Мабиль — не полимнийские пляски на Яникулейском холме, но торговка галантереей вразнос выслеживает там лоретку, точь-в-точь как сводня Стафила — девственницу Планесию. Разумеется, застава Боев не Колизей, но и там проявляют кровожадность, как некогда в присутствии Цезаря. Надо думать, что сирийские трактирщицы отличались большей миловидностью, чем тетушка Саге; однако если Вергилий был завсегдатаем римских трактиров, то Давид Д’Анже, Бальзак и Шарле сиживали за столиками парижских кабачков. Париж царит. Там блещут гении и процветают шуты. Там на своей колеснице о двенадцати колесах в громах и молниях проносится Адонай; и сюда же въезжает на своей ослице Силен. Силен — читай Рампоно.

Париж — синоним космоса. Париж — это Афины, Рим, Сибарис, Иерусалим, Пантен. Здесь вкратце представлены все виды культур и все виды варварства. Отнять у Парижа гильотину — значило бы сильно его раздосадовать.

Гревская площадь в небольшой дозе не вредна. Мог ли такой вечный праздник без подобной приправы быть в праздник? Наши законы мудро это предусмотрели, и кровь с ножа гильотины капля по капле стекает на этот нескончаемый карнавал.

#### Глава 11

#### Глумясь, властвовать

Границ Парижа не укажешь, их нет. Из всех городов лишь ему удавалось утверждать господство над своими подъяремными, осмеивая их. «Понравиться вам, о афиняне!» — воскликнул Александр. Париж не только создает законы, он создает нечто большее — моду; и еще нечто большее, чем мода, — он создает рутину. Вздумается ему, и он вдруг становится глупым, он разрешает себе иногда такую роскошь; и тогда весь мир глупеет вместе с ним; а потом Париж просыпается, протирает глаза и со словами: «Ну не дурак ли я!» — разражается оглушительным смехом прямо в лицо человечеству. Что за чудо-город! Самым непостижимым образом здесь грандиозное уживается с шутовским, пародия с подлинным величием, одни и те же уста могут нынче трубить в трубу Страшного суда, а завтра в детскую дудочку. У Парижа царственный веселый характер. В его забавах — молнии, его проказы державны. Здесь гримасе случается вызвать бурю. Гул его взрывов и битв докатывается до края вселенной. Его шедевры, диковины, эпопеи, как, впрочем, и весь его вздор, становятся достоянием мира. Его смех, вырываясь, как из жерла вулкана, лавой заливает землю. Его буффонады сыплются искрами. Он равно навязывает народам и свои нелепости, и свои идеалы; высочайшие памятники человеческой культуры покорно сносят его насмешки и отдают ему на забаву свое бессмертие. Он великолепен; у него есть беспримерное 14 июля, принесшее освобождение миру; он зовет все народы произнести клятву в Зале для игры в мяч; его ночь на 4 августа в какие-нибудь три часа свергает тысячелетнюю власть феодализма. Природное здравомыслие он умеет обратить в мускул согласованного действия людской воли. Он множится, возникая во всех формах возвышенного; отблеск его лежит на Вашингтоне, Костюшко, Боливаре, Боццарисе, Риего, Беме, Манине, Лопеце, Джоне Брауне, Гарибальди. Он всюду, где загорается надежда человечества: в 1779 году — он в Бостоне, в 1820-м — на острове Леоне, в 1848-м — в Пеште, в 1860-м — в Палермо. Он повелительно шепчет на ухо пароль: *Свобода* и американским аболиционистам, толпящимся на пароме в Харперс-Ферри, и патриотам Анконы, собирающимся в сумерках в Арчи на берегу моря, перед таверной Гоцци. Он родит Канариса, Квирогу, Пизакане; от него берет начало все великое на земле; им вдохновленный Байрон умирает в Миссолонги, а Мазе в Барселоне; под ногами Мирабо — он трибуна, под ногами Робеспьера — кратер вулкана; его книги; его театр, искусство, наука, литература, философия служат учебником, по которому учится все человечество; у него есть Паскаль, Ренье, Корнель, Декарт, Жан-Жак, Вольтер для каждой минуты, а для веков — Мольер; он заставляет говорить на своем языке все народы, и язык этот становится глаголом; он закладывает во все умы идеи прогресса, а выкованные им освободительные теории служат верным оружием для поколения; с 1789 года дух его мыслителей и поэтов почиет на всех героях всех народов. Все это нисколько не мешает ему повесничать, и исполинский гений, именуемый Парижем, видоизменяя своей мудростью мир, может в то же время рисовать углем нос Бужинье на стене Тезеева храма и писать на пирамидах: «Кредевиль — вор».

Париж всегда скалит зубы: он либо рычит, либо смеется.

Таков Париж. Дымки над его крышами — идеи, уносимые в мир. Груда камней и грязи, если угодно, но прежде всего и превыше всего — существо, богатое духом. Он не только велик, он необъятен. Вы спросите, почему? Да потому, что смеет дерзать.

Дерзать! Ценой дерзаний достигается прогресс.

Все блистательные победы являются в большей или меньшей степени наградой за отвагу. Чтобы революция совершилась, недостаточно было Монтескье ее предчувствовать, Дидро проповедовать, Бомарше провозгласить, Кондорсе рассчитать, Аруэ подготовить, Руссо провидеть, — надо было, чтобы Дантон дерзнул.

*Смелее!* Этот призыв — тот же Fiat lux[[14]](#footnote-14). Человечеству для движения вперед необходимо постоянно иметь перед собой на вершинах славные примеры мужества. Подвиги храбрости заливают историю ослепительным блеском, и это одни из ярчайших светочей людей. Заря дерзает, когда занимается. Пытаться, упорствовать, не покоряться, быть верным самому себе, вступать в единоборство с судьбой, обезоруживать опасность бесстрашием, бить по несправедливой власти, клеймить захмелевшую победу, крепко стоять, стойко держаться — вот уроки, нужные народам, вот свет, их воодушевляющий. От факела Прометея к носогрейке Камброна змеится все та же грозная молния.

#### Глава 12

#### Будущее, таящееся в народе

Что касается простого парижского люда, то и в зрелом возрасте он остается гаменом. Дать изображение ребенка — значит дать изображение города; вот почему для изучения этого орла мы воспользовались обыкновенным воробышком.

Наилучшие представления о парижском племени — мы настаиваем на этом — можно получить в предместьях; тут самая чистая его порода, самое подлинное его лицо; тут весь этот люд трудится и страдает, а в страданиях и в труде и выявляются два истинных лика человека. Тут, в несметной толпе никому не ведомых людей, кишмя кишат самые необычайные типы, начиная от грузчика с Винной пристани и кончая живодером с монфоконской свалки. Fex urbis[[15]](#footnote-15), — восклицает Цицерон; mob[[16]](#footnote-16), — добавляет негодующий Берк; сброд, масса, чернь — эти слова произносятся с легким сердцем. Но пусть так! Что за важность? Что из того, что они ходят босые? Они неграмотны, тем хуже. Неужели вы бросите их за это на произвол судьбы? Их несчастья вы превратите в проклятие? Неужели просвещению не дано проникнуть в народную гущу? Так повторим же наш призыв к просвещению. Так не устанем же твердить: «Просвещения! Просвещения!» Как знать, быть может, тьма эта и рассеется. Разве революции не несут преображения? Слушайте же меня вы, философы: обучайте, разъясняйте, просвещайте, мыслите вслух, говорите во всеуслышание, радостные духом, действуйте открыто, при блеске дня, братайтесь с площадями, возвещайте благую весть, щедро оделяйте букварями, провозглашайте права человека, пойте марсельезы, пробуждайте энтузиазм, срывайте зеленые ветки с дубов. Обратите идеи в вихрь. Толпу можно возвысить. Сумеем же использовать ту неукротимую бурю, какою в иные минуты разражается, бушует и шумит мысль и моральное чувство людей. Эти босые ноги, эти голые руки, эти лохмотья, это невежество, эта униженность и темнота — все это может быть направлено на завоевание великих идеалов. Вглядитесь поглубже в народ, и вы увидите истину. Киньте грязный песок из-под ваших ног в горнило, дайте этому песку плавиться и кипеть, и он превратится в дивный кристалл, благодаря которому Галилей и Ньютон откроют небесные светила.

#### Глава 13

#### Маленький Гаврош

Примерно восемь или девять лет спустя после событий, рассказанных во второй части настоящей повести, на бульваре Тампль и близ Шато-д’О можно было часто видеть мальчика лет одиннадцати-двенадцати, который вполне подошел бы под нарисованный нами выше портрет гамена, не будь у него так пусто и мрачно на сердце, хотя, как всякий в его возрасте, он не прочь был и посмеяться. Ребенок этот был наряжен в мужские брюки, но не отцовские, и в женскую кофту, но не материнскую. Чужие люди одели его из милости в лохмотья. А между тем у него были и отец, и мать. Но отец не желал его знать, а мать его не любила. Он принадлежал к тем заслуживающим особого сострадания детям, которые, имея родителей, живут сиротами.

Лучше всего ребенок этот чувствовал себя на улице. Мостовая была для него менее жесткой, чем сердце матери.

Родители пинком ноги выбросили его в жизнь. Он, не прекословя, покорился.

Это был шумливый, бойкий, смышленый, задорный мальчик, с живым, но болезненным выражением бледного лица. Он шнырял по городу, напевал, играл в бабки, рылся в канавках, поворовывал, но делал это весело, как кошки и воробьи, смеялся, когда его называли постреленком, и обижался, когда его называли бродяжкой. У него не было ни крова, ни пищи, ни тепла, ни любви, но он был радостен, потому что был свободен.

Когда эти жалкие создания вырастают, они почти неизбежно попадают под жернов существующего социального порядка и размалываются им. Но пока они дети и малы, они ускользают. Любая норка может укрыть их.

Однако, как ни заброшен был этот ребенок, изредка, раз в два или три месяца, он говорил себе: «Пойду-ка я повидаюсь с мамой!» И он покидал бульвар, минуя цирк и Сен-Мартенские ворота, спускался на набережную, переходил мосты, добирался до предместий, шел мимо больницы Сальпетриер и приходил — куда? Да прямо к знакомому уже читателю дому под двойным номером 50—52, к лачуге Горбо.

В ту пору лачуга № 50—52, обычно пустовавшая и неизменно украшенная билетиком с надписью: «Сдаются комнаты», оказалась — редкий случай — заселенной несколькими личностями, впрочем, как это водится в Париже, не поддерживавшими между собой никаких отношении. Все они принадлежали к тому неимущему классу, что начинается с мелкого, стесненного в средствах буржуа и, спускаясь от бедняка к бедняку все ниже, до самого дна общества, кончается двумя существами, к которым стекаются одни лишь отбросы материальной культуры: золотарем, возящим нечистоты, и тряпичником, подбирающим рвань.

«Главная жилица» времен Жана Вальжана уже умерла, и ее сменила совершенно такая же. Кто-то из философов, не припомню кто, сказал: «В старухах никогда не бывает недостатка».

Эта новая старуха звалась тетушкой Бюргон, и в жизни ее не было ничего примечательного, если не считать династии трех попугаев, последовательно царивших в ее сердце.

Из всех живущих в лачуге в самом бедственном положении находилась семья, состоявшая из четырех лиц: отца, матери и двух уже довольно взрослых дочерей. Все четверо помещались в общей конуре, в одном из трех чердаков, которые были уже нами описаны.

На первый взгляд семья эта ничем особенным, кроме своей крайней бедности, не отличалась. Отец, нанимая комнату, назвался Жондретом. Немного времени спустя после своего водворения, весьма напоминавшего, по столь памятному выражению главной жилицы, «въезд пустого места», Жондрет сказал этой женщине, которая, как и ее предшественница, одновременно исполняла обязанности привратницы и мела лестницу: «Матушка, как вас там, если случайно будут спрашивать поляка или итальянца, а может быть, и испанца, то знайте — это я».

Это и была семья веселого оборвыша. Он приходил сюда, но видел здесь лишь нищету и уныние и — что еще печальнее — не встречал ни единой улыбки: холодный очаг, холодные сердца. Когда он входил, его спрашивали: «Ты откуда?» Он отвечал: «С улицы». Когда уходил, спрашивали: «Ты куда?» Он отвечал: «На улицу». Мать попрекала его: «Зачем ты сюда ходишь?»

Этот ребенок, лишенный ласки, был как хилая травка, что вырастает в погребе. Он не страдал от этого и никого в этом не винил. Он по-настоящему и не знал, какими должны быть отец и мать.

Впрочем, мать любила его сестер.

Мы забыли сказать, что на бульваре Тампль этого мальчика называли маленьким Гаврошем. Почему звался он Гаврошем? Да, вероятно, потому же, почему отец его звался Жондретом.

Инстинктивное стремление разорвать родственные узы свойственно, по-видимому, некоторым бедствующим.

Комната в лачуге Горбо, в которой жили Жондреты, была в самом конце коридора. Каморку рядом занимал небогатый молодой человек, которого звали г-н Мариус.

Расскажем теперь, кто такой этот г-н Мариус.

### Книга вторая

### Важный буржуа

#### Глава 1

#### Девяносто лет и тридцать два зуба

Среди давних обитателей улиц Бушера, Нормандской и Сентонж еще и теперь найдутся люди, помнящие и поминающие добрым словом старичка по имени г-н Жильнорман. Старичок этот был стар уже и тогда, когда сами они были молоды. Для всех, кто предается меланхолическому созерцанию смутного роя теней, именуемого прошлым, этот образ еще не совсем исчез из лабиринта улиц, соседних с Тамплем, которым при Людовике XIV присваивали названия французских провинций совершенно так же, как в наши дни улицам нового квартала Тиволи присваивают названия всех европейских столиц. Явление, кстати сказать, прогрессивное, свидетельствующее о движении вперед.

Господин Жильнорман, в 1831 году еще совсем бодрый, принадлежал к числу людей, возбуждающих любопытство единственно по причине своего долголетия, и если в свое время они ничем не выделялись из общей массы, то теперь казались незаурядными, так как ни на кого не походили. Это был очень своеобразный старик — в полном смысле слова человек иного века, с головы до ног настоящий, чуть-чуть надменный буржуа XVIII столетия, носивший свое старинное и почтенное звание буржуа с таким видом, с каким маркизы носят свой титул. Ему уже перевалило за девяносто лет, но он держался прямо, говорил громко, хорошо видел, любил выпить, сытно поесть, во сне богатырски храпел. Он сохранил все свои тридцать два зуба. Надевал очки, только когда читал. Был влюбчив, но утверждал, что уже свыше десяти лет решительно и бесповоротно отказался от женщин. По его словам, он больше не мог уже нравиться. Однако он никогда не прибавлял к этому: «Потому что слишком стар», но всегда: «Потому что слишком беден». «Не разорись я... ого-го!» — говорил он. Он и на самом деле располагал не более чем пятнадцатью тысячами ливров годового дохода. Его мечтой было получить наследство, иметь сто тысяч франков ренты и завести любовниц. Как видим, его отнюдь нельзя было причислить к тем немощным восьмидесятилетним старцам, которые, подобно господину Вольтеру, умирают всю жизнь. И долговечность его не была долговечностью битой посуды. Этот бодрый старик всегда отличался прекрасным здоровьем. Он был человеком неглубоким, порывистым и очень вспыльчивым. Из-за любого пустяка он мог разбушеваться, и по большей части — будучи совершенно неправым. Если же ему перечили, он замахивался тростью и давал людям таску не хуже, чем в «великий век». У него была незамужняя дочь в возрасте пятидесяти с лишком лет, которую он в сердцах пребольно колотил и рад был бы высечь. Она все еще казалась ему восьмилетней девочкой. Он отпускал увесистые оплеухи своим слугам, приговаривая: «Ну и стервецы!» Одним из излюбленнейших его ругательств было: «Эх вы, *пентюхи, перепентюхи!»* Вместе с тем ему была присуща редкая невозмутимость; он каждодневно брился у полупомешанного цирюльника, который ненавидел его, ревнуя к нему свою хорошенькую кокетливую жену. Г-н Жильнорман очень высоко ставил свое уменье судить обо всем на свете и хвастался своей проницательностью. Вот одна из его острот: «Ну, я ли не догадлив? Стоит блохе меня укусить, и я тотчас знаю, с какой женщины она на меня перескочила». Его речь постоянно пересыпалась словами: «чувствительный человек» и «природа». Он не вкладывал, впрочем, в это последнее такого широкого смысла, какое ему стали придавать в наше время, однако любил как-то по-своему ввернуть его в свои шуточки у камелька. «Природа, — говаривал он, — желая наделить цивилизованные страны всем понемножку, ничего для них не жалеет, вплоть до забавных образцов варварства. В Европе существует, но в малом формате, все, что встречается в Азии и в Африке. Кошка — это домашний тигр, ящерица — карманный крокодил. Танцовщицы из Оперы — те же людоедки, только розовенькие. Они съедают человека не сразу, они гложут его понемножку. А то — о волшебницы! — вдруг возьмут и превратят его в устрицу и проглотят. Караибы оставляют одни кости, они — одни черепки. Таковы уж наши нравы. Мы не пожираем пищу мигом, а смакуем. Мы не приканчиваем добычу одним ударом, а медленно рвем на части».

#### Глава 2

#### По хозяину и дом

Он жил в квартале Марэ на улице Сестер страстей господних, в доме № 6. Дом был его собственный. Он давно снесен, и теперь на его месте выстроен другой, а при постоянных изменениях, которые претерпевает нумерация домов парижских улиц, изменился, вероятно, и его номер. Г-н Жильнорман занимал просторную старинную квартиру во втором этаже, выходившую на улицу и в сады и увешанную до самого потолка огромными коврами, изделиями Гобеленовой и Бовеской мануфактур, изображавшими пастушеские сцены; сюжеты плафонов и панно повторялись в уменьшенных размерах на обивке кресел. Кровать скрывали большие девятистворчатые ширмы коромандельского лака. Длинные и пышные занавеси широкими величественными складками спадали с окон. В сад, расположенный прямо под окнами комнат г-на Жильнормана, попадали через угловую застекленную дверь, по лестнице в двенадцать-пятнадцать ступеней, по которым наш старичок весьма проворно бегал вверх и вниз. Кроме библиотеки, смежной со спальней, у него был еще будуар — предмет его гордости, изысканный уголок, обтянутый великолепными соломенными шпалерами в геральдических лилиях и всевозможных цветах. Шпалеры эти были исполнены в эпоху Людовика XIV каторжниками на галерах, по распоряжению г-на де Вивона, заказавшего их для своей любовницы. Они достались г-ну Жильнорману по наследству от двоюродной бабки с материнской стороны — сумасбродной старухи, дожившей до ста лет. Он был дважды женат. Своими манерами он напоминал отчасти придворного, хотя никогда им не был, а отчасти судейского, кем мог бы быть. При желании он бывал приветливым и радушным. В юности он принадлежал к мужчинам, которых постоянно обманывают жены и никогда — любовницы, ибо, будучи пренеприятными мужьями, они являются вместе с тем премилыми любовниками. Он понимал толк в живописи. В его спальне висел чудесный портрет неизвестного, кисти Иорданса, сделанный в широкой манере, как бы небрежно, в действительности же выписанный до мельчайших деталей. Костюм Жильнормана не был ни костюмом эпохи Людовика XV, ни даже Людовика XVI; он одевался как щеголь Директории, — до той поры он считал себя молодым и следовал моде. Он носил фрак из тонкого сукна, с широкими отворотами, с длиннейшими заостренными фалдами и огромными стальными пуговицами. К этому — короткие штаны и башмаки с пряжками. Руки он всегда держал в жилетных карманах и авторитетно утверждал, что «французская революция дело рук отъявленных шалопаев».

#### Глава 3

#### Лука-Разумник

В шестнадцать лет он удостоился чести быть однажды вечером лорнированным в Опере сразу двумя знаменитыми и воспетыми Вольтером, но к тому времени уже перезревшими красавицами — Камарго и Сале. Попав, таким образом, между двух огней, он храбро ретировался, направив свои шаги к маленькой, никому не ведомой танцовщице по имени Наанри, которой, как и ему, было шестнадцать лет и в которую он был влюблен. Он сохранил бездну воспоминаний. «Ах, как она была мила, эта Гимар-Гимардини-Гимардинетта, — восклицал он, — когда я ее видел в последний раз в Лоншане, в локонах «неувядаемые чувства», в бирюзовых побрякушках, в платье цвета новорожденного младенца и с муфточкой «волнение»!» Охотно и с большим увлечением описывал он свой ненлондреновый камзол, который носил юношей. «Я был разряжен, как турок из восточного Леванта», — говорил он. В двадцатилетнем возрасте он случайно попался на глаза г-же де Буфле, и она дала ему прозвище «очаровательный безумец». Он возмущался именами современных политических деятелей и людей, стоящих у власти, находя эти имена низкими и буржуазными. Читая газеты, «ведомости, журналы», как он их называл, он едва удерживался от смеха. «Ну и люди, — говорил он, — Корбьер, Гюман, Казимир Перье! И это, изволите ли видеть, министры! Воображаю, как бы выглядело в газете: «Господин Жильнорман, министр»! Вот была бы потеха. Впрочем, у таких олухов и это сошло бы!» Он, не задумываясь, называл все вещи, пристойные, равно как и непристойные, своими именами, нисколько не стесняясь присутствия женщин. Грубости, гривуазности и сальности произносились им спокойным, невозмутимым и, если угодно, не лишенным некоторой изысканности тоном. Такая бесцеремонность в выражениях была принята в его время. Надо сказать, что эпоха парафраз в поэзии являлась вместе с тем эпохой неприкрытых откровенностей в прозе. Крестный отец Жильнормана, предсказывая, что из него выйдет человек не бесталанный, дал ему двойное многозначительное имя: Лука-Разумник.

#### Глава 4

#### Претендент на столетний возраст

В детстве он не раз удостаивался награды в коллеже своего родного города Мулена и однажды получил ее даже из рук самого герцога Нивернезского, которого он называл герцогом Неверским. Ни Конвент, ни смерть Людовика XVI, ни Наполеон, ни возвращение Бурбонов — ничто не могло изгладить из его памяти воспоминание об этом событии. В его представлении «герцог Неверский» являлся самой крупной фигурой века. «Что это был за очаровательный вельможа! — рассказывал он. — И как к нему шла голубая орденская лента!» В глазах г-на Жильнормана Екатерина II искупила вину раздела Польши тем, что приобрела у Бестужева за три тысячи рублей секрет изготовления золотого эликсира. Тут он воодушевлялся. «Золотой эликсир, — восклицал он, — флакон в пол-унции желтой бестужевской тинктуры и капель-генерала Ламота стоил в XVIII веке луидор и служил великолепным средством от несчастной любви и панацеей от всех бедствий, насылаемых Венерой! Людовик XV послал двести флаконов этого эликсира папе». Старик был бы страшно разгневан и взбешен, если бы ему сказали, что золотой эликсир не что иное, как хлористое железо. Г-н Жильнорман боготворил Бурбонов и питал сильнейшее отвращение к 1789 году; без конца готов он был повествовать о том, как ему удалось спастись при терроре и сколько ума и присутствия духа потребовалось от него, чтобы уберечь свою голову. Если кто-нибудь из молодежи осмеливался хвалить при нем республику, он приходил в такую ярость, что едва не терял сознания. Иной раз, намекая на свои девяносто лет, он говорил: «Я льщу себя надеждой, что мне не придется дважды пережить девяносто третий год». А иной раз признавался домашним, что рассчитывает прожить до ста лет.

#### Глава 5

#### Баск и Николетта

У него были собственные теории. Вот одно из его рассуждений: «Если мужчина питает большую слабость к прекрасному полу, а сам имеет жену, к которой равнодушен, безобразную, угрюмую, преисполненную сознания своих прав, восседающую на кодексе законов, как на насесте, и при всем том еще ревнивую, у него остается только один способ развязать себе руки и обрести покой: это отдать жене на растерзание кошелек. Такая добровольная отставка возвратит ему свободу. Теперь жене будет чем заняться. Она скоро войдет во вкус ворочать деньгами, марать пальцы о медяки, школить арендаторов, муштровать фермеров, теребить поверенных, верховодить нотариусами, отчитывать письмоводителей, водиться с разными канцелярскими крысами, сутяжничать, сочинять контракты, диктовать договоры, чувствовать себя полновластной хозяйкой, продавать, покупать, вершить дела, командовать, обещать и надувать, сходиться и расходиться, уступать, отступать и переуступать, налаживать, разлаживать, экономить гроши, проматывать сотни; она совершает — что составляет особое и главное ее счастье — глупость за глупостью и так развлекается. Меж тем как супруг пренебрегает ею, она находит себе утешение, разоряя этого супруга». Г-н Жильнорман испробовал эту теорию на собственной практике, и с ним произошло все как по писаному. Жена, а именно вторая из них, столь усердно вела его дела, что когда в один прекрасный день он оказался вдовцом, у него едва набралось на жизнь около пятнадцати тысяч ливров в год, да и то лишь при помещении почти всего капитала в пожизненную ренту, на три четверти не подлежащую выплате после его смерти. Он, не задумываясь, пошел на эти условия, относясь безразлично к тому, останется ли после него наследство. Впрочем, он имел возможность убедиться, что и с родовым имуществом случаются всяческие истории. Оно может, например, сделаться национальным имуществом; он был свидетелем некоего чудесного превращения французского государственного долга, вдруг уменьшившегося на целую треть, и не слишком доверял книге росписей государственных долгов. «Все это — одна лавочка», — говорил он. Как мы уже указывали, дом на улице Сестер страстей господних, в котором он жил, был его собственным. Он всегда держал двух слуг: «человека» и «девушку». Когда к г-ну Жильнорману нанимался новый слуга, он считал необходимым окрестить его заново. Мужчинам он давал имена, соответствующие названиям провинций, из которых они были родом: Ним, Контуа, Пуатевен, Пикар. Его последний лакей, страдавший одышкой толстяк лет пятидесяти пяти, с больными ногами, не мог пробежать и двадцати шагов, но, поскольку он был уроженцем Байоны, г-н Жильнорман именовал его Баском. Что касается служанок, то они все именовались у него Николеттами (даже сама Маньон, о которой речь будет впереди). Как-то раз к нему пришла наниматься знатная стряпуха, мастерица своего дела, из славной породы поварих. «Сколько вам угодно получать в месяц?» — спросил ее г-н Жильнорман. «Тридцать франков». — «А как вас зовут?» — «Олимпия». — «Ну так вот, ты будешь получать пятьдесят франков, а зваться Николеттой».

#### Глава 6,

#### в которой промелькнет Маньон с двумя своими малютками

У г-на Жильнормана горе выражалось гневом; огорчения приводили его в бешенство. Он был полон предрассудков, а в поведении позволял себе любые вольности. Как мы уже отмечали, больше всего старался он показать всем своим внешним видом, черпая в этом и глубокое внутреннее удовлетворение, что продолжает еще оставаться усердным поклонником женщин и прочно пользуется репутацией такового. Он называл это своей «высочайшей славой». Но эта «высочайшая слава» преподносила ему подчас самые неожиданные сюрпризы. Однажды ему принесли в продолговатой корзине, напоминающей корзину для устриц, запеленутого по всем правилам искусства и оравшего благим матом пухленького, недавно появившегося на свет божий мальчугана, которого служанка, прогнанная полгода назад, объявляла его сыном. Г-ну Жильнорману было в ту пору ни много ни мало восемьдесят четыре года. Это вызвало взрыв возмущения окружающих: «Кого эта бесстыжая тварь думала обмануть? Кто может ей поверить? Какая наглость! Какая гнусная клевета!» Но сам г-н Жильнорман нисколько не рассердился. Он поглядел на младенца с ласковой улыбкой старичка, польщенного подобного рода клеветой, и сказал как бы в сторону: «Ну что? Что тут такого? Что тут такого особенного? Вы совсем рехнулись, мелете вздор, как сущие невежды! Герцог Ангулемский, побочный сын короля Карла Девятого, женился восьмидесяти пяти лет на пятнадцатилетней пустельге; г-ну Виржиналю, маркизу д’Алюи, брату кардинала Сурди, архиепископа Бордоского, было восемьдесят три года, когда у него родился сын от горничной президентши Жакен — истинное дитя любви, впоследствии кавалер Мальтийского ордена и государственный советник при шпаге. Один из выдающихся людей нашего века — аббат Табаро — сын восьмидесятисемилетнего старика. Таких случаев сколько угодно. Вспомним, наконец, Библию! А засим заявляю, что сударик сей не мой. Все же позаботиться о нем надо. Его вины тут нет». Этому поступку нельзя отказать в сердечности. Через год та же особа, звали ее Маньон, прислала ему второй подарок. Опять мальчика. На этот раз г-н Жильнорман сдался. Он возвратил матери обоих малышей, обязуясь давать на их содержание по восемьдесят франков ежемесячно, при условии, что вышеупомянутая мать не возобновит своих притязаний. «Надеюсь, — добавил он, — что она обеспечит детям хороший уход. Я же стану время от времени навещать их». Так он и делал. У него был когда-то брат священник, занимавший в течение тридцати трех лет должность ректора академии в Пуатье и умерший семидесяти семи лет от роду. «Я потерял его, когда он был еще молодым», — говорил г-н Жильнорман. Этот брат, оставивший по себе недолгую память, был безобидным, но скупым человеком; как священник, он считал своей обязанностью подавать милостыню встречным нищим, но подавал только изъятые из употребления монероны да стертые су и, таким образом, умудрился по дороге в рай попасть в ад. Что касается г-на Жильнормана-старшего, то он не старался выгадать на милостыне и охотно и щедро подавал ее. Он был доброжелательный, горячий, отзывчивый человек, и будь он богат, его слабостью являлась бы роскошь. Ему хотелось, чтобы все, имеющее к нему отношение, вплоть до мошенничества, было поставлено на широкую ногу. Как-то раз, когда он получал наследство, его обобрал самым грубым и откровенным образом один из поверенных. «Фи, какая грязная работа! — высокомерно воскликнул он. — Мне просто стыдно за такое жалкое жульничество. Все измельчало нынче, даже плуты. Черт побери, можно ли подобным образом обманывать людей такого сорта, как я! Меня ограбили, как в дремучем лесу, но ограбили никуда не годным способом. Sylvae sint consule dignae!»[[17]](#footnote-17)

Мы уже сказали, что он был дважды женат. От первого брака у него была дочь, оставшаяся в девицах, от второго — тоже дочь, умершая примерно в тридцатилетнем возрасте и в свое время, по любви ли, случайно, или по какой-либо иной причине, вышедшая замуж за офицера из рядовых, служившего в республиканской и императорской армии, получившего крест за Аустерлиц и чин полковника за Ватерлоо. «Это — позор моей семьи», — говорил старый буржуа. Он беспрестанно нюхал табак и с каким-то особым изяществом приминал тыльной стороной руки свое кружевное жабо. В бога он почти совсем не верил.

#### Глава 7

#### Правило: принимай у себя только по вечерам

Вот каков был г-н Лука-Разумник Жильнорман. Он сохранил еще свои волосы, скорей с проседью, нежели седые, и всегда носил одну и ту же прическу «собачьи уши». В общем, даже при всех своих слабостях, это была личность весьма почтенная.

Все в нем носило печать XVIII века, фривольного и величавого.

В первые годы Реставрации г-н Жильнорман, тогда еще молодой — в 1814 году ему исполнилось только семьдесят четыре года, — жил в Сен-Жерменском предместье, на улице Сервандони, близ церкви Сен-Сюльпис. Он переехал на покой в Марэ уже много времени спустя, после того как ему стукнуло восемьдесят лет.

Но и покинув свет, он продолжал придерживаться прежних своих привычек. Главная из них, которую он никогда не нарушал, состояла в том, чтобы держать днем свою дверь на замке и никого ни под каким видом не принимать у себя раньше вечера. В пять часов он обедал, и лишь засим двери его дома отворялись. Так было модно в его время, и он отнюдь не желал отступать от этого обычая. «День вульгарен, — говаривал он, — и ничего, кроме закрытых ставен, не заслуживает. У светских людей ум загорается вместе со звездами в небесах». И он накрепко запирался ото всех, будь то сам король. В этом сказывалась старинная изысканность его века.

#### Глава 8

#### Две, но не пара

Мы уже упоминали о двух дочерях г-на Жильнормана. Между ними было десять лет разницы. В юности они очень мало походили друг на друга и ни характером, ни лицом нисколько не напоминали сестер. Младшую — чудесной души создание — влекло ко всему светлому. Она любила цветы, поэзию, музыку; уносясь мыслями в лучезарные края, восторженная, невинная, с ранних детских лет, как нареченная невеста, ожидала она героя, смутный образ которого витал пред нею. У старшей также была своя мечта. В голубой дали ей мерещился поставщик, какой-нибудь добродушный, очень богатый толстяк, подряжавший провиант для армии, муж восхитительно глупый, человек-миллион или хотя бы префект; приемы в префектуре, швейцар с цепью на шее в прихожей, торжественные балы, речи в мэрии, она — «супруга г-на префекта» — все это вихрем носилось в ее воображении. Итак, каждая из сестер предавалась в юности своим девичьим грезам. У обеих были крылья, но у одной — ангела, а у другой — гусыни.

Однако ни одно желание на этом свете полностью не осуществляется. Рай невозможен нынче на земле. Младшая вышла замуж за героя своих мечтаний, но вскоре умерла. Старшая вовсе не вышла замуж.

К моменту появления последней в нашей повести она была уже старой девой, закоренелой недотрогой, на редкость остроносой и тупоголовой. Характерная подробность: вне узкого семейного круга никто не знал ее имени. Все звали ее «мадемуазель Жильнорман-старшая».

По части чопорности мадемуазель Жильнорман-старшая могла бы дать несколько очков вперед любой английской мисс. Ее стыдливость не знала пределов. Над ее жизнью тяготело страшное воспоминание: однажды мужчина увидел ее подвязку.

С годами эта неукротимая стыдливость еще усилилась. М-ль Жильнорман все казалось, что шемизетка ее недостаточно непроницаема для взоров и недостаточно высоко закрывает шею. Она усеивала бесконечным количеством застежек и булавок такие места своего туалета, куда никто и не помышлял глядеть. Таковы всегда недотроги: чем меньше их твердыне угрожает опасность, тем большую они проявляют бдительность.

Однако да объяснит, кто может, сии тайны престарелой невинности: она охотно позволяла целовать себя своему внучатому племяннику, поручику уланского полка Теодюлю.

И все же, несмотря на особую благосклонность к улану, этикетка «недотроги», которую мы на нее повесили, необыкновенно подходила к ней. М-ль Жильнорман представляла собою какое-то сумеречное существо. Быть недотрогой — полудобродетель, полупорок.

Неприступность недотроги соединялась у нее с ханжеством — сочетание весьма подходящее. Она состояла членом Общества пресвятой девы, надевала иногда в праздник белое покрывало, бормотала себе под нос какие-то особые молитвы, почитала «святую кровь», поклонялась «святому сердцу Иисусову», проводила целые часы перед алтарем в стиле иезуитского рококо, в молельне, закрытой для простых верующих, предаваясь созерцанию и возносясь душою ввысь к мраморным облачкам, плывущим меж длинных деревянных лучей, покрытых позолотой.

У нее была приятельница по молельне, такая же старая дева, как и она сама, — м-ль Вобуа, круглая дура, рядом с которой м-ль Жильнорман имела удовольствие казаться себе ума палатой. Кроме всяких «agnus dei» и «ave Maria»[[18]](#footnote-18) да различных способов варки варенья, м-ль Вобуа решительно ни о чем не имела понятия. Являясь в своем роде феноменом, она блистала глупостью, как горностай — белизной, только без единого пятнышка.

Надо сказать, что, состарившись, м-ль Жильнорман скорее выиграла, нежели проиграла. Это судьба всех пассивных натур. Она никогда не была злой, что можно условно считать добротой, а годы сглаживают углы, и вот со временем она мало-помалу смягчилась. Ее томила какая-то неясная печаль, причины которой она сама не знала. Все ее существо являло признаки оцепенения уже кончившейся жизни, хотя в действительности ее жизнь еще и не начиналась.

Она вела хозяйство отца. Дочь занимала подле г-на Жильнормана такое же место, какое занимала подле его преосвященства отца Бьенвеню, как мы видели, его сестра. Подобные семьи, состоящие из старика и старой девы, отнюдь не редкость и всегда являют трогательное зрелище двух слабых созданий, пытающихся найти опору друг в друге.

Кроме старой девы и старика, в доме был еще ребенок, маленький мальчик, всегда трепещущий и безмолвный в присутствии г-на Жильнормана. Г-н Жильнорман говорил с ним не иначе как строгим голосом, а иногда и замахнувшись тростью: «Пожалуйте-ка сюда, сударь! Подойди поближе, бездельник, сорванец! Ну, отвечай же, негодный! Да стой так, чтоб я тебя видел, шельмец!» и т. д. и т. д. Он обожал его.

Это был его внук. Мы еще встретимся с этим ребенком.

### Книга третья

### Дед и внук

#### Глава 1

#### Старинный салон

Когда г-н Жильнорман жил на улице Сервандони, он был частым гостем нескольких самых избранных и аристократических салонов. Несмотря на его буржуазное происхождение, г-на Жильнормана принимали повсюду. А поскольку он был вдвойне умен, во-первых, действительным умом, а во-вторых — умом, который ему приписывали, общества его даже искали, а самого его окружали почетом. Но он бывал только там, где мог задавать тон. Есть люди, готовые любой ценой добиваться влияния, желающие во что бы то ни стало возбудить к себе интерес; если им не удается играть роли оракулов, они переходят на роли забавников. Г-н Жильнорман не принадлежал к их числу. Он умел пользоваться весом в роялистских салонах, нисколько не в ущерб собственному достоинству. Он всюду слыл за оракула. Ему случалось выходить победителем из споров не только с г-ном Бональдом, но и самим г-ном Бенжи-Пюи-Валле.

Около 1817 года он неизменно проводил два вечера в неделю у жившей по соседству, на улице Феру, баронессы де Т., особы достойной и уважаемой, муж которой занимал в царствование Людовика XVI пост французского посла в Берлине. Барон де Т., страстно увлекавшийся при жизни животным магнетизмом, экстатическими состояниями и ясновиденьем, умер разоренным в эмиграции, оставив взамен всех богатств переплетенную в красный сафьян золотообрезную десятитомную рукопись очень любопытных воспоминаний о Месмере и его чане. Г-жа де Т. из гордости не опубликовала этих воспоминаний и существовала на маленькую ренту, каким-то чудом уцелевшую. Г-жа де Т. держалась вдали от двора, представлявшего собою, по ее словам, слишком «сборное общество», и жила в бедности, в благородном и высокомерном уединении. Несколько друзей собирались два раза в неделю у ее вдовьего камелька, что и составляло роялистский салон самой чистой воды. Здесь пили чай и, в зависимости от того, откуда дул ветер и настраивал ли он на элегический лад или на дифирамбы, то сокрушенно вздыхали, то разражались криками возмущения по поводу современных порядков, хартии, бонапартистов, осквернения голубой орденской ленты, жалуемой буржуазии, и «якобинства» Людовика XVIII. Здесь вполголоса делились надеждами, которые подавал брат короля, будущий Карл X.

Здесь восторгались уличными песенками, в которых Наполеон назывался *Простофилей.* Герцогини, самые изящные и очаровательные светские женщины, восхищались такими куплетами по адресу «федератов»:

Эй ты, засунь в штаны рубаху!

Ведь скажут про тебя, дурак,

Что санкюлоты все со страху

Уж поднимают белый флаг!

Здесь забавлялись каламбурами, невинной игрой слов, казавшейся всем им необыкновенно меткой и язвительной. Сочиняли четверостишия или даже двустишия. Так, на умеренный кабинет министра Десоля, в который входили Деказ и Десер, были сочинены следующие строки:

Чтоб мигом укрепить сей шаткий трон,

Деказ, Десоль, Десер, вас надо выгнать вон.

Или же переделывали списки членов палаты пэров, этой «мерзостной якобинской палаты», комбинируя и переставляя фамилии в таком порядке, что получалась, например, подобного рода фраза: «Дама́, Сабран, Гувион, Сен-Сир»[[19]](#footnote-19); в общем, выходило смешно.

В этом мирке пытались пародировать революцию. Во что бы то ни стало хотели обратить слова ее гнева против нее самой. Распевали, с позволения сказать, собственную «Çа ira»:

Ах, дело пойдет на лад, на лад!

Буонапартистов на фонарь!

Песни напоминают гильотину. Они равнодушно рубят голову сегодня одному, завтра другому. Для них это только новый вариант.

Во время происходившего как раз в ту пору, в 1816 году, процесса Фюальдеса здесь симпатизировали Бастиду и Жозиону, потому что Фюальдес был «буонапартистом». Либералов именовали здесь «братьями и друзьями» — это рассматривалось как нечто крайне оскорбительное.

Как на иных церковных колокольнях, так и в салоне баронессы де Т. было два флюгера. Одним из них являлся г-н Жильнорман, другим — граф де Ламот-Валуа, о котором не без уважения говорили друг другу на ушко: «Вы знаете? Это тот самый Ламот, что был причастен к делу об ожерелье». Политические партии идут на подобного рода странные амнистии.

Добавим к этому, что в буржуазной среде человек теряет в глазах общества, если он слишком легко сходится с людьми. Здесь требуют осторожности в выборе знакомств; и совершенно так же, как от соседства с зябнущими происходит убыль тепла, от близости к лицам, заслуживающим презрения, происходит убыль уважения. В старину высший свет ставил себя над этим законом, как и вообще над всеми законами. Мариньи, брат Помпадур, был вхож к принцу де Субизу. Несмотря на... Нет, именно потому. Дюбарри, выведший в люди небезызвестную Вобернье, был желанным гостем у маршала Ришелье. Высший свет — тот же Олимп. Меркурий и принц де Геменэ чувствуют себя там как дома. Туда примут и вора, лишь бы он был богом.

Старый граф де Ламот, которому в 1815 году исполнилось уже семьдесят пять лет, ничем особым не отличался, если не считать молчаливости, привычки говорить нравоучительным тоном, угловатого холодного лица, изысканно учтивых манер, наглухо, до самого шейного платка, застегнутого сюртука и длинных, всегда скрещенных ног в обвислых панталонах цвета жженой глины. Одного цвета с панталонами было и его лицо.

С г-ном де Ламотом «считались» в салоне по причине его «известности» и — как ни странно, но это факт — потому, что он носил имя Валуа.

Что касается г-на Жильнормана, то он пользовался действительно самым неподдельным уважением. Слово его было законом. Несмотря на легкомыслие, он обладал, нисколько не в ущерб своей веселости, какой-то особой манерой держать себя: внушительной, благородной, добропорядочной и не лишенной некоторой примеси буржуазной спеси. К этому надо добавить его преклонный возраст. Иметь за плечами целый век чего-нибудь да стоит. Годы образуют в конце концов вокруг головы ореол.

К тому же старик славился шуточками, напоминавшими блестки старого дворянского остроумия. Вот одна из них. Когда прусский король, восстановив на престоле Людовика XVIII, посетил его под именем графа Рюпена, потомок Людовика XIV оказал ему прием, приличествовавший разве только какому-нибудь маркграфу Бранденбургскому, и проявил по отношению к нему самую утонченную пренебрежительность. Жильнорману это очень понравилось. «Все короли, кроме французского, — сказал он, — захолустные короли». Однажды кто-то спросил при нем: «К чему приговорили редактора газеты «Французский курьер?» — «К пресеченью», — последовал ответ. «*Пре* в данном случае излишне», — заметил г-н Жильнорман. Подобного рода речами создается репутация.

В другой раз, во время Те deum[[20]](#footnote-20) в день годовщины реставрации Бурбонов, увидев проходившего мимо Талейрана, он обронил: «А вот и его превосходительство Зло».

Господин Жильнорман появлялся обыкновенно в сопровождении дочери, долговязой девицы, которой было тогда лишь немного за сорок, а на вид все пятьдесят, и хорошенького мальчика лет семи, белокурого, розового, свежего, с веселым, доверчивым взором. При появлении в салоне мальчик неизменно слышал вокруг себя ропот: «Какой хорошенький! Какая жалость! Бедное дитя!» Это был тот самый ребенок, о котором мы только что сказали несколько слов. Его называли «бедным» потому, что отцом его был «луарский разбойник».

А луарский разбойник был тем самым вышеупомянутым зятем г-на Жильнормана, которого последний именовал «позором своей семьи».

#### Глава 2

#### Один из кровавых призраков того времени

Всякий, кто посетил бы в те годы городок Вернон и кто, гуляя там по прекрасному каменному мосту, которому, несомненно, предстоит вскоре быть замененным каким-нибудь безобразным сплетением из железа и проволоки, взглянул бы через парапет, должен был заметить человека лет пятидесяти, в кожаной фуражке, в брюках и куртке из грубого серого сукна, с каким-то пришитым к ней желтым лоскутком, бывшим ранее красной орденской ленточкой, в деревянных башмаках, почти совсем седого, с обветренным и почти черным от загара лицом, с широким шрамом, пересекающим лоб и спускающимся на щеку, согнувшегося, сгорбленного, до срока состарившегося; целый день человек этот расхаживал с заступом и садовым ножом по одному из находившихся близ моста огороженных участков, словно цепью террас окаймляющих левый берег Сены, — по одному из тех очаровательных, заросших цветами уголков, которые, будь они несколько побольше, могли бы сойти за сад, а несколько поменьше — за букет. Все эти участки одним концом упираются в реку, а другим в дома. Самый маленький из этих уголков и самый убогий из этих домиков занимал около 1817 года вышеупомянутый человек в куртке и деревянных башмаках. Он жил тут одиноко и уединенно, тихо и бедно, в обществе служанки, о которой трудно было сказать — молода ли она, или стара, хороша или дурна собой, крестьянка это или мещанка. Он называл свой квадратик земли садом, и сад этот славился в городе чудесными цветами, которые он там выращивал. Цветы составляли единственное его занятие.

Трудом, упорством, тщательным уходом и обильной поливкой ему удалось вслед за творцом и самому сотворить несколько сортов тюльпанов и георгин, о чем, по-видимому, позабыла природа. Он был изобретателен и опередил Суланжа Бодена, употребив небольшие ранее поросшие вереском земельные площадки под редкие и ценные культуры американского и китайского кустарника. В летнюю пору, с рассветом, он появлялся на дорожках сада и принимался за подрезку, подчистку, прополку, поливку, расхаживая среди своих цветов с добрым, печальным и кротким видом. Иногда, задумавшись, он часами неподвижно простаивал, то слушая пение птиц на дереве или доносившийся из ближнего дома лепет младенца, то разглядывая росинку на кончике какой-нибудь травки, где она играла, как драгоценный камень в лучах солнца. Он довольствовался самой скромной пищей и молоко предпочитал вину. Любой ребенок мог бы командовать им; служанка разрешала себе бранить его. Он был застенчив до дикости, редко выходил из дому и ни с кем, кроме нищих, стучавшихся к нему, да своего духовника, добрейшего старого аббата Мабефа, не виделся. Впрочем, если кто-либо из местных жителей или приезжих, человек совершенно ему неизвестный, любопытствуя поглядеть на тюльпаны и розы, дергал за его звонок, он приветливо открывал двери своего домика. Это и был луарский разбойник.

И вместе с тем каждому, кто вздумал бы почитать воспоминания о военных походах, биографии военных деятелей, «Монитор» и бюллетени великой армии, должно было броситься в глаза довольно часто встречающееся там имя Жоржа Понмерси. Юношей этот Жорж Понмерси служил рядовым в Сентонжском полку. Наступила революция. Сентонжский полк вошел в состав Рейнской армии, ибо старые, существовавшие при монархии полки сохраняли присвоенные им названия провинций даже после падения монархии и были слиты в бригады лишь в 1794 году. Понмерси сражался под Шпейером, Вормсом, Нейштадтом, Тюркгеймом, Альцеем и под Майнцем, — в отряде из двухсот человек, составлявшем арьергард Гушара. Он был в числе двенадцати храбрецов, которые стойко держались за старым Андернахским крепостным валом против корпуса принца Гессенского и отступили, присоединившись к основным силам, лишь после того, как неприятельские пушки разворотили бруствер от гребня до основания. В войсках Клебера он сражался при Маршьенне и у Мон-Палиселя, где был ранен в руку картечью. Затем он отправляется на итальянскую границу; здесь мы находим его среди тридцати гренадеров, защищавших под командой Жубера Тендское ущелье. Жубер был произведен за это дело в генерал-адъютанты, а Понмерси — в подпоручики. Осыпаемый картечью в битве при Лоди, стоял он подле Бертье, который заслужил слова Бонапарта: «Наш пострел везде поспел: он и в артиллерии, он и в кавалерии, он и в инфантерии». Понмерси видел, как с поднятой саблей и с криком: «Вперед!» — пал в сражении при Нови его бывший командир генерал Жубер. Выполняя какое-то боевое поручение, он со своей ротой отплыл на легком паруснике, шедшем из Генуи, в один из маленьких портов побережья, куда именно, уже не припомню, и попал в пренеприятное положение, очутившись между семью или восемью английскими кораблями. Капитан, родом генуэзец, хотел сбросить пушки в море, спрятать солдат в межпалубном пространстве и проскользнуть в темноте под видом торгового судна. Но Понмерси велел поднять на флагштоке национальный флаг и смело прошел под пушками английских фрегатов. Отвага его после этого так возросла, что в двадцати милях оттуда он на своем паруснике решился напасть на большой английский транспорт с войсками и захватил его. Транспорт шел в Сицилию и был до такой степени перегружен людьми и лошадьми, что сидел в воде по самые палубные крепления. В 1805 году Понмерси служил в дивизии Малера, отбившей Гюнцбург у эрцгерцога Фердинанда. При Вельтингене под градом пуль он вынес на руках смертельно раненного в сражении полковника Мопети, командира 9-го драгунского полка. Он отличился при Аустерлице во время прославленного перехода колонн под неприятельским огнем. Когда отряд русских конногвардейцев разбил батальон 4-го пехотного полка, Понмерси был в числе добившихся реванша. Император пожаловал его крестом. Понмерси был последовательно свидетелем пленения Вурмсера в Мантуе, Меласа в Александрии, Макка под Ульмом. Его часть принадлежала к 8-му корпусу доблестной армии Мортье, взявшей Гамбург. Затем он перешел в 55-й пехотный полк, преобразованный из прежнего Фландрского полка. При Эйлау он находился на том самом кладбище, где бесстрашный капитан Луи Гюго, дядя автора настоящей книги, со своей ротой из восьмидесяти трех человек в течение двух часов сдерживал натиск неприятельской армии. Понмерси был одним из трех ушедших живыми с этого кладбища. Он принимал участие в сражении при Фридланде. Видел затем Москву, Березину, Люцен, Бауцен, Дрезден, Вахау, Лейпциг и Гельнгаузенское ущелье; затем Монмирайль, Шато-Тьери, Краон, берега Марны, берега Эны и страшные лаонские позиции. При Арне-ле-Дюке, будучи в чине капитана, он зарубил десять казаков и спас, впрочем, не своего генерала, а своего капрала. Он вышел из этого дела совершенно израненным, и у него извлекли из одной только левой руки двадцать семь осколков кости. За неделю до капитуляции Парижа он поменялся местом с товарищем и перешел в кавалерию. Он был человеком, как говорили при старом режиме, *двойной сноровки,* то есть умел в качестве солдата одинаково хорошо управляться как с саблей, так и с ружьем, а в качестве офицера — как с эскадроном, так и с батальоном. Благодаря этому качеству, усовершенствованному военной выучкой, и возникли такие особые виды войск, как, например, драгуны, являющиеся одновременно и кавалеристами, и пехотинцами. Он последовал за Наполеоном на остров Эльбу. При Ватерлоо он командовал эскадроном кирасир, входившим в бригаду Дюбуа. Это он отнял знамя у Люненбургского батальона. Он бросил знамя к ногам императора. Он был весь залит кровью. Вырывая знамя, он получил сабельный удар, рассекший ему лицо. Император, довольный, крикнул ему: «Поздравляю тебя полковником, бароном и кавалером ордена Почетного легиона!» — «Благодарю, ваше величество, за мою вдову», — ответил Понмерси. Час спустя он упал в овраг на оэнскую дорогу. А теперь скажите — кто же такой этот Жорж Понмерси? Да все тот же луарский разбойник.

Читатель уже кое-что о нем знает. После Ватерлоо, как вы помните, Понмерси вытащили из оврага на оэнской дороге, и ему удалось присоединиться к армии, а затем в лазаретных фургонах он добрался до луарского лагеря.

В годы Реставрации он был переведен на половинный оклад, а затем отправлен на жительство — другими словами, под надзор — в Вернон. Людовик XVIII, рассматривая все, имевшее место в течение Ста дней, как недействительное, не признал ни его звания кавалера ордена Почетного легиона, ни его чина полковника, ни его баронского титула. А Понмерси, со своей стороны, никогда не упускал случая подписаться: «полковник барон Понмерси». Выходя из дома, он всегда прикреплял к своему старому синему, и к тому же единственному сюртуку ленточку ордена Почетного легиона. Королевский прокурор велел предупредить его, что возбудит против него судебное преследование за «незаконное ношение этого знака отличия». Выслушав предупреждение, переданное ему через чиновника, Понмерси ответил с горькой усмешкой: «Не знаю, я ли перестал понимать по-французски, вы ли разучились говорить на французском языке, но я решительно ничего не понял». После этого целую неделю он изо дня в день появлялся в городе с орденской ленточкой. Его не посмели больше тревожить. Два-три раза военному министру и начальнику военного округа случилось направлять ему письма с надписью: «Господину майору Понмерси». Он отсылал письма обратно нераспечатанными. Подобным же образом поступал в это самое время на острове Св. Елены и Наполеон с посланиями сэра Гудсона Лоу, адресованными: «Генералу Бонапарту». Понмерси отвечал — да простят нам это выражение — плевком, как и его император.

Вот так же в Риме среди пленных карфагенских солдат попадались воины, в которых жила частичка души Ганнибала, и они отказывались приветствовать Фламиния.

В одно прекрасное утро, встретив на улице Вернона королевского прокурора, Понмерси подошел к нему и задал ему вопрос: «Скажите, господин королевский прокурор, разрешается ли мне носить шрам на лице?»

Никаких средств, кроме своего жалкого половинного оклада эскадронного командира, он не имел. Он нанимал в Верноне самый маленький домишко, который только можно было сыскать. Он жил в нем один, и мы уже познакомились с образом его жизни. При Империи он успел как-то между двумя войнами жениться на девице Жильнорман. Старый буржуа, в глубине души крайне недовольный, дал скрепя сердце согласие на брак, заявив, что и «самые знаменитые семьи бывают подчас вынуждены идти на этакое». В 1815 году г-жа Понмерси, женщина, кстати сказать, во всех отношениях превосходная, редкостных душевных качеств и вполне достойная своего мужа, умерла, оставив ребенка. Этот ребенок мог бы скрасить одинокую жизнь полковника. Но дед настоятельно потребовал внука к себе, заявив, что лишит мальчика наследства, если ему не отдадут его. Отец уступил, блюдя интересы сына, и, потеряв возможность удержать подле себя свое дитя, пристрастился к цветам.

Отказался он также от всякой политики, не бунтовал и не принимал участия в заговорах. Его мысли были сосредоточены либо на невинных делах, которым он отдавался сегодня, либо на великих делах, которые совершал ранее. Его время делилось между ожиданием цветения какой-нибудь гвоздики и воспоминаниями об Аустерлице.

Господин Жильнорман не поддерживал с зятем никаких отношений. В его глазах полковник был «бандитом», а сам он в глазах полковника «бестолочью». Г-н Жильнорман никогда не упоминал о полковнике, если не считать иронических намеков на его «баронство». Они раз навсегда договорились, что Понмерси не станет делать никаких попыток видеться или говорить с сыном, под угрозой, что мальчика возвратят ему, изгнав и лишив наследства. Понмерси представлялся Жильнорманам каким-то зачумленным. Они желали воспитать ребенка по-своему. Быть может, полковник и допустил ошибку, приняв такие условия, но он строго соблюдал их, полагая, что поступает правильно и жертвует только одним собой.

Наследство Жильнормана-отца сулило немного, зато наследство м-ль Жильнорман-старшей было весьма значительным. Эта тетушка, оставшаяся в девицах, владела крупными богатствами, полученными с материнской стороны, а сын сестры являлся прямым ее наследником.

Ребенок, которого звали Мариус, знал, что у него есть отец, и только. Никто никогда и словом не обмолвился ему о нем. Однако шушуканье, намеки, перемигивания, какими встречали его в обществе, куда водил его дед, в конце концов дошли до сознания мальчика: он начал кое-что понимать. А поскольку ему приходилось подвергаться длительному воздействию окружающей среды, он, так сказать, впитывая ее в себя, естественно, проникся взглядами и идеями, как бы насыщавшими атмосферу, которою он дышал, и постепенно привык думать об отце лишь со стыдом и сердечной болью.

И вот, пока он так рос, полковник раз в два-три месяца покидал свой дом, украдкой, как беглый арестант, приезжал в Париж и шел в церковь Сен-Сюльпис к тому часу, когда тетка Жильнорман приводила туда Мариуса к обедне. Там, дрожа от страха, как бы тетка не обернулась, он, схоронившись за колонной, не смея пошевельнуться и вздохнуть, смотрел на своего сына. Наш покрытый шрамами воин боялся старой девы.

Отсюда возникла и дружба его с вернонским кюре аббатом Мабефом.

Достопочтенный кюре приходился братом церковному старосте церкви Сен-Сюльпис, а последний неоднократно обращал внимание на мужчину, погруженного в созерцание ребенка; староста заметил и шрам на его щеке и крупные слезы на его глазах. Столь мужественный на вид человек, плачущий, как женщина, произвел на него сильное впечатление. Ему запомнилось его лицо. Однажды, приехав в Вернон повидаться с братом, он встретил на мосту полковника Понмерси и узнал в нем человека, которого видел в Сен-Сюльписе. Староста рассказал о нем кюре, и под каким-то предлогом они вдвоем нанесли полковнику визит. За первым визитом последовали и другие. Полковник, вначале очень несловоохотливый, под конец разговорился. Таким образом кюре и старосте удалось узнать всю историю его жизни и то, как он пожертвовал личным счастьем ради будущности своего ребенка. Это внушило кюре чувство уважения и нежности к полковнику, а тот тоже полюбил кюре. Впрочем, никто не сближается между собою так легко и не достигает такого взаимопонимания, как старый священник и старый солдат, если по счастливой случайности оба они искренни и добры. По сути эти люди ничем не отличаются друг от друга. Один посвящает себя служению земной отчизне, другой — небесной. Вот и вся разница.

Два раза в год, к 1 января и ко дню св. Георгия, Мариус под диктовку тетки писал отцу официальные поздравительные письма, казавшиеся списанными с какого-нибудь письмовника. Это все, что допускал г-н Жильнорман. А отец отвечал очень нежными посланиями, которые дед, не читая, засовывал себе в карман.

#### Глава 3

#### Requiescant[[21]](#footnote-21)

Салоном г-жи де Т. ограничивалось для Мариуса Понмерси познание жизни. Салон был единственным оконцем, через которое он мог глядеть в мир. Оно было тусклым, и сквозь эту отдушину проникало больше холода, нежели тепла, больше мрака, нежели света. Вступив радостным и сияющим в этот особый мирок, ребенок после недолгого пребывания там стал печальным и — что еще менее соответствовало его возрасту — серьезным. Окруженный всеми этими важными и странными фигурами, он глядел вокруг с глубоким изумлением. А все, что он видел, могло только усилить это чувство. В салоне г-жи де Т. можно было встретить старых знатных и очень почтенных дам, носящих фамилии Матан, Ноэ, Левис, произносившуюся как Леви, Камби, произносившуюся как Камбиз. Эти старые лица и эти библейские имена смешивались в голове мальчика с рассказами из Ветхого Завета, которые он учил наизусть. И когда, собравшись в кружок у потухающего камина, дамы молча восседали в полумраке лампы под зеленым абажуром, лишь изредка роняя одновременно торжественные и гневные слова, маленький Мариус испуганными глазами смотрел на их строгие профили, на седеющие и седые волосы, на их длинные, сшитые по моде прошлого века платья самых мрачных цветов. Ему казалось, что перед ним не женщины, а патриархи и волхвы, не живые существа, а призраки.

К этим призракам присоединялось еще изрядное число духовных лиц — завсегдатаев старинного салона и несколько дворян: маркиз де Сассене, личный секретарь г-жи де Берри; виконт де Валори, печатавший под псевдонимом *Шарля-Антуана* моноритмические оды; князь де Бофремон, еще достаточно молодой, но уже седеющий, обладатель хорошенькой и остроумной жены, чьи туалеты из алого бархата с золотым шнуром и глубоким декольте несколько разгоняли окружающий мрак; маркиз Кариолис д’Эспинуз, лучший во Франции знаток «меры учтивости»; граф д’Амандр, холостяк с добродушным подбородком; и кавалер де Пор де Ги, столп Луврской библиотеки, именовавшейся «королевским кабинетом». Г-н де Пор де Ги, лысый и не столько старый, сколько преждевременно состарившийся, рассказывал, что в 1793 году, шестнадцати лет от роду, он был сослан на каторгу за отказ от присяги и закован в кандалы вместе с восьмидесятилетним епископом де Мирпуа, также осужденным за отказ от присяги, с той только разницей, что тот был непокорным священником, а он — непокорным солдатом. Дело происходило в Тулоне. На их обязанности лежало убирать по ночам с эшафота головы и тела гильотинированных за день. Взвалив на спину, уносили они обезглавленные, кровоточащие туловища, отчего сзади на вороте их красных арестантских халатов образовывалась корка запекшейся крови, к утру высыхавшая, а по вечерам снова влажная. В салоне г-жи де Т. можно было услышать множество подобного рода трагических рассказов. И в своих проклятиях Марату здесь докатывались до восхваления Трестальона. Депутаты из породы «бесподобных», г-н Тибор дю Шалар, г-н Лемаршан де Гомикур и знаменитый шутник правой г-н Корне-Депкур, играли здесь в вист. Бальи де Ферет, носивший, несмотря на худые ноги, короткие штаны, забегал иногда по дороге к Талейрану в этот салон. Он был собутыльником графа д’Артуа и, в противоположность Аристотелю, ходившему на задних лапках перед Кампаспой, заставлял ползать на четвереньках девицу Гимар, явив, таким образом, векам образец бальи, отомстившего за философа.

Что касается духовных лиц, то здесь бывали: аббат Гальма, тот самый, которому г-н Лароз, сотрудничавший в газете «Фудр», говорил: «Ба, да кому же теперь меньше пятидесяти? Разве только какому-нибудь молокососу-первокурснику!»; аббат Летурнер, королевский проповедник; аббат Фрейсину, в ту пору не бывший еще ни графом, ни епископом, ни министром, ни пэром и носивший старую сутану, на которой вечно не хватало пуговиц. Сюда же приходили: аббат Керавенан, кюре церкви Сен-Жермен-де-Пре; тогдашний папский нунций, преосвященный Макки, архиепископ Низибийский, впоследствии кардинал, отличавшийся длинным меланхолическим носом, и другой преосвященный аббат Пальмиэри, носивший звания: духовника папы, одного из семи действительных протонотариев святейшего престола, каноника знаменитой Либерийской базилики, ходатая по делам святых — postulatore di santi, что указывало на касательство его к делам канонизации и соответствовало примерно чину докладчика Государственного совета по райской секции. Наконец салон посещали два кардинала: г-н де ла Люзерн и г-н де Клермон-Тонер. Кардинал де ла Люзерн был писателем, и несколько лет спустя на его долю выпала честь помещать свои статьи в «Консерваторе» рядом со статьями Шатобриана. Г-н де Клермон-Тонер, тулузский архиепископ, в летнюю пору частенько приезжал вместо дачи в Париж, к своему племяннику маркизу де Тонеру, занимавшему пост морского и военного министра. Кардинал де Клермон-Тонер был маленький веселый старичок, из-под подвернутой сутаны которого виднелись красные чулки. Он избрал себе специальностью ненависть к «Энциклопедии» и страстно увлекался бильярдом. Парижане, которым случалось в описываемое время проходить вечером по улице Принцессы, где находился тогда особняк Клермон-Тонеров, невольно останавливались, привлеченные стуком шаров и резким голосом кардинала, кричавшего своему конклависту, преосвященному Котрету, епископу in partibus[[22]](#footnote-22) Каристскому: «Примечай, аббат, я карамболю». Кардинала де Клермон-Тонера ввел к г-же де Т. его ближайший друг г-н де Роклор, бывший епископ Сенлисский и один из сорока Бессмертных. В г-не Роклоре заслуживали внимания высокий рост и усердное посещение Академии. Через стеклянную дверь зала, смежного с библиотекой, где происходили тогда заседания Французской академии, любопытствующие могли каждый четверг лицезреть бывшего Сенлисского епископа, свеженапудренного, в фиолетовых чулках, обычно стоявшего спиной к двери, — вероятно, для того, чтобы лучше был виден его поповский воротничок. Хотя все эти духовные отцы являлись по большей части столько же служителями церкви, сколько царедворцами, они накладывали печать сугубой строгости на салон г-жи де Т., а пять пэров Франции: маркиз де Вибре, маркиз де Таларю, маркиз д’Эрбувиль, виконт Дамбре и герцог де Валентинуа еще сильнее подчеркивали его аристократизм. Герцог де Валентинуа, будучи владетельным принцем Монако, то есть владетельным иностранным принцем, составил себе тем не менее такое высокое представление о Франции и ее институте пэрства, что все сводил к последнему. Это ему принадлежали слова: «Римские кардиналы — те же пэры Франции; английские лорды — те же пэры Франции». Впрочем, поскольку в ту эпоху революция проникала повсюду, тон в этом феодальном салоне, как мы уже сказали, задавал буржуа. В нем царил г-н Жильнорман.

Тут была эссенция и квинтэссенция парижского реакционного общества. Тут принимались карантинные меры даже против самых громких роялистских репутаций. От славы всегда несколько отдает анархией. Попади сюда Шатобриан, и он бы выглядел здесь «Отцом Дюшеном». Все же кое-кому из признавших в свое время республику оказывалось снисхождение, и они допускались в это правоверное общество. Граф Беньо был принят сюда с условием исправиться.

Современные «благородные» салоны совсем не походят на описываемый нами. Нынешнее Сен-Жерменское предместье заражено вольнодумством. Теперешние роялисты, не в обиду будь им сказано, — демагоги.

В салоне г-жи де Т., где собиралось наиболее избранное общество, под лоском изощренной учтивости господствовал самый утонченный и высокомерный тон. Установившиеся здесь нравы допускали великое множество всяких изысканностей, которые возникали сами по себе и возрождали доподлинный старый режим, давно погребенный, но все еще живой. Иные из принятых здесь манер вызывали недоумение, в особенности манера выражаться. Люди, в сих предметах не искушенные, легко сочли бы эти в действительности лишь устаревшие формы речи за провинциализмы. Здесь широко употреблялось, например, обращение «госпожа генеральша». Можно было услышать, хотя и реже, даже такое, как «госпожа полковница». Очаровательная г-жа Леон, вероятно из уважения к памяти герцогинь де Лонгевиль и де Шеврез, предпочитала это обращение своему княжескому титулу. Маркиза де Креки также выражала желание, чтобы ее называли «госпожой полковницей».

Именно этому маленькому аристократическому кружку и принадлежала затейливая выдумка в интимных беседах с королем в Тюильри именовать его только в третьем лице: «король», избегая титулования «ваше величество», как «оскверненного узурпатором».

Здесь судили обо всем — о делах и о людях. Насмехались над веком, что освобождало от труда понимать его. Подогревали друг друга сенсациями, спешили поделиться друг с другом всем слышанным и виденным. Здесь Мафусаил просвещал Эпименида. Глухой осведомлял слепого. Здесь объявляли не существовавшим время начиная от Кобленца. Здесь считали, что, подобно тому как Людовик XVIII достиг милостью божией двадцать пятой годовщины своего царствования, так и эмигранты милостью закона достигли двадцать пятой своей весны.

Тут все было в полной гармонии; тут жизнь чуть теплилась во всем; слова доносились едва уловимым вздохом; газета, отвечавшая вкусам салона, напоминала папирус. Здесь попадались и молодые люди, но они глядели какими-то полумертвыми. В прихожей посетителей встречали старенькие лакеи. Господам, время которых давно миновало, прислуживали такие же древние слуги. Все производило впечатление чего-то вконец отжившего, но упорно не желающего сходить в могилу. Охранять, охранение, охранитель — вот примерно и весь их лексикон. «Блюсти за тем, чтобы не запахло чужим духом», — к этому, в сущности, сводилось все. Взглядам почтенных сих группировок было действительно присуще свое особое благоухание. Их идеи распространяли запах камфары. Это был мир мумий. Господа были набальзамированы, из лакеев сделаны чучела.

Почтенная старая маркиза, разорившаяся в эмиграции и державшая только одну служанку, все еще говорила: «Мои слуги».

Чем же занимались в салоне г-жи де Т.? Там состояли в «ультра».

Быть ультра! Возможно, что явления, обозначаемые этим словом, не исчезли и по сей день, но самое слово потеряло уже всякий смысл. Постараемся объяснить его.

Быть «ультра» — это значит во всем доходить до крайности. Это значит во имя трона нападать на королевский скипетр и во имя алтаря — на митру; это значит опрокидывать собственный свой воз, брыкаться в собственной упряжке; это значит возводить хулу на костер за то, что он недостаточно жарок для еретиков; это значит упрекать идола, что в нем мало идольского; это значит подвергать надругательству от избытка почтительности; это значит винить папу в недостатке папизма, короля — в недостатке роялизма, а ночь — в избытке света; это значит не признавать за алебастром, снегом, лебедем, лилией их белизны; это значит быть таким горячим защитником, что становишься врагом; так упорно стоять «за», что это превращается в «против».

Непримиримый дух «ультра» характеризует главным образом первую фазу Реставрации.

В истории не найдется эпохи, которая походила бы на этот краткий период, начавшийся в 1814 году и закончившийся около 1820-го — со вступлением в министерство г-на де Вилеля, исполнителя воли правой. Описываемые шесть лет представляют собой неповторимое время — и веселое, и печальное, блестящее и тусклое, как бы освещенное лучами утренней зари, но и окутанное мраком великих потрясений, все еще заволакивающим горизонт и медленно погружающимся в прошлое. И среди этого света и тьмы существовал особый маленький мирок, новый и старый, комический и грустный, юный и дряхлый, протиравший глаза; ничто не напоминает так пробуждение ото сна, как возвращение с чужбины. Существовала группа людей, смотревшая на Францию с раздражением, на что Франция отвечала иронией. Улицы были полным-полны старыми филинами-маркизами, возвратившимися из эмиграции аристократами, выходцами с того света, «бывшими людьми», с изумлением взиравшими на все окружающее; славное вельможное дворянство и радовалось, и печалилось, что оно снова во Франции, испытывая упоительное счастье оттого, что снова видит свою родину, но и глубокое отчаяние оттого, что не находит здесь своей старой монархии. Знатные отпрыски крестоносцев оплевывали знать Империи, то есть военную знать; историческая нация перестала понимать смысл истории; потомки сподвижников Карла Великого клеймили презрением сподвижников Наполеона. Как мы уже сказали, мечи скрестились, взаимно нанося оскорбления. Меч Фонтенуа подвергался насмешкам, как ржавое железо. Меч Маренго вселял отвращение и именовался солдатской шашкой. Давно прошедшее отрекалось от вчерашнего. И чувство великого, и чувство смешного были утеряны. Нашелся даже человек, назвавший Бонапарта Скапеном. Этого мира больше уже нет. Теперь от него, повторяем, ничего не осталось. Когда мы извлекаем оттуда наугад какую-нибудь фигуру, пытаясь воскресить его в воображении, он кажется нам таким же чуждым, как мир допотопных времен. Да он и на самом деле был поглощен потопом. Он исчез в двух революциях. О, сколь могуч поток освободительных идей! Сколь стремительно заливает он все, что надлежит ему разрушить и похоронить, и как быстро вырывает он глубочайшие пропасти!

Таков облик салонов тех отдаленных и простодушных времен, когда г-н Мартенвиль считался мудрее Вольтера.

У этих салонов была своя литература и своя политическая программа. Здесь веровали в Фьеве. Здесь законодательствовал г-н Ажье. Здесь занимались толкованием сочинений г-на Кольне, публициста и букиниста с набережной Малакэ. Наполеон был здесь только «корсиканским чудовищем». Позднее, в виде уступки духу времени, в историю вводится маркиз де Буонапарте, генерал-поручик королевских войск.

Салоны недолго сохраняли неприкосновенную чистоту своих воззрений. Уже с 1818 года сюда начинают проникать доктринеры, что являлось тревожным признаком. Доктринеры, будучи роялистами, держались так, словно старались оправдаться в этом. То, что составляло гордость «ультра», в них вызывало смущение. Они отличались умом; они умели молчать; они щеголяли своей в меру накрахмаленной политической догмой; успех был им обеспечен. Они несколько злоупотребляли — впрочем, не без пользы для себя — белизной галстуков и строгостью наглухо застегнутых сюртуков. Ошибка, или несчастье, партии доктринеров заключалась в том, что они создали поколение юных старцев. Они становились в позу мудрецов. Они мечтали привить крайнему абсолютизму принципы ограниченной власти. Либерализму разрушающему они противопоставляли, и порой чрезвычайно остроумно, либерализм охранительный. От них можно было услышать такие речи: «Пощада роялизму! Ибо он оказал не одну услугу. Он восстановил традиции, культ, религию, взаимоуважение. Ему свойственны верность, храбрость, рыцарственность, любовь, преданность. Пусть сам того не желая, но он присовокупил к новому величию нации вековое величие монархии. Его вина в том, что он не понимает революции, Империи, нашей славы, свободы, новых идей, нового поколения, нашего века. Но если он виноват перед нами, то разве мы так уж неповинны перед ним? От революции, наследниками которой мы являемся, требуется понимание всего происходящего. Нападать на роялизм — значит грешить против либерализма. Это страшная ошибка, страшное ослепление! Революционная Франция отказывает в уважении исторической Франции, иначе говоря, собственной своей матери, и иначе говоря, себе самой. После 5 сентября с дворянством старой монархии стали обращаться так же, как после 8 июля обращались с дворянством Империи. Они были несправедливы к орлу, мы — к лилии. Неужели необходимо всегда иметь предмет гонения? Что пользы счищать позолоту с короны Людовика XIV или сдирать щиток с герба Генриха IV? Мы смеемся над г-ном Вобланом, стиравшим букву Н с Иенского моста. А что, собственно, такое он делал? Да то же, что и мы. Бувин, как и Маренго, принадлежит нам. Лилии, как и буквы Н, — наши. Это наше родовое наследство. К чему уменьшать его? От прошлого своей отчизны так же не следует отрекаться, как и от ее настоящего. Почему не признать всей своей истории? Почему не любить всей Франции в целом?»

Вот так-то доктринеры критиковали и защищали роялизм, вызывая своей критикой недовольство крайних роялистов, а своей защитой — их ярость.

Выступлениями «ультра» ознаменован первый период Реставрации; выступление Конгрегации знаменует второй. На смену восторженным порывам пришла пронырливая ловкость. На этом мы и прервем наш беглый очерк.

В ходе повествования автор настоящей книги натолкнулся попутно на любопытное явление современной истории. Он не мог оставить его без внимания и не запечатлеть мимоходом некоторые своеобразные черты этого ныне уже никому не ведомого общества. Однако он долго не задерживается на этом предмете и рисует его без чувства горечи и без желания посмеяться. Его связывают с этим прошлым дорогие, милые ему воспоминания, ибо они имеют отношение к его матери. Впрочем, надо признаться, что маленький этот мирок не лишен был своего рода величия. Он может вызвать улыбку, но его нельзя ни презирать, ни ненавидеть. Это — Франция минувших дней.

Как и все дети, Мариус Понмерси кое-чему учился. Выйдя из-под опеки тетушки Жильнорман, он был отдан дедом на попечение весьма достойного наставника, чистейшей классической ограниченности. Эта юная, едва начавшая раскрываться душа прямо из рук ханжи попала в руки педанта. Мариус провел несколько лет в коллеже, а затем поступил на юридический факультет. Он был роялист, фанатик и человек строгих правил. Деда он недолюбливал, его оскорбляли игривость и цинизм старика, а об отце он мрачно молчал.

В общем же это был юноша пылкий, но сдержанный, благородный, великодушный, гордый, религиозный, экзальтированный, правдивый до жестокости, целомудренный до дикости.

#### Глава 4

#### Смерть разбойника

Мариус закончил среднее образование как раз к тому времени, когда г-н Жильнорман, покинув общество, удалился на покой. Старик, распростившись с Сен-Жерменским предместьем и салоном г-жи де Т., переселился в собственный дом на улице Сестер страстей господних, в квартале Марэ. Он держал там в качестве прислуги, не считая привратника, ту самую горничную Николетту, что сменила Маньон, и того самого страдающего одышкой, задыхающегося Баска, о котором уже говорилось выше.

В 1827 году Мариусу исполнилось семнадцать лет. Вернувшись однажды вечером домой, он заметил, что дед держит в руках какое-то письмо.

— Мариус, — сказал г-н Жильнорман, — тебе надо завтра ехать в Вернон.

— Зачем? — спросил Мариус.

— Повидать отца.

Мариус вздрогнул. Ему в голову не приходило, что может наступить день, когда придется встретиться с отцом. Вряд ли нашлось бы для него что-либо более неожиданное, более изумительное и, надо признаться, более неприятное. Отец был так ему далек, что он и не желал сближения с ним. Предстоящее свидание не столько огорчало его, сколько представлялось тяжелой повинностью.

Помимо мотивов политического характера, неприязнь Мариуса к отцу основывалась и на другом. Он был убежден, что отец, этот рубака, как в хорошие минуты называл его г-н Жильнорман, его не любит. В этом не приходилось сомневаться, иначе отец не бросил бы его, не отдал бы на чужое попечение. Чувствуя себя нелюбимым, Мариус и сам отказывался любить. Так и следует, уверял он себя.

Он был настолько ошеломлен, что не задал г-ну Жильнорману ни единого вопроса. А дед продолжал:

— Он, кажется, болен. Требует тебя. — И, помолчав, добавил: — Поезжай завтра утром. Мне помнится, что с постоялого двора Фонтен карета в Вернон отходит в шесть часов и приходит туда вечером. Отправляйся с ней. Он пишет, что нужно торопиться.

Затем старик скомкал письмо и положил его в карман. Мариус мог бы выехать в тот же вечер и быть у отца на следующее утро. В то время с улицы Булуа в Руан ходил ночной дилижанс, заезжавший в Вернон. Однако ни г-н Жильнорман, ни Мариус и не подумали справиться об этом.

На другой день, в сумерки, Мариус приехал в Вернон. В городе уже зажигались огни. Он спросил у первого встретившегося прохожего, где живет «господин Понмерси». Ибо в душе он разделял точку зрения Реставрации и не признавал отца ни бароном, ни полковником.

Ему указали дом. Он позвонил. Женщина, с маленькой лампочкой в руке, отворила ему.

— Дома ли господин Понмерси? — спросил Мариус.

Женщина не отвечала.

— Здесь живет господин Понмерси? — повторил Мариус свой вопрос.

Женщина утвердительно кивнула.

— Нельзя ли мне поговорить с ним?

Женщина отрицательно покачала головой.

— Но я его сын! — настаивал Мариус. — Он ждет меня.

— Он больше уже не ждет вас, — сказала женщина.

Тут только Мариус заметил, что она плачет.

Она указала ему пальцем на дверь, ведущую в низкую залу. Он вошел.

В зале, освещенной горевшей на камине сальной свечой, находились трое мужчин. Один стоял выпрямившись во весь рост, другой — на коленях, третий, в одной рубашке, лежал распростертый на полу. Лежавший на полу и был полковник.

Двое других были доктор и священник, читавший молитву.

Три дня назад полковник заболел горячкой. В начале болезни, предчувствуя недоброе, он написал г-ну Жильнорману, прося прислать сына. Болезнь приняла серьезный оборот. Вечером, уже в самый день приезда Мариуса, полковник начал бредить. Несмотря на попытки служанки удержать его, он с криком: «Мой сын все не едет. Пойду его встречать!» — вскочил с постели. Затем вышел из комнаты, упал в прихожей на каменный пол и тут же скончался.

Послали за доктором и кюре. Доктор пришел слишком поздно. Кюре пришел слишком поздно. Сын тоже приехал слишком поздно.

При тусклом огоньке свечи на бледной щеке недвижимо лежавшего полковника можно было различить крупную слезу, выкатившуюся из его мертвого глаза. Глаз потух, но слеза не высохла. Эта слеза означала, что сын опоздал.

Мариус смотрел на этого человека, которого видел в первый и в последний раз, на это благородное мужественное лицо, на эти открытые, но ничего не видящие глаза, на эти седые волосы, на это сильное тело, на котором то тут, то там выступали темные полосы — следы сабельных ударов и звездообразные красные пятна — следы пулевых ранений. Он смотрел на огромный шрам, знак героизма на этом лице, которое бог отметил печатью доброты. Он подумал о том, что человек этот его отец, что человек этот умер, но остался холоден.

Печаль, овладевшая им, ничем не отличалась от печали, которую он ощутил бы при виде всякого другого покойника.

А между тем горе, щемящее душу горе царило в комнате. В углу горькими слезами обливалась служанка; кюре молился, прерывая молитвы рыданиями; доктор утирал глаза; даже труп, и тот плакал.

Несмотря на всю свою скорбь, и доктор, и священник, и служанка время от времени посматривали на Мариуса, не произнося ни слова, — он был здесь чужим. Мариус, так мало тронутый смертью отца, испытывал некоторый стыд и не знал, как должен себя вести. В руках у него была шляпа. Он уронил ее на пол, чтобы подумали, будто скорбь лишила его сил держать ее.

И тут же он почувствовал нечто вроде угрызения совести и презрение к себе за этот поступок. Но был ли он виноват? Ведь он не любил отца!

Полковник не оставил никаких средств. Денег, вырученных от продажи его движимости, едва хватило на похороны. Служанка отдала Мариусу найденный ею клочок бумаги. Он был исписан рукой полковника, и на нем стояло:

«*Моему сыну*. Император пожаловал меня бароном на поле битвы при Ватерлоо. Реставрация не признает за мной этого титула, который я оплатил своей кровью, поэтому его примет и будет носить мой сын. Само собой разумеется, что он будет достоин его».

На обороте полковник приписал:

«В этом же сражении при Ватерлоо один сержант спас мне жизнь. Его зовут Тенардье. В последнее время, насколько мне известно, он содержал маленький деревенский трактир где-то в окрестностях Парижа, в Шеле или в Монфермейле. Если моему сыну случится встретить Тенардье, пусть он сделает для него все, что может».

Отнюдь не из благоговения к памяти отца, а лишь из смутного чувства почтения к смерти, всегда столь властного над сердцем человека, Мариус взял и спрятал записку.

Из имущества полковника ничего не сохранилось. Г-н Жильнорман распорядился продать старьевщику его шпагу и мундир. Соседи разграбили сад и растащили редкие цветы. Остальные растения одичали, заглохли и погибли.

Мариус был в Верноне только двое суток. После похорон он вернулся в Париж, засел за свои учебники, совершенно не вспоминая об отце, словно отец никогда и не жил на свете. Через два дня полковника похоронили, а через три забыли.

Мариус носил на шляпе креп. Вот и все.

#### Глава 5

#### Чтобы стать революционером, подчас полезно ходить к обедне

Мариус сохранил религиозные привычки своего детства. Как-то в воскресенье, отправившись к обедне в церковь Сен-Сюльпис, он прошел в тот самый придел пресвятой девы, куда ребенком обычно водила его тетка. В тот день он был рассеяннее и мечтательнее, чем всегда; остановившись за колонной, он машинально стал на колени на обитую утрехтским бархатом скамейку с надписью на спинке: «Господин Мабеф, церковный староста». Служба едва началась, как незнакомый старик, со словами: «Это мое место, сударь», подошел к Мариусу.

Мариус поспешил подняться, и старик занял свою скамейку.

По окончании обедни, задумавшись, Мариус продолжал стоять в нескольких шагах от скамейки. Старик снова приблизился к нему.

— Прошу извинения, сударь, я уже побеспокоил вас и вот беспокою опять, — сказал он. — Но вы, по всей вероятности, сочли меня недобрым, мне нужно объясниться с вами.

— Это совершенно излишне, сударь, — ответил Мариус.

— Нет, нет, — возразил старик, — я не хочу, чтобы вы дурно обо мне думали. Видите ли, я очень дорожу этим местом. Отсюда и обедня кажется мне лучше. Вы спросите, почему? Извольте, я вам расскажу. На этом самом месте в течение десяти лет я наблюдал одного благородного, но несчастного отца, который, будучи по семейным обстоятельствам лишен иной возможности и иного способа видеть свое дитя, исправно приходил сюда раз в два-три месяца. Он появлялся к тому часу, когда, как ему было известно, сына приводили к обедне. Ребенок и не подозревал, что здесь рядом его отец. Возможно, он, глупенький, и не знал, что у него есть отец. А отец прятался за колонну, чтобы его не видели. Он смотрел на свое дитя и плакал. Он обожал малютку, бедняга! Мне это было ясно. Это место стало для меня как бы священным, и у меня вошло в привычку приходить сюда слушать обедню. Я предпочитаю мою скамью скамьям причта, занимать которые мог бы по праву как церковный староста. Я даже знавал немножко этого несчастного человека. У него был тесть, богатая тетушка — словом, хорошенько уже не припомню, какая-то родня, грозившая лишить ребенка наследства, если отец будет видеться с ним. Он принес себя в жертву ради того, чтобы сын стал впоследствии богат и счастлив. Его разлучили с ним из-за политических убеждений. Разумеется, я уважаю политические убеждения, но есть люди, не знающие ни в чем меры. Ведь нельзя же, помилуй бог, считать человека чудовищем только потому, что он дрался при Ватерлоо! За это не разлучают ребенка с отцом. При Бонапарте он дослужился до полковника. А теперь как будто уже и умер. Он жил в Верноне, где у меня брат кюре, и звали его не то Понмари... не то Монперси... и у него был, как сейчас вижу, огромный шрам от удара саблей.

— Понмерси? — произнес Мариус, бледнея.

— Именно так. Понмерси. А разве вы его знали?

— Сударь, — ответил Мариус, — это мой отец.

Престарелый церковный староста всплеснул руками.

— Так вы тот мальчик! — воскликнул он. — Да, конечно, ведь теперь он должен быть уже взрослым мужчиной. Ну, бедное мое дитя, вы можете смело сказать, что у вас был горячо любящий отец!

Мариус взял старика под руку и проводил до дома. На следующий день он сказал г-ну Жильнорману:

— Мы с друзьями затеяли поездку на охоту. Можно мне отлучиться на три дня?

— Хоть на четыре! — ответил дед. — Поезжай, развлекись.

И, подмигнув, шепнул дочери:

— Какая-нибудь интрижка!

#### Глава 6

#### К чему может привести встреча с церковным старостой

Куда ездил Мариус, станет ясно несколько дальше.

Мариус отсутствовал три дня; по возвращении в Париж он тотчас отправился в библиотеку юридического факультета и потребовал комплект «Монитора».

Он прочитал от корки до корки весь «Монитор», все существующие исторические сочинения о Республике и Империи, «Мемориал Святой Елены», воспоминания, дневники, бюллетени, воззвания, — он проглотил все. Встретив впервые имя отца на страницах бюллетеней великой армии, он целую неделю потом был как в лихорадке. Он побывал у генералов, под начальством которых служил Жорж Понмерси, в том числе и у графа Г. Церковный староста Мабеф, которого он вторично посетил, описал ему образ жизни полковника, существование на пенсион, рассказал о его цветах и уединении в Верноне. Мариусу удалось таким образом до конца узнать этого редкостного, возвышенной и кроткой души человека, это сочетание льва и ягненка, каким был его отец.

Между тем, погруженный в свои изыскания, поглощавшие целиком его время и мысли, он почти перестал видеться с Жильнорманами. В положенные часы он появлялся к столу, а потом его было не сыскать. Тетка ворчала, а дедушка Жильнорман посмеивался: «Ба, ба! Пришла пора девчонок!» Иногда старик прибавлял: «Я-то думал, черт побери, что это интрижка, а это, кажется, настоящая страсть».

Это и на самом деле была настоящая страсть. Мариус начинал боготворить отца.

Одновременно во взглядах его также совершался огромный переворот. Переворот этот имел множество последовательно сменявшихся фазисов. Поскольку описываемое нами является историей многих умов нашего времени, мы считаем небесполезным перечислить и шаг за шагом проследить эти фазисы.

Прошлое, в которое он заглянул, ошеломило его.

Он был прежде всего ослеплен им.

До тех пор Республика, Империя были для него лишь отвратительными словами. Республика — гильотиной, встающей из полутьмы, Империя — саблею в ночи. Бросив туда взгляд, он с каким-то беспредельным изумлением, смешанным со страхом и радостью, увидел там, где ожидал найти лишь хаос и мрак, сверкающие звезды — Мирабо, Верньо, Сен-Жюста, Робеспьера, Камилла Демулена, Дантона и восходящее солнце — Наполеона. Он не понимал, что с ним, и пятился назад, ничего не видя, ослепленный блеском. Когда первое чувство удивления прошло, он, понемногу привыкнув к столь яркому свету, стал воспринимать описываемые события, не чувствуя головокружения, и рассматривать действующих лиц без содрогания; Революция, Империя отчетливо предстали теперь перед его умственным взором. Обе эти группы событий, вместе с людьми, которые в них участвовали, свелись для него к двум фактам величайшего значения: Республика — к суверенитету прав гражданина, возвращенных народу; Империя — к суверенитету французской мысли, установленному в Европе. Он увидел за Революцией великий образ народа, а за Империей — великий образ Франции. И он признал в душе, что все это прекрасно.

Мы не считаем нужным перечислять здесь все, что при этом первом и чрезмерно обобщенном суждении ускользнуло от ослепленного взора Мариуса. Мы хотим показать лишь ход развития его мысли. Все сразу не дается. Сделав эту оговорку, относящуюся как к сказанному выше, так и к тому, что последует ниже, продолжаем наш рассказ.

Мариус убедился тогда, что до сих пор так же мало понимал свою родину, как и отца. Он не знал ни той, ни другого, добровольно опустив на глаза какую-то темную завесу. Теперь он прозрел и, с одной стороны, испытывал чувство восхищения, с другой — обожание.

Его мучили сожаления и раскаяние, и он с горестной безнадежностью думал о том, что только могиле можно передать ныне все то, что переполняло его душу. Ах, если бы отец был еще жив, если бы он не лишился его, если бы господь в своем милосердии и своей благости не дозволил отцу умереть, как бы он бросился, как бы кинулся к нему, как крикнул бы: «Отец, я здесь! Это я! У нас с тобой в груди бьется одно сердце! Я твой сын!» Как горячо обнял бы он его побелевшую голову, сколько слез пролил бы на его седины! Как любовался бы шрамом на его лице, как жал бы ему руки, как поклонялся бы его одеждам, лобызал бы его стопы! Ах, почему отец скончался так рано, до срока, не дождавшись ни правосудия, ни любви сына! Грудь Мариуса непрестанно теснили рыдания, сердце поминутно твердило: «Увы!» А наряду с этим он становился все более — и теперь уже по-настоящему — серьезным и строгим, все более твердым в своих убеждениях и взглядах. Ум его, озаряемый лучами истины, поминутно обогащался. Какой-то процесс внутреннего роста происходил в Мариусе. Он чувствовал себя возмужавшим благодаря двум сделанным открытиям: он нашел отца и родину.

Теперь все раскрывалось перед ним, как если бы он владел ключом. Он находил объяснения тому, что ранее ненавидел; постигал то, что ранее презирал. Отныне ему стало ясно провиденциальное значение — божественное и человеческое — великих событий, проклинать которые его учили, и великих людей, в ненависти к которым его воспитали. Едва успев отказаться от своих прежних воззрений, он считал их уже устаревшими и, вспоминая о них, то возмущался, то посмеивался.

От оправдания отца он, что было естественно, перешел к оправданию Наполеона.

Надо, однако, сказать, что последнее далось ему нелегко.

С раннего детства его пичкали суждениями о Бонапарте, которых придерживалась партия 1814 года. А все предрассудки, интересы и инстинкты Реставрации стремились исказить образ Наполеона. Наполеон вселял этой партии еще больший ужас, чем Робеспьер. Она довольно ловко воспользовалась усталостью нации и ненавистью матерей. Бонапарта она превращает в какое-то почти сказочное чудовище. И чтобы сильнее поразить воображение народа, в котором, как мы уже отмечали, много ребяческого, партия 1814 года показывает Бонапарта поочередно под всевозможными страшными масками, от Тиберия — до нелепого пугала, начиная с тех, что нагоняют страх, сохраняя все-таки величественность, и кончая теми, что вызывают смех. Итак, говоря о Бонапарте, каждый был волен рыдать или хохотать, лишь бы только в основе лежала ненависть. Никаких иных мыслей по поводу «этого человека», как было принято его называть, никогда и не приходило в голову Мариусу. Он утверждался в них благодаря упорству, свойственному его натуре. В нем сидел ненавидящий Наполеона маленький упрямец.

Однако чтение исторических книг, а в особенности знакомство с историческими событиями по документам и материалам мало-помалу разорвали завесу, скрывавшую Наполеона от Мариуса. Он почувствовал, что перед ним нечто громадное, и заподозрил, что в отношении Бонапарта ошибался не менее, чем в отношении всего остального. С каждым днем он все более прозревал. На первых порах почти с неохотой, а затем с упоением, словно влекомый какими-то неотразимыми чарами, начал он медленное восхождение, поднимаясь шаг за шагом, сперва по темным, далее по слабо освещенным и, наконец, по залитым сияющим светом ступеням энтузиазма.

Как-то раз ночью он был один в своей комнатке под кровлей. Горела свеча. Он читал, облокотившись на стол у открытого окна. Простирающаяся перед ним даль навевала мечты, и они смешивались с его думами. Как дивно твое зрелище, ночь! Слышатся глухие, неведомо откуда доносящиеся звуки, раскаленным угольком мерцает Юпитер, в двенадцать раз превышающий по величине земной шар; лазурь небес черна, звезды сверкают, необъятным кажется мир.

Он читал бюллетени великой армии — эти героические строфы, написанные на полях битв; он встречал там время от времени имя отца и постоянно — имя императора; вся великая Империя открывалась его взору. Он чувствовал, как душа его переполняется и вздымается, словно прилив; минутами ему чудилось, будто призрак отца, проносясь мимо как легкое дуновение, что-то шепчет ему на ухо. Им все сильнее овладевало какое-то странное состояние: ему слышались барабаны, пушки, трубы, размеренный шаг батальонов, глухой и отдаленный кавалерийский галоп. Временами он подымал глаза к небу и глядел на сияющие в бездонной глубине громады созвездий, потом снова опускал их на книгу, и тут перед ним вставали беспорядочно движущиеся громады иных образов. Сердце его сжималось. Он был в исступлении, весь дрожал, задыхался. Вдруг, сам не понимая, что с ним и кто им повелевает, он встал, протянул руки из окна и, устремив взгляд во мрак, в тишину, в туманную бесконечность, в беспредельный простор, воскликнул: «Да здравствует император!»

С этой минуты со старым было покончено. Корсиканское чудовище, узурпатор, тиран, нравственный урод, возлюбленный своих родных сестер, комедиант, бравший уроки у Тальма, яффский отравитель, тигр, Буонапарте — все это исчезло, уступив в его уме загадочному, всепоглощающему, ослепительному сиянию, в котором на недосягаемой высоте сверкал бледный призрак мраморного Цезаря. Для его отца император был лишь любимым полководцем, которым восхищаются и которому со всей преданностью служат. Для Мариуса он представлял собой нечто большее. Он являлся избранным судьбой зодчим государства французской формации, унаследовавшего от государства римской формации владычество над миром; мастером чудодейственного разрушения, продолжателем дела Карла Великого, Людовика XI, Генриха IV, Ришелье, Людовика XIV и Комитета общественного спасения. Он имел, разумеется, свои недостатки, совершал ошибки и даже преступления, иными словами — был человеком, но царственным в своих ошибках, блистательным в своих недостатках, могущественным в своих преступлениях. Он был избранником, заставившим все народы заговорить о великой нации; больше того — олицетворением самой Франции, и, побеждая Европу своим мечом, он побеждал мир своим светом. Для Мариуса Бонапарт был лучезарным видением, которому суждено, охраняя грядущее, вечно стоять на страже границ. Он видел в нем деспота, но столько же и диктатора; деспота, выдвинутого Республикой и явившегося завершением Революции. И подобно тому как Иисус был богочеловеком, Наполеон стал для него народочеловеком.

Как всякий неофит, опьяненный новой верой, Мариус страстно стремился приобщиться к ней — и хватал через край. Это было в его натуре. Стоило только ему отдаться какому-нибудь чувству, и он уже не мог остановиться. Им овладело фанатическое увлечение наполеоновским мечом, сочетавшееся с восторженной приверженностью наполеоновской идее. Он не замечал, что, восторгаясь гением, заодно восторгается и грубой силой, — иными словами, создает двойной культ: с одной стороны, божественного, с другой — звериного начала. Он допускал и много других ошибок. Он принимал все безоговорочно. Так, в поисках истины, можно выйти и на ложную дорогу. Преисполненный какого-то безграничного доверия, он целиком соглашался со всем. Осуждая ли преступления старого режима, оценивая ли славу Наполеона, он, однажды вступив на новый путь, уже не признавал никаких поправок.

Как бы то ни было, шаг чрезвычайной важности был сделан. Там, где раньше он видел падение монархии, он увидел возвышение Франции. Угол зрения его изменился. Теперь то, что казалось закатом, стало восходом. Он повернулся в противоположную сторону.

Родные Мариуса и не подозревали о совершавшемся в нем духовном перевороте.

Когда же в процессе этой скрытой работы над собой ему удалось, наконец, окончательно сбросить с себя старую бурбонскую и ультраправую оболочку, совлечь одежды аристократа, якобита и роялиста и по-настоящему превратиться в революционера, истого демократа и почти республиканца, он отправился к граверу на набережную Орфевр и заказал сотню визитных карточек, на которых стояло: *«Барон Мариус Понмерси»*.

Все это явилось лишь вполне логическим следствием произошедшей в нем перемены, всецело определявшейся его тяготением к отцу. Но поскольку у Мариуса не было знакомых и он не мог оставлять свои карточки у портье, он положил их в карман.

Другим естественным результатом этой перемены явилось следующее: чем ближе делался Мариусу отец, чем дороже ему становилась память о нем и все то, за что в течение двадцати пяти лет боролся полковник, тем больше внук отдалялся от деда. Нрав г-на Жильнормана, как указывалось выше, уже давно был не по душе Мариусу. В их отношениях замечался разлад, обычный между серьезными молодыми людьми и фривольными стариками. Легкомыслие Жеронта всегда оскорбляет и раздражает меланхолию Вертера. Пока оба придерживались одинаковых политических мнений и взглядов, это служило для Мариуса своего рода мостом, переброшенным от него к г-ну Жильнорману. Стоило этому мосту рухнуть, как между ними сразу образовалась пропасть. Но помимо этого, Мариуса приводила в неописуемое негодование мысль, что именно он, г-н Жильнорман, из-за каких-то глупых соображений безжалостно отнял его у полковника, лишив, таким образом, отца сына, а сына — отца.

В чувстве глубокой любви к отцу Мариус дошел почти до ненависти к деду.

Впрочем, как мы уже сказали, все это никак не проявлялось вовне. Мариус становился только все холоднее и холоднее. Бывал молчалив за столом и редко оставался дома. Когда тетка бранила его за это, он кротко ее выслушивал и ссылался на свою занятость, на лекции, экзамены, семинары и т. п. А дед, продолжая считать непогрешимым свой диагноз, все твердил: «Влюблен! В таких делах меня не проведешь».

Время от времени Мариус отлучался из города.

— Да куда же он ездит? — недоумевала тетка.

В одну из таких поездок, всегда очень коротких, выполняя завет своего покойного отца, он отправился в Монфермейль и попытался разыскать бывшего ватерлооского сержанта, трактирщика Тенардье. Трактир оказался закрытым. Тенардье, как выяснилось, разорился, и никто не знал, что с ним сталось. Занятый этими розысками, Мариус четыре дня не был дома.

— Ну, разумеется, куролесит, — заявил дед.

Между тем стали замечать, что на груди, под рубашкой, Мариус что-то носит на черной ленточке, надетой на шею.

#### Глава 7

#### Какая-нибудь юбка

Мы уже упоминали о некоем улане. Это был внучатный племянник г-на Жильнормана с отцовской стороны, проводивший жизнь где-то в гарнизоне, вдали от родных и семейного уюта. Поручик Теодюль Жильнорман отвечал всем требованиям так называемого душки-военного. Талия у него была как «у барышни», саблю он волочил на какой-то особо молодецкий манер, а усы лихо закручивал кверху. В Париж он приезжал очень редко — так редко, что Мариус даже ни разу его и не видел. Кузены знали друг друга только по имени. Мы, кажется, уже говорили, что Теодюль был любимцем тетушки Жильнорман, отдававшей ему предпочтение по той причине, что ей почти не доводилось его видеть. Не видя человека, можно предполагать в нем любые совершенства.

Однажды утром м-ль Жильнорман-старшая вернулась к себе крайне возбужденная при всей невозмутимости своего характера. Мариус опять просил деда разрешить ему куда-то ненадолго уехать, добавив, что хочет отправиться вечером того же дня. «Поезжай!» — ответил дед, а про себя, многозначительно подняв брови, буркнул: «Повадился таскаться по ночам». М-ль Жильнорман поднялась в свою комнату крайне заинтригованная, бросив на лестнице в знак негодования: «Это уж чересчур!» и в знак удивления: «Но куда же в самом деле он ездит?» Она заподозрила, что здесь не без какой-нибудь предосудительной сердечной истории, что здесь не без женщины, свидания, тайны, и была не прочь сунуть сюда свой очкастый нос. Любовный секрет — не менее лакомый кусочек, чем свежеиспеченная сплетня, и святые души отнюдь не прочь его отведать. В глубоких тайниках ханжества всегда найдется некоторый запас любопытства к амурным делам.

Итак, она томилась смутным вожделением узнать романтическое происшествие.

Дабы отвлечься от этого несколько непривычно волновавшего ее чувства любопытства, она прибегла к помощи своих талантов и принялась выводить бумажными нитками по бумажной материи фестоны, вышивая один из распространенных узоров эпохи Империи и Реставрации, с многочисленными кружками вроде каретного колеса. Работа была уныла, работница — угрюма. Она провела так в своем кресле уже несколько часов, как вдруг дверь отворилась. М-ль Жильнорман подняла нос; перед ней стоял, приветствуя ее по всем правилам воинского устава, поручик Теодюль. Она вскрикнула от счастья. Можно быть старухой, недотрогой, богомолкой, тетушкой и все-таки испытывать удовольствие, видя у себя в комнате улана.

— Ты здесь, Теодюль! — воскликнула она.

— Проездом, тетенька.

— Поцелуй же меня.

— Рад стараться! — ответствовал Теодюль.

И он расцеловал ее. Тетушка Жильнорман подошла к своему секретеру и открыла его.

— Ну, уж недельку-то ты у нас погостишь?

— Уезжаю нынче же вечером, тетенька.

— Не может быть!

— Совершенно точно.

— Теодюль, дружок, прошу тебя, останься.

— Сердце говорит «да», а устав — «нет». Дело в следующем. Нас переводят в другой гарнизон. Мы стояли в Мелуне, а нас посылают в Гайон. Из старого гарнизона в новый надо ехать через Париж. Я и сказал себе: «Дай-ка повидаюсь с тетенькой».

— Вот тебе за труды.

Она вложила ему в руку десять луидоров.

— За удовольствие, хотите вы сказать, дорогая тетенька.

Теодюль вторично поцеловал ее, и она испытала приятное ощущение, когда галуны его мундира слегка царапнули ей шею.

— Ты едешь с полком, на коне? — спросила она.

— Нет, тетенька. Мне хотелось во что бы то ни стало повидать вас. Я получил особое разрешение. Денщик ведет мою лошадь, а я еду дилижансом. Да, кстати, в связи с этим у меня к вам вопрос.

— Что такое?

— Разве мой кузен Мариус Понмерси тоже куда-то уезжает?

— Откуда ты это знаешь? — воскликнула задетая за живое тетушка, загоревшись любопытством.

— По приезде я пошел в контору дилижансов, чтобы оставить за собою место в карете.

— И что же?

— Оказалось, что один из пассажиров уже приходил и оставил себе место на империале. Я видел в списке отъезжающих имя этого пассажира.

— Кто же это?

— Мариус Понмерси.

— Дрянной мальчишка! — возмутилась тетка. — Нет, твоему кузену далеко до тебя, он совсем не паинька. Не угодно ли, что затеял — ночевать в дилижансе.

— Как и я.

— Но ты это делаешь по обязанности, а он из распутства.

— Бездельник! — бросил Теодюль.

Тут с м-ль Жильнорман-старшей случилось нечто необычайное: у нее возникла мысль. Будь она мужчиной, она, наверно, хлопнула бы себя по лбу.

— Известно ли тебе, — озадачила она вопросом Теодюля, — что твой кузен тебя не знает?

— Нет. Я-то его видел, а он ни разу не удостоил меня вниманием.

— Значит, вы поедете вместе?

— Он на империале, я — внутри кареты.

— Куда идет дилижанс?

— В Андели.

— Значит, туда и едет Мариус?

— Если только, как и я, не выйдет где-нибудь раньше по пути. Я сойду в Верноне, мне надо захватить гайонскую почту. А о маршруте Мариуса я не имею ни малейшего представления.

— Мариус! Что за противное имя. И вздумалось же назвать его Мариусом. Вот у тебя, я понимаю, имя — Теодюль!

— Я предпочел бы, чтобы меня звали Альфредом, — заметил офицер.

— Слушай, Теодюль!

— Слушаю, тетенька.

— Но слушай внимательно.

— С превеликим вниманием.

— Итак, ты слушаешь?

— Да.

— Так вот, Мариус у нас то и дело в отлучке.

— Ай-я-яй!

— Он куда-то ездит.

— О-го-го!

— Не ночует дома.

— Э-ге-ге!

— Нам хотелось бы узнать, что за этим кроется.

— Какая-нибудь юбка, — проговорил со спокойствием многоискушенного человека Теодюль. И с затаенной усмешкой, не оставляющей места никаким сомнениям, добавил: — Девчонка.

— Так оно и есть! — воскликнула тетка, которой показалось, что она слышит самого г-на Жильнормана, которой слово «девчонка», произнесенное внучатым племянником и почти таким же тоном, каким оно произносилось двоюродным дедом, зазвучало с особой убедительностью.

— Сделай нам одолжение, последи немножко за Мариусом, — продолжала она. — Он тебя не знает, для тебя это не составит труда. А раз уж тут замешалась девчонка, постарайся ее увидать. Ты нам про все напишешь. Это позабавит дедушку.

Хотя Теодюль не имел особой охоты заниматься подобного рода слежкой, но он был глубоко растроган десятью луидорами и питал надежду, что продолжение последует. Со словами: «К вашим услугам, тетушка», он принял поручение, а про себя добавил: «Вот я и попал в дуэньи».

Мадемуазель Жильнорман расцеловала его.

— Ты-то, Теодюль, никогда не пошел бы на такие проделки. Ты повинуешься дисциплине, ты раб своих служебных обязанностей, человек чести и долга, ты не стал бы бросать семью ради свидания с какой-то тварью.

Улан скорчил довольную гримасу, словно Картуш, которого похвалили за честность.

Вечером того же дня, когда происходил описанный диалог, Мариус сел в дилижанс, нисколько не подозревая, что имеет соглядатая. Что до самого соглядатая, до нашего Аргуса, то он первым делом заснул самым честным, непробудным сном и всю ночь напролет прохрапел.

«Вернон! Станция Вернон! Кто едет до Вернона?» — крикнул кондуктор дилижанса на рассвете. И поручик Теодюль проснулся.

— Превосходно, — еще полусонный, пробормотал он, — мне здесь выходить.

А когда он окончательно стряхнул с себя сон и память его начала понемногу проясняться, ему вспомнилась тетка, десять луидоров и взятое им на себя обязательство представить отчет о поведении Мариуса. Это рассмешило его.

«Мариуса, может быть, давно уже и нет в дилижансе, — подумал он, застегивая куртку своего будничного мундира. — Он мог остановиться в Пуасси, в Триэле, с одинаковым успехом сойти как в Мелане, так и в Манте, если только не сошел раньше в Рольбуазе. А то, добравшись до Паси, мог свернуть налево в Эвре или направо — в Ларош-Гийон. Попробуй-ка, тетенька, угоняйся за ним! Но что же, черт побери, напишу я милейшей старушке?»

В эту минуту в окне кареты показались спускающиеся с империала черные панталоны.

«Уж не Мариус ли это?» — промелькнуло в голове поручика.

Это был действительно Мариус.

У самого дилижанса молоденькая крестьянка, проталкиваясь между лошадьми и почтарями, предлагала пассажирам цветы.

— Купите цветов вашим дамам! — кричала она.

Мариус подошел и выбрал самые лучшие цветы из ее корзинки.

«Ну, дело принимает любопытный оборот, — подумал Теодюль, выскакивая из кареты. — Но кому, пропади он пропадом, собирается Мариус преподнести эти цветы? Такой чудесный букет заслуживает писаной красавицы. Я должен на нее поглядеть».

И подобно собакам, которые гонятся за дичью по собственному почину, он, теперь уже не по чужой указке, а удовлетворяя личное свое любопытство, стал следить за Мариусом.

Мариус не обратил на Теодюля никакого внимания. Из дилижанса выходили элегантные дамы, он не смотрел на них. Казалось, он совершенно не замечал окружающего.

«Здорово же он влюблен!» — решил Теодюль.

Мариус направился к церкви.

«Великолепно, — рассуждал сам с собой Теодюль. — Церковь! Очень хорошо. Свидания, чуточку подправленные обедней, — чего лучше! Перемигиваться за спиной у боженьки премилое дело».

Подойдя к церкви, Мариус не вошел в нее, а свернул за выступ алтарной части и тут же скрылся за углом одного из контрфорсов апсиды.

«Так, свидание происходит не внутри, а снаружи, — подумал Теодюль. — Ну-ну, поглядим на девчонку».

И он стал на цыпочках пробираться к углу, за который свернул Мариус.

Дойдя до угла, он замер от удивления.

На могиле, опустившись на колени прямо в траву и закрыв лицо руками, стоял Мариус. Букет свой он оборвал и усыпал цветами могилу. Там, где возвышение обозначало изголовье, виднелся черный деревянный крест, и на нем можно было разглядеть написанное белыми буквами имя: ПОЛКОВНИК БАРОН ПОНМЕРСИ. Слышались рыдания Мариуса.

Девчонка оказалась могилой.

#### Глава 8

#### Нашла коса на камень

Сюда-то и ездил Мариус, когда в первый раз отлучился из Парижа. Сюда же приезжал и всякий раз, когда, по выражению г-на Жильнормана, «таскался по ночам».

Поручик Теодюль совершенно растерялся, неожиданно очутившись бок о бок с гробницей. Он испытал неприятное и странное чувство, определить которое не умел и которое складывалось из почтения к смерти, смешанного с почтением к полковничьему чину. Он отступил, оставив Мариуса одного на кладбище, причем немалую роль здесь сыграла дисциплина. Смерть явилась ему в густых полковничьих эполетах, и он едва удержался, чтобы не отдать ей честь. Не зная, что написать тетушке, он решил совсем ничего не писать. И открытие, сделанное Теодюлем относительно любовных похождений Мариуса, не имело бы, по всей вероятности, никаких последствий, если бы, как это часто случается, сцена в Верноне, в силу непонятного стечения обстоятельств, не получила почти тотчас же известного отклика в Париже.

Мариус вернулся из Вернона на третий день и приехал в дом деда ранним утром. Утомленный двумя бессонными ночами, проведенными в дилижансе, чувствуя потребность освежиться и поплавать с часок, он быстро поднялся к себе, не мешкая снял дорожный сюртук и черную ленточку, которую носил на шее, и отправился купаться.

Господин Жильнорман, подобно всем здоровым старикам просыпавшийся спозаранку, услыхал, как он приехал, и, насколько это позволяли его старые ноги, поспешил взобраться по лестнице в помещение под крышей, где жил Мариус, чтобы расцеловать внука, а среди поцелуев заодно попытаться расспросить и разузнать, где же он был.

Но юноше понадобилось меньше времени на то, чтобы спуститься вниз, нежели восьмидесятилетнему старцу, чтобы подняться наверх. И когда дедушка Жильнорман вошел в мансарду, Мариуса там уже не было.

Постель оставалась неразобранной, а на ней безмятежно покоились сюртук и черная ленточка.

— Тем лучше, — сказал Жильнорман.

И через минуту он проследовал в гостиную, где уже восседала м-ль Жильнорман-старшая, вышивая свои экипажные колеса.

Он вошел ликуя.

Держа в одной руке сюртук, а в другой черную нашейную ленточку Мариуса, г-н Жильнорман воскликнул:

— Победа! Теперь мы откроем тайну! Проникнем в святая святых, прощупаем нашего молчальника, узнаем все его шашни! Мы у самых истоков романа. У меня портрет!

Действительно, на ленточке висел маленький футляр из черной шагреневой кожи, напоминавший медальон.

Старик взял футляр и несколько времени, не раскрывая, глядел на него тем сладострастным, восхищенным и гневным взглядом, каким голодный смотрит на вкусный обед, проносимый у него, бедняги, перед носом, но не для него предназначенный.

— Совершенно очевидно, что там портрет. Мне ли этого не знать? Предметы подобного рода бережно носят у самого сердца. Ну что за болваны! Наверное, какая-нибудь потаскушка, от которой в дрожь бросает! Нынче у молодежи прескверный вкус!

— Давайте взглянем, отец, — сказала старая дева. Футлярчик открывался нажатием пружины. Они не обнаружили в нем ничего, кроме тщательно сложенной бумажки.

— *От той же к тому же*, — с громким хохотом сказал г-н Жильнорман. — Я догадываюсь, что это такое. Любовная записка!

— Ну прочтемте же ее! — сказала тетка.

И она надела очки. Затем она развернула бумажку и прочла следующее:

*«Моему сыну.* Император пожаловал меня бароном на поле битвы при Ватерлоо. Реставрация не признает за мной этого титула, который я оплатил своею кровью, поэтому его примет и будет носить мой сын. Само собой разумеется, что он будет достоин его».

Невозможно передать, что почувствовали при этом отец и дочь. На них точно пахнуло леденящим дыханием смерти. Они не обменялись ни словом. Г-н Жильнорман чуть слышно, как бы про себя, прошептал:

— Это почерк рубаки.

Тетка подвергла бумажку обследованию, повертела ею и так и сяк, затем положила обратно в футляр.

В ту же минуту из кармана сюртука Мариуса выпал продолговатый четырехугольный сверточек, завернутый в голубую бумагу. М-ль Жильнорман подняла его и развернула голубую бумагу. Это была сотня визитных карточек Мариуса. М-ль Жильнорман протянула одну из них отцу, и тот прочел: *Барон Мариус Понмерси.*

Старик позвонил. Вошла Николетта. Г-н Жильнорман взял ленточку, футляр и сюртук и, бросив все на пол посреди гостиной, приказал:

— Унесите этот хлам.

Добрый час прошел в глубочайшем молчании. И старик, и старая дева сидели, отвернувшись друг от друга, но каждый, по всей вероятности, думал об одном и том же. На исходе этого часа тетка Жильнорман промолвила:

— Очень мило!

Несколько минут спустя вошел Мариус. Он только что вернулся. Не успел он переступить порог гостиной, как заметил в руке у деда свою визитную карточку, а дед, завидев его и тотчас впадая в свой насмешливый, исполненный буржуазного высокомерия тон, в котором было нечто уничижающее, закричал:

— Так, так, так! Оказывается, ты теперь барон. Ну, поздравляю тебя. А что это, собственно, значит?

— Это значит, — слегка покраснев, ответил Мариус, — что я сын своего отца.

Господин Жильнорман перестал смеяться и резко сказал:

— Твой отец — это я.

— Мой отец, — продолжал Мариус, опустив глаза и храня суровый вид, — был человек скромный, но героически храбрый, доблестно служивший Республике и Франции, показавший себя великим в величайших исторических делах, когда-либо совершенных людьми, проживший четверть века на бивуаке, днем под картечью и пулями, ночью в снегу, грязи и под дождем, — человек, получивший двадцать ранений, захвативший два знамени и умерший забытым, заброшенным и виновным единственно в том, что чрезмерно любил двух неблагодарных — родину и меня!

Это было уж чересчур, дольше г-н Жильнорман не мог стерпеть. При слове «республика» он встал, или, вернее, выпрямился во весь рост. Каждое слово, произносимое Мариусом, оказывало такое же действие на лицо старого роялиста, как воздушная струя кузнечных мехов на горящий уголь. Из темного оно стало красным, из красного — пунцовым, из пунцового — багровым.

— Мариус! Мерзкий мальчишка! — воскликнул он. — Я не знаю, каков был твой отец! И знать не хочу! Я о нем ничего не знаю и самого его не знаю! Но зато я хорошо знаю, что все эти люди были негодяи! Голодранцы, убийцы, каторжники, воры! Все, говорю тебе! Все без исключения! Все! Запомни это, Мариус! А ты, видишь ли, такой же барон, как моя туфля! Робеспьеру служили одни грабители! Бу-о-на-парту — одни разбойники! Одни изменники, только и знавшие, что изменять, изменять, изменять! И это законному своему королю! Одни трусы, бежавшие от пруссаков и англичан при Ватерлоо! Вот это я знаю. А ежели почтенный ваш родитель, сие мне неведомо, попал в их число, — слуга покорный, — очень жаль, тем хуже!

Теперь наступила очередь Мариуса играть роль угля, а г-на Жильнормана — мехов. Мариус весь дрожал; он не знал, что делать, голова его пылала. Он испытывал то же, что должен был бы испытывать священник, на глазах которого выкидывают вон его облатки, или факир, на глазах которого прохожий плюет на его идола. Допустимо ли, чтобы подобного рода вещи безнаказанно произносились при нем? Но как тут быть? В его присутствии подвергали отца надругательству, топтали ногами. Но кем это делалось? Дедом. Как отомстить за одного, не обидев другого? Нельзя оскорбить деда, но равным образом нельзя оставить неотомщенным отца. С одной стороны — священная могила, с другой — седины. Несколько мгновений под влиянием этих мыслей, вихрем кружившихся в его голове, он был как хмельной и не знал, на что решиться. Потом поднял глаза, пристально взглянул на деда и закричал громовым голосом:

— Долой Бурбонов! И этого жирного борова Людовика Восемнадцатого!

Людовика XVIII уже четыре года не было в живых, но Мариусу это было совершенно безразлично.

Старик из багрового сразу стал белее собственных волос. Он повернулся к стоящему на камине бюсту герцога Беррийского и с какой-то необычайной торжественностью отвесил ему низкий поклон. Затем, медленно и молча, дважды прошелся от камина к окну и от окна к камину, из конца в конец, через весь зал, тяжело, словно каменное изваяние, ступая по трещавшему под его ногами паркету. Проходя во второй раз, он нагнулся к дочери, которая присутствовала при столкновении, держась оробевшей старой овцой, и сказал, улыбаясь, почти спокойно:

— Барон, каковым является милостивый государь, и буржуа, каковым являюсь я, не могут оставаться под одной кровлей.

И вдруг, выпрямившись, бледный, дрожащий от ярости, ужасный, с набухшими на лбу жилами, он простер в сторону Мариуса руку и крикнул:

— Вон!

Мариус покинул дом деда.

На другой день г-н Жильнорман сказал дочери:

— Потрудитесь посылать каждые полгода по шестьдесят пистолей этому кровопийце и при мне никогда о нем не упоминайте.

Сохранив огромный запас неизлитого гнева, не зная, куда его девать, он продолжал в течение трех с лишним месяцев обращаться к дочери на «вы».

Мариус же удалился, кипя негодованием. Одно заслуживающее упоминания обстоятельство еще усилило его раздражение. Семейные драмы сплошь и рядом осложняются разными мелочами. И хотя по существу вины от этого нисколько не прибавляется, обида возрастает. Торопясь, по приказанию деда, отнести «хлам» Мариуса в его комнату, Николетта, должно быть, обронила на темной лестнице, ведущей в мансарду, медальон из черной шагреневой кожи с запиской полковника. Ни записка, ни медальон так и не нашлись. Мариус был уверен, что «господин Жильнорман» — с этого дня он иначе не называл его — бросил в огонь «завещание отца». Он знал наизусть немногие строки, написанные полковником, и, по сути дела, ничто не было потеряно. Но самая бумага, почерк являлись для него священной реликвией, все это составляло частицу его души. Что сделали с ними?

Мариус ушел, не сказав, куда он идет, да и сам не зная, куда пойдет. При нем было тридцать франков, часы и дорожный мешок с кое-какими пожитками. Он сел в наемный кабриолет, взяв его почасно, и отправился в Латинский квартал.

Что станется с Мариусом?

### Книга четвертая

### Друзья азбуки

#### Глава 1

#### Кружок, чуть было не ставший историческим

В ту эпоху, казалось бы, полного ко всему безразличия, однако, уже чувствовались первые дуновения революции. В воздухе веяло вырвавшимся из глубин дыханием 1789 и 1792 годов. Молодежь, да простят нам это выражение, начала линять. Люди менялись почти незаметно для себя самих, просто в силу движения времени. Стрелка, совершая свой путь по циферблату, совершает его и в душах. Каждый делал положенный ему шаг вперед. Роялисты становились либералами, либералы — демократами.

Это был как бы прилив, сдерживаемый тысячей отливов; отливам свойственно все смешивать; отсюда и самые неожиданные сочетания идей; одновременно преклонялись перед Наполеоном и перед свободой. Мы строго придерживаемся здесь исторических фактов, но таковы миражи того времени. Политические взгляды имеют свои стадии развития. Причудливая разновидность роялизма, вольтерианский роялизм нашел себе не менее странную пару в бонапартистском либерализме.

Направление мыслей других групп отличалось большей серьезностью. Там доискивались первопричин, ратовали за право и справедливость. Там страстно увлекались учением об абсолютном, провидя бесчисленные возможности его проявления; абсолютное, уже в силу своей непреложности, влечет умы к лазурным высям и заставляет их витать в беспредельности. Ничто так не благоприятствует возникновению мечты, как догма, и ничто так не способствует рождению будущего, как мечта. Сегодняшняя утопия завтра облечется в плоть и кровь.

Но у передовых течений было как бы двойное дно. Уже обнаруживалась склонность к тайне, создававшая угрозу «существующему порядку», подозрительному и лицемерному. Это весьма показательный революционный признак. Скрытые помыслы власти, подводившей подкоп, столкнулись со скрытыми помыслами народа. Назревающие восстания явились ответом на замышляемый государственный переворот.

В ту пору во Франции еще не было таких крупных тайных обществ, как немецкий тагендбунд или итальянский союз карбонариев; но тут и там, разветвляясь, шла невидимая подземная работа. В Эксе уже намечалось возникновение Кугурды, а в Париже, среди прочих объединений подобного рода, существовало общество «Друзей азбуки».

Что представляли собой эти Друзья азбуки? Судя по названию, общество ставило себе целью обучение детей. В действительности же оно стремилось помочь взрослым людям распрямиться.

Члены общества объявили себя Друзьями азбуки, подразумевая под этим, что они друзья униженных и обездоленных, то есть народа[[23]](#footnote-23). Его хотели поднять. Каламбур, отнюдь не заслуживающий насмешки. Каламбуры играют подчас заметную роль в политике: например *Castratus ad castra* [[24]](#footnote-24), благодаря которому Нарсес стал командующим армией; например *Barbari et Barberim* [[25]](#footnote-25); например *Fueros у Fuegos* [[26]](#footnote-26); например *Ти es Petrus et super hanc petram* [[27]](#footnote-27) и т. д. и т. п.

Друзья азбуки были немногочисленны. Они представляли собою тайное общество в зачаточном состоянии; мы сказали бы даже — котерию, будь в возможностях котерии выдвигать героев. Члены общества собирались в Париже в двух местах: близ Рынка, в кабачке под названием «Коринф», о котором речь будет впереди, и близ Пантеона, на площади Сен-Мишель, в маленьком кафе под названием «Мюзен», ныне снесенном. До первого сборного пункта было недалеко рабочим, до второго — студентам.

Тайные собрания Друзей азбуки происходили в заднем помещении кафе «Мюзен».

В этом зале, достаточно отдаленном от самого кафе, с которым его соединял длиннейший коридор, было два окна и выход по потайной лестнице на улочку Гре. Здесь курили, пили, играли в игры, смеялись. Здесь во всеуслышание говорили о всякой всячине, а шепотом о неких иных делах. К стене — обстоятельство достаточное, чтобы заставить насторожиться полицейского агента, — была прибита старая карта республиканской Франции.

Большинство Друзей азбуки составляли студенты, заключившие сердечный союз кое с кем из рабочих. Вот имена главарей. Они до некоторой степени принадлежат истории: Анжольрас, Комбефер, Жан Прувер, Фейи, Курфейрак, Баорель, Легль или л’Эгль, Жоли, Грантэр.

Молодые люди, связанные между собой дружбой, составляли как бы одну семью. Все, за исключением Легля, были южане.

Это был замечательный кружок. Он исчез в невидимых безднах, уже оставшихся позади. В начале драматических событий, к описанию которых мы подошли, пожалуй, не будет лишним бросить луч света на эти юные головы, прежде чем читатель увидит, как они погрузятся во мрак своего трагического предприятия.

Анжольрас, которого мы назвали первым, а почему именно его, станет ясно впоследствии, был единственным сыном богатых родителей.

Это был очаровательный молодой человек, способный, однако, внушать страх. Он был прекрасен, как ангел, и походил на Антиноя, но только сурового. По блеску его задумчивого взгляда можно было подумать, что в одном из предшествовавших своих существований он уже пережил апокалипсис революции. Он усвоил ее традиции как очевидец. Знал в самых малых деталях все великие ее дела. Как это ни странно для юноши, но по натуре он был первосвященник и воин. Священнодействуя и воинствуя, он являлся солдатом демократии, если рассматривать его с точки зрения нынешнего дня, и жрецом идеала — если подняться над современностью. У него были глубоко сидящие глаза со слегка красноватыми веками, рот с пухлой нижней губой, на которой часто мелькало презрительное выражение, большой лоб. Высокий лоб на лице — то же, что высокое небо на горизонте. Подобно некоторым молодым людям начала нынешнего и конца прошлого века, рано прославившимся, он весь сиял молодостью и, хотя бледность порой покрывала его щеки, был свеж, как девушка. Достигши зрелости мужчины, он все еще глядел ребенком. Ему было двадцать два года, а на вид — семнадцать. Строгий в поведении, он, казалось, не подозревал, что на свете есть существо, именуемое женщиной. Им владела одна только страсть — справедливость и одна только мысль — ниспровергнуть стоящие на пути к ней препятствия. На Авентинском холме он был бы Гракхом, в Конвенте — Сен-Жюстом. Он почти не замечал цветения роз, не знал, что такое весна, не слышал пения птиц. Обнаженная грудь Эваднеи взволновала бы его не более, чем Аристогитона. Для него, как и для Гармодия, цветы годились лишь на то, чтобы прятать в них меч. Серьезность не покидала его даже в часы веселья. Он целомудренно опускал очи перед всем, что не являлось республикой. Это был твердый, как гранит, возлюбленный свободы. Речь его дышала суровым вдохновением и звучала гимном. Ему были свойственны неожиданные взлеты мыслей. Затее завести с ним интрижку неминуемо грозил провал. Если какая-нибудь гризетка с площади Камбре или с улицы Сен-Жан-де-Бове, приняв его за вырвавшегося на волю школьника и пленившись этим обликом пажа, этими длинными золотистыми ресницами, этими голубыми глазами, этими развевающимися по ветру кудрями, этими румяными ланитами, этими нетронутыми устами, этими чудесными зубами, всем этим утром юности, вздумала бы испробовать над Анжольрасом чары своей красы, изумленный и грозный взгляд его мгновенно разверз бы перед ней пропасть и научил бы не смешивать грозного херувима Езекииля с галантным Керубино Бомарше.

Рядом с Анжольрасом, воплощавшим логику революции, находился Комбефер, воплощавший ее философию. Разница между логикой и философией революции состоит в том, что логика может высказаться за войну, меж тем как философия в своих выводах приводит только к миру. Комбефер дополнял и исправлял Анжольраса. Он смотрел на все с менее возвышенных позиций, но зато свободнее. Он хотел воспитывать умы в духе широких общих идей. «Революция нужна, — говорил он, — но не менее нужна и цивилизация»; и вокруг крутой горы ему раскрывался беспредельный голубой простор. Вот почему взгляды Комбефера всегда отличались известной доступностью и практичностью. Будь Комбефер во главе революции, при нем дышалось бы легче, чем при Анжольрасе. Анжольрас желал осуществить с ее помощью божественное право, а Комбефер — естественное. Первый был последователем Робеспьера, второй — сторонником Кондорсе. Комбефер больше Анжольраса жил обычной жизнью обычных людей. Если бы обоим юношам было суждено войти в историю, один оставил бы по себе память справедливого, другой — мудрого. Анжольрас был мужественнее, Комбефер — человечнее. Homo et Vir[[28]](#footnote-28), в этом, в сущности, и заключалась вся тонкость различия их характеров. Мягкость Комбефера, равно как и строгость Анжольраса, являлась следствием душевной чистоты. Комбефер любил слово «гражданин», но предпочитал ему «человек» и, наверно, охотно называл бы человека Hombre, вслед за испанцами. Он читал все, что выходило, посещал театры, публичные лекции, слушал, как объясняет Араго явления поляризации света, восхищался сообщением Жоффруа Сент-Илера о двойной функции внутренней и наружной сонной артерии, питающих одна — лицо, другая — мозг, был в курсе всей жизни, не отставал от науки, занимался сопоставлением Сен-Симона и Фурье, расшифровывал иероглифы, любил, надломив поднятый камешек, порассуждать о геологии, мог нарисовать на память бабочку шелкопряда, обнаруживал погрешности против французского языка в словаре Академии, штудировал Пюисегюра и Делеза, воздерживался от всяких утверждений и отрицаний, до чудес и привидений включительно, перелистывал комплекты «Монитера» и размышлял. Он утверждал, что будущность — в руках школьного учителя, и живо интересовался вопросами воспитания. Он требовал, чтобы общество неутомимо трудилось над поднятием своего морального и интеллектуального уровня, над превращением науки в общедоступную ценность, над распространением возвышенных идей, над духовным развитием молодежи.

Но он опасался, как бы скудость современных методов преподавания, убожество господствующих взглядов, ограничивающихся признанием двух-трех так называемых классических веков, тиранический догматизм казенных наставников, схоластика и рутина не превратили бы в конце концов наши коллежи в искусственные рассадники тупоумия. Это был ученый пурист, ясный ум, многосторонне образованный и трудолюбивый человек, склонный вместе с тем, по выражению друзей, к «несбыточным мечтаниям». Он верил в любую фантазию: и в железные дороги, и в обезболивание при хирургических операциях, и в возможность получения изображения предмета через камеру-обскуру, и в электрический телеграф, и в управляемый воздушный шар. Его отнюдь не пугали никакие крепости, повсюду воздвигнутые против человечества суеверием, деспотизмом и предрассудками. Он принадлежал к числу людей, полагающих, что наука в конечном счете должна изменить существующее положение вещей. Анжольрас был вождем, Комбефер — вожаком. С одним хорошо было бы вместе идти в бой, с другим — пуститься в странствие. Это вовсе не означает, что Комбефер не был способен к борьбе. Нет, он всегда был готов грудью встретить препятствия, дать сильный и страстный отпор. Но ему было больше по душе обучать истине, разъяснять позитивные законы и так, постепенно, сделать человечество достойным его судьбы. Если бы он мог выбирать между двумя способами просвещения масс, он остановился бы скорее на лучах познания, нежели на огнях восстаний. Разумеется, и пламя пожара озаряет, но почему бы не дождаться восхода солнца? Огнедышащий вулкан светит, но утренняя заря светит еще ярче. Очень возможно, что Комбеферу белизна прекрасного была милее, чем пурпур великолепного. Свет, застилаемый дымом, прогресс, купленный ценой насилия, не могли всецело удовлетворить эту нежную и глубокую душу. Стремительный, крутой переход народа к правде, повторение 1793 года страшили его. Однако еще менее приемлем был для Комбефера застой: он чувствовал в нем гниение и смерть. По сути дела он предпочитал пену бурлящей воды миазмам неподвижного болота, поток — клоаке, Ниагарский водопад — Монфоконскому озеру. Словом, он равно не признавал ни топтания на месте, ни спешки. Меж тем как его мятежные духом и рыцарски влюбленные в абсолютное друзья преклонялись перед высокими революционными подвигами и призывали к ним, Комбефер стоял за прогресс, за истинный прогресс, пусть несколько холодноватый, но зато безупречный, пусть несколько педантичный, но зато незапятнанный, пусть несколько медлительный, но зато устойчивый. Комбефер готов был коленопреклоненно молить о том, чтобы будущее наступило во всей своей нетронутой чистоте и чтобы ничто не омрачало великого и благородного поступательного движения народов. «Нужно, чтобы добро оставалось свободным от всякого зла», — неустанно повторял он. Действительно, если величие революции состоит в том, чтобы, не отрывая глаз от ослепительно сияющего идеала, стремиться к нему сквозь громы и молнии, обжигая руки в огне, обагряя их в крови, то красота прогресса — в сохранении безукоризненной чистоты: и Вашингтон, олицетворяющий последний, и Дантон, воплощающий первую, разнятся между собой, как ангелы с крылами лебедя и с крылами орла.

Жан Прувер отличался еще большей мягкостью, чем Комбефер. Повинуясь мимолетной фантазии, примешавшейся к серьезному и глубокому побуждению, породившему в нем весьма похвальный интерес к изучению Средних веков, он переименовал себя из Жана в Жеана. Жан Прувер был вечно влюблен, посвящал свои досуги возне с цветочными горшочками, игре на флейте, сочинению стихов; он любил народ, жалел женщин, оплакивал горькую участь детей, одинаково верил и в светлое будущее, и в бога и осуждал революцию только за одну павшую по вине ее царственную голову — за голову Андре Шенье. У него был мягкий голос, с неожиданными переходами в резкий. Он был начитан до учености и мог почти сойти за ориенталиста, но превыше всего был добр, а потому — что вполне понятно каждому, кто знает, насколько доброта и величие близки между собою, — в поэзии отдавал предпочтение грандиозному. Он знал итальянский, латинский, греческий и еврейский языки, но пользовался ими лишь затем, чтобы читать четырех поэтов: Данте, Ювенала, Эсхила и Исаию. Из французских авторов он ставил Корнеля выше Расина, а Агриппу д’Обинье выше Корнеля. Он любил бродить по полям, заросшим диким овсом и васильками, и облака занимали его, пожалуй, не менее дел житейских. У него был как бы двусторонний ум, одной стороной обращенный к людям, другой — к богу, и он делил свое время между изучением и созерцанием. По целым дням трудился он над социальными проблемами: заработная плата, капитал, кредит, брак, религия, свобода мысли, свобода любви, воспитание, карательная система, собственность, формы ассоциаций, производство, распределение — вот что составляло предмет его углубленных занятий. Он пытался разгадать загадку общественных низов, отбрасывающую тень на весь человеческий муравейник; а по вечерам следил громады ночных светил. Как и Анжольрас, он был единственным сыном богатых родителей. Он говорил всегда тихо, ходил опустив голову и потупя взор, улыбался смущенно, одевался плохо, казался неуклюжим, краснел по всякому поводу, был до крайности застенчив и при всем том неустрашимо храбр.

Фейи был рабочим-веерщиком и круглым сиротой. С трудом зарабатывая три франка в день, он имел одну заветную мечту — освободить мир. Впрочем, была у него еще и другая забота — стать образованным, что на его языке означало также стать свободным. Он без всякой посторонней помощи выучился грамоте и все свои знания приобрел самоучкой. Фейи был человек большого сердца, всегда готовый широко раскрыть миру свои объятия. Будучи сам сиротой, Фейи усыновил целые народы. Лишенный матери, он обратил все свои помыслы к родине. Он хотел, чтобы на земле не оставалось ни одного человека, не имеющего отчизны. С глубокой проницательностью выходца из народа он собственным умом дошел до того, что мы зовем теперь «идеей самосознания наций». Именно затем, чтобы негодовать с полным знанием дела, он и изучал историю. В кружке этих юных утопистов, занимавшихся преимущественно Францией, он один представлял интересы чужеземных стран. Его излюбленной темой являлись Греция, Польша, Венгрия, Румыния и Италия. Он без конца, кстати и некстати, говорил о них с настойчивостью, продиктованной сознанием права на это. Захват Греции и Фессалии Турцией, Варшавы — Россией, Венеции — Австрией — все эти акты насилия приводили его в сильнейшее раздражение. Но особенно возмущал его неслыханный грабеж, совершенный в 1772 году. Искреннее негодование — лучший вид красноречия; именно такое красноречие и было ему свойственно. Снова и снова возвращался он к 1772 году, к этой позорной дате, к благородному и отважному народу, так изменнически лишенному независимости, к совместному преступлению троих, к чудовищной ловушке, ставшей прототипом и образцом всех ужасных разгромов, которым подвергся с тех пор ряд благородных наций, потерявших вследствие этого, так сказать, свое право на существование. Все наблюдаемые в наши дни покушения на государственную самостоятельность ведут начало от раздела Польши. Раздел Польши — теорема, а все современные политические злодеяния — ее выводы. В течение почти всего последнего века не было тирана и изменника, который не поспешил бы признать, подтвердить, скрепить своей подписью, парафировать ne varietur[[29]](#footnote-29) раздела Польши. В списке предательств новейшего времени это предательство стоит первым. Венский конгресс ознакомился с этим преступлением прежде, чем совершил свое собственное. В 1772 году трубят сбор, в 1815-м — делят добычу. Таково было содержание речей Фейи. Этот бедняк-рабочий взял на себя роль заступника справедливости, а она наградила его за это величием. В праве заложено бессмертное начало. Варшава равно не может оставаться татарской, как и Венеция — немецкой. Бороться с этим напрасный труд и потеря чести для королей. Рано или поздно страна, пущенная ко дну, всплывает и снова появляется на поверхности. Греция вновь становится Грецией, Италия — Италией. Протест права против актов насилия никогда не смолкает. Кража целого народа не прощается за давностью. Плоды таких крупных мошенничеств недолговечны. С нации нельзя спороть метку, как с носового платка.

У Курфейрака был отец, которого все звали г-н де Курфейрак. К числу многих превратных понятий, которые составила себе буржуазия эпохи Реставрации об аристократизме и благородстве происхождения, принадлежит и вера в частичку «де». Частичка эта, как известно, не имеет ровно никакого значения. Однако буржуазия времен «Минервы» так высоко расценивала это ничтожное «де», что почитала за долг отказываться от него. Г-н де Шовелен стал именоваться г-ном Шовеленом, г-н де Комартен — г-ном Комартеном, г-н де Констан де Ребек — Бенжаменом Констаном, а г-н де Лафайет — г-ном Лафайетом. Курфейрак, не желая отставать от других, также называл себя просто Курфейраком.

На этом мы могли бы, пожалуй, прервать дальнейший рассказ о Курфейраке, ограничившись в отношении всего остального ссылкой: Курфейрак — см. Толомьес.

Курфейрак и на самом деле был весь полон того молодого задора, который можно было бы назвать пылом молодости. Позднее это исчезает, как грациозность котенка, и очаровательное наше создание превращается в конечном счете: двуногое — в буржуа, а четвероногое — в кота.

Такого рода душевный склад сохраняется в студенческой среде из поколения в поколение, переходит от молодежи старого к молодежи нового призыва, и его передают из рук в руки, quasi cursores[[30]](#footnote-30), почти совсем не измененным. Вот почему, как мы уже сказали, всякий, кому довелось бы услышать Курфейрака в 1828 году, мог бы подумать, что слышит Толомьеса в 1817 году. Только Курфейрак был честным малым. Несмотря на все кажущееся внешнее сходство их характеров, между ним и Толомьесом было большое различие. То, что составляло их человеческую сущность, было у каждого совсем иным. В Толомьесе сидел прокурор, в Курфейраке таился рыцарь.

Если Анжольрас был вождем, Комбефер — вожаком, то Курфейрак представлял собой центр притяжения. Другие давали больше света, он — больше тепла, обладая действительно необходимым для центральной фигуры качеством: открытым, приветливым характером.

Баорель принимал участие в кровавых беспорядках, происходивших в июне 1822 года, в связи с похоронами юного Лалемана.

Баорель был хороший малый, славившийся дурным поведением, транжира, мот, болтун и наглец, не лишенный, однако, щедрости, красноречия и смелости, и добряк, каких мало. Он носил жилеты самых нескромных цветов и придерживался самых красных убеждений. Большой руки буян, иными словами — страстный любитель дебоша, предпочитавший его всему на свете, за исключением мятежа, которому, в свою очередь, предпочитал революцию, он всегда был готов для начала побить стекла, затем разворотить мостовую, а закончить низвержением правительства, любопытствуя, что же получится. Он одиннадцатый год числился студентом, но и не нюхал юриспруденции, не обременяя себя учением. Он избрал себе девизом: «Адвокатом не буду», а гербом — ночной столик с засунутым в него судейским беретом. Всякий раз, когда ему случалось проходить мимо здания юридического факультета, что бывало крайне редко, он наглухо застегивал свой редингот — до пальто в ту пору еще не додумались — и принимал разные гигиенические меры предосторожности. О портале здания факультета он говорил: «Ну и красавец-старик!», а о декане факультета г-не Дельвенкуре: «Ну и монумент!» Лекции, которые он посещал, служили ему темой для веселых песенок, а профессора, которых слушал, — сюжетом для карикатур. Он проживал, палец о палец не ударяя, довольно порядочный пенсион, что-то около трех тысяч франков. Родители его были крестьяне, и ему удалось внушить им почтение к собственному сыну.

Он говорил про них: «Они у меня деревенские, не городские, а потому и умные».

Человек непостоянный, Баорель слонялся по разным кафе; другие обзаводятся привычками, у него их не было. Он вечно фланировал. Желание побродить свойственно всем людям, желание фланировать — одним парижанам. А в сущности, Баорель был гораздо более прозорливым и вдумчивым, чем казалось на вид.

Он служил связью между Друзьями азбуки и некоторыми другими, к тому времени еще не совсем сложившимися кружками, которым предстояло, однако, в дальнейшем получить более четкую форму.

В нашем конклаве молодежи имелся один лысый сочлен.

Маркиз д’Аваре, возведенный Людовиком XVIII в герцоги за то, что он подсадил короля в наемный кабриолет в день, когда тот бежал из Франции, рассказывал, что в 1814 году, по возвращении из эмиграции, не успел король вступить на берег Кале, как какой-то неизвестный подал ему прошение. «О чем вы просите?» — спросил король. «О месте смотрителя почтовой конторы, ваше величество». — «Как вас зовут?» — «Л’Эгль».

Король нахмурился, но, взглянув на стоящую на прошении подпись, увидел, что фамилия писалась не Л’Эгль, а Легль[[31]](#footnote-31). Такое отнюдь не бонапартистское правописание приятно тронуло короля. Он улыбнулся. «Ваше величество, — продолжал проситель, — мой предок был псарь, по прозвищу Легель, от этого прозвища произошла наша фамилия. По-настоящему я зовусь Легель, сокращенно — Легль, а искаженно — л’Эгль». Тут король перестал улыбаться. Впоследствии, намеренно или по ошибке, он дал все же просителю почтовую контору в Мо.

Лысый член кружка был сыном этого л’Эгля, или Легля, и подписывался Легль (из Мо). Товарищи звали его для краткости Боссюэ.

Боссюэ был веселым, но несчастливым парнем. Неудачником по специальности. Зато он ничего и не принимал близко к сердцу. В двадцать пять лет он успел уже облысеть. Отец его сумел в конце концов нажить и дом, и землю, а сын, впутавшись в какую-то аферу, поторопился потерять и эту землю, и этот дом. У него не осталось никаких средств. Он был и учен, и умен, но ему не везло. Ничто ему не удавалось. Что бы он ни замыслил, что бы ни затеял — все оказывалось обманом и оборачивалось против него. Если он колет дрова, то непременно поранит палец. Если обзаведется подругой, то непременно вскоре обнаружит, что обзавелся и дружком. Неприятности подкарауливали его на каждом шагу, но он не унывал. Он говорил про себя, что ему «на голову со всех крыш валятся черепицы». Спокойно, как должное, ибо неудачи являлись для него делом привычным, встречал он удары судьбы и посмеивался над вздорными ее выходками, как человек, понимающий шутку. Денег у него не водилось, зато не переводилось веселье. Ему случалось частенько терять все до последнего су, но ни при каких обстоятельствах не терял он способности смеяться. Когда к нему заявлялась беда, он дружески приветствовал ее как старую знакомую и похлопывал невзгоды по плечу. Он так сжился с лихой своей долей, что, обращаясь к ней, называл ее уменьшительным именем и говорил: «Добро пожаловать, Горюшко!»

Преследования судьбы развили в нем изобретательность. Он был очень находчив. И хотя постоянно сидел без гроша, тем не менее всегда изыскивал способы, ежели приходила охота, производить «безумные траты». В одну прекрасную ночь он дошел до того, что проел «целых сто франков», ужиная с какой-то вертихвосткой. Это вдохновило его на следующие, произнесенные в разгаре пиршества слова: «Эй ты, сотенная девица, стащи-ка с меня сапоги».

Боссюэ не торопился овладеть адвокатской профессией. Он проходил юридические науки на манер Баореля. Постоянного жилища у него не было, а подчас не бывало и вовсе никакого. Он жил то у одного, то у другого из приятелей. Чаще же всего у Жоли. Жоли изучал медицину и был на два года моложе Боссюэ.

Жоли представлял собой законченный тип мнимого больного, но из молодых. В результате занятий медициной он не столько сделался врачом, сколько сам превратился в больного. В двадцать три года он находил у себя всевозможные болезни и по целым дням рассматривал в зеркале свой язык. Он утверждал, что человек может намагничиваться совершенно так же, как магнитная стрелка, и ставил на ночь свою кровать изголовьем на юг, а ногами на север, чтобы, под влиянием магнитных сил Земли, кровообращение его не нарушалось во сне. Во время грозы он всегда щупал себе пульс. Тем не менее это был самый веселый из всех друзей. Такие, казалось бы, несовместимые свойства, как молодость и доходящая до мании мнительность, вялость и жизнерадостность, прекрасно уживались в нем, и в итоге получалось эксцентричное, но премилое создание, которое его товарищи, щедрые на крылатые созвучия, называли «Жолллли». «Смотри, не улети на своих четырех «л», — шутил Жан Прувер[[32]](#footnote-32).

Жоли имел привычку дотрагиваться набалдашником трости до кончика носа, что всегда служит признаком проницательного ума.

Всех этих молодых людей, столь меж собою не схожих, объединяла общая вера в Прогресс, и в конечном счете они заслуживали полного уважения.

Все они были родными сынами Французской революции. Самый легкомысленный из них становился серьезным, произнося: «Восемьдесят девятый год». Их отцы по плоти могли в прошлом, и даже в настоящем, принадлежать к фельянам, роялистам, доктринерам. Это не имело значения; им, молодежи, не было ровно никакого дела до всей неразберихи, царившей до них; в их жилах текла чистейшая кровь, облагороженная самыми высокими принципами, и они без колебаний и сомнений исповедовали религию неподкупного права и непреклонного долга.

Организовав братство посвященных, они начали втайне подготовлять осуществление своих идеалов.

Между этими людьми пылкого сердца и убежденного разума был и один скептик. Как попал он в их среду? Он появился как нарост на ней. Скептика этого звали Грантэром, и он имел обыкновение подписываться ребусом, ставя вместо фамилии букву Р[[33]](#footnote-33). Это был человек, отказывавшийся во что-либо верить. Впрочем, он принадлежал к числу студентов, приобретавших за время прохождения курса в Париже обширнейшие познания. Так, он твердо усвоил, что кафе «Лемблен» славится наилучшим кофе, кафе «Вольтер» — наилучшим бильярдом, а «Эрмитаж» на бульваре Мен — прекрасными оладьями и преприятнейшими девицами, что у тетушки Саге великолепно жарят цыплят, у Кюветной заставы подают чудесную рыбу по-флотски, а у заставы Боев можно получить недурное белое винцо. Словом, он знал все хорошие местечки. Кроме того, был тонким знатоком правил ножной борьбы, опытным фехтовальщиком и умел немного танцевать, а ко всему прочему — не дурак выпить. Он был невероятно безобразен. Ирма Буаси, самая хорошенькая из сапожных мастериц того времени, негодуя на его уродство, изрекла следующую сентенцию: «Грантэр, — заявила она, — есть нечто недопустимое». Однако ничто не могло поколебать самовлюбленного Грантэра. Ни одна женщина не ускользала от его пристального и нежного взора; всем своим видом он словно говорил: «Захоти я только!» — и всячески старался уверить товарищей, что у женщин он просто нарасхват.

Такие слова, как: права народа, права человека, общественный договор, Французская революция, республика, демократия, человечество, цивилизация, религия, прогресс — представлялись Грантэру чуть ли не бессмыслицей. Он посмеивался над ними. Скептицизм, эта костоеда ума, не оставил ему ни одной нетронутой мысли. Ко всему на свете относился он иронически. Любимый афоризм его гласил: «В жизни достоверно только одно — стакан, наполненный вином». Он глумился над всякой самоотверженностью, кто бы ни являл пример ее: брат или отец, Робеспьер ли младший, или Луазероль. «Да ведь они на своей смерти немало выиграли!» — восклицал он. Распятие на его языке называлось «виселицей, которой здорово повезло». Бабник, игрок, гуляка, то и дело пьяный, он вечно напевал себе под нос: «Люблю красоток я да доброе вино» на мотив «Да здравствует Генрих IV», чем очень досаждал нашим юным мечтателям.

Впрочем, и у этого скептика имелся предмет фанатического увлечения. Им не являлась ни идея, ни догма, ни наука, ни искусство, им являлся человек, а именно — Анжольрас. Грантэр восхищался им, любил его и благоговел перед ним. К кому же в этой фаланге людей непреклонных убеждений примкнул сей во всем сомневающийся анархист? К самому непреклонному из всех. Чем же покорил его Анжольрас? Своими воззрениями? Нет. Своим характером. Подобные случаи наблюдаются часто. Тяготение скептика к верующему так же в порядке вещей, как существование закона взаимодополняемости цветов. Нас всегда влечет то, чего недостает нам самим. Никто не любит дневной свет более слепца. Рослый полковой барабанщик — кумир карлицы. У жабы глаза всегда подняты к небу. Зачем? Затем, чтобы видеть, как летают птицы. Грантэру, в котором копошились сомнения, доставляло радость видеть, как в Анжольрасе парит вера. Анжольрас был ему необходим. Он не отдавал себе в том ясного отчета и не доискивался причин, но целомудренная, здоровая, стойкая, прямая, суровая, искренняя натура Анжольраса пленяла его. Он инстинктивно восхищался им, как своей противоположностью. В нравственной своей дряблости, неустойчивости, расхлябанности, болезненности и изломанности он цеплялся за Анжольраса, как за человека с крепким душевным костяком. Лишенный морального стержня, Грантэр искал опоры в стойкости Анжольраса. Рядом с ним и он становился некоторым образом личностью. Нужно сказать также, что сам он представлял собою сочетание двух, казалось бы, несовместимых элементов. Он был насмешлив и вместе с тем сердечен. При всем своем равнодушии он умел любить. Ум его обходился без веры, но сердце не могло обойтись без привязанности. Факт глубоко противоречивый, ибо привязанность — та же вера. Такова была его натура. Есть люди, как бы рожденные служить изнанкой, оборотной стороной другого. К ним принадлежат Поллуксы, Патроклы, Низусы, Эвдамидасы, Гефестионы, Пехмейи. Они могут жить, лишь прислонившись к кому-нибудь; их имена — только продолжение чужих имен и пишутся всегда с союзом «и» впереди; у них нет собственной жизни, она — только изнанка чужой судьбы. Грантэр был одним из таких людей. Он представлял собою оборотную сторону Анжольраса.

Можно, пожалуй, сказать, что в самих буквах алфавита заложено начало такой близости. В алфавите О и П неразрывны, и вы можете на выбор сказать: О и П или Орест и Пилад.

Грантэр, подлинный сателлит Анжольраса, дневал и ночевал в кружке молодежи. Там он жил, там только чувствовал себя хорошо и не отставал от молодых людей ни на шаг. И не было для него радости большей, чем следить, как в винном тумане перед ним мелькают их силуэты. Самого же его терпели за покладистый нрав.

Верующий и трезвенник, Анжольрас презирал этого скептика и пьяницу. Он снисходительно уделял ему немного жалости. Грантэр оставался на положении непризнанного Пилада. Вечно терпя от суровости Анжольраса, грубо отталкиваемый и отвергаемый, он неизменно возвращался к нему, говоря про Анжольраса: «Что за кремень человек!»

#### Глава 2

#### Надгробное слово Боссюэ профессору Блондо

Однажды, в тот час, когда уже перевалило за полдень и, как увидят ниже, почти одновременно с описанными выше событиями, Легль из Мо стоял у кафе «Мюзен», томно прислонившись к дверному косяку. Он напоминал отдыхающую кариатиду и нес единственный груз — груз собственных мыслей. Взор его был устремлен на площадь Сен-Мишель. Стоять прислонившись к чему-нибудь — это один из способов, оставаясь на ногах, чувствовать себя развалившимся в постели. Мечтатели отнюдь этим не пренебрегают. Легль из Мо раздумывал, без всякой, впрочем, грусти, над маленькой неприятностью, приключившейся с ним два дня назад на юридическом факультете и спутавшей и без того достаточно неясные его планы на будущее.

Наши мечты не могут помешать кабриолету ехать своим путем, а нам, мечтателям, — обратить на него внимание. Легль из Мо, рассеянно поглядывая по сторонам, несмотря на полудремотное свое состояние, вдруг заметил тащившуюся по площади двуколку, еле-еле и как бы нерешительно продвигавшуюся вперед. Зачем ее сюда занесло? И почему она так медленно едет? Легль заглянул внутрь. Там, рядом с извозчиком, сидел молодой человек, а подле молодого человека лежал довольно большой дорожный мешок. К мешку была пришита карточка, и на ней бросалось в глаза написанное жирными черными буквами имя: *Мариус Понмерси.*

Это имя заставило Легля изменить позу. Он выпрямился и заорал, обращаясь к молодому человеку, сидевшему в двуколке:

— Господин Мариус Понмерси!

Двуколка остановилась на оклик.

Молодой человек, по-видимому также пребывавший в глубокой задумчивости, вскинул глаза.

— Что? — произнес он.

— Не вы ли будете господин Мариус Понмерси?

— Да, это я.

— Я вас разыскиваю, — сказал Легль из Мо.

— Как так? — удивился Мариус; ибо это был и на самом деле ехавший от деда Мариус, а стоявшего перед ним человека он видел впервые в жизни. — Я вас не знаю.

— И я вас не знаю, — отвечал Легль.

Мариус решил, что напал на шутника, которому вздумалось морочить его среди бела дня. В эту минуту ему было совсем не до шуток. Он насупил брови. Но Легль из Мо невозмутимо продолжал:

— Вас не было позавчера на лекциях.

— Возможно.

— Не возможно, а совершенно точно.

— Вы студент? — спросил Мариус.

— Как и вы, сударь. Позавчера я случайно забежал в университет. Иной раз взбредет вдруг, понимаете, такая странная фантазия. Профессор только что приступил к перекличке. Вид у него при этом, сами знаете, пренелепый. Ежели вы на троекратный вызов не отзоветесь, вас вычеркивают из списка, и плакали ваши шестьдесят франков.

Мариус стал слушать внимательнее. А Легль рассказывал дальше:

— Перекличку делал Блондо. У него, как вам известно, очень острый и тонкий нюх. Блондо с наслаждением ищет отсутствующих. Он начал коварно с буквы П. Я не слушал, ибо не имею отношения к этой букве. Перекличка шла неплохо. Весь народ налицо, вычеркивать некого. Блондо сидел грустный, а я думал про себя: «Видно, не придется тебе, голубчик Блондо, нынче чинить расправу». Вдруг он вызывает: «Мариус Понмерси». Никто не отзывается. Блондо, окрыленный надеждой, повторяет громче: «Мариус Понмерси!» — и уже берется за перо. Поверьте, сударь, я не бездушная скотина. Я тотчас сказал себе: «Эх, славного малого хотят тут вычеркнуть. Постойте! Кто неаккуратен, тот и есть настоящий человек. Это вам не какой-нибудь первый ученик. Не зубрила, просиживающий над книжками штаны, не желторотый мальчишка, напичканный ученостью, задирающий нос, натасканный в науках, литературе, теологии и всякой прочей премудрости, не безмозглый фат и бездарность. Это почтенный лентяй и фланер, любитель загородных прогулок, друг-приятель гризеток, волокита, быть может, в сей самый миг посиживающий у моей же возлюбленной. Его надо спасти. Смерть Блондо!» В эту минуту Блондо обмакивает в чернила свое грязное от вымарок перо, окидывает хищным взором аудиторию и повторяет в третий раз: «Мариус Понмерси!» «Здесь!» — ответил я. Вот потому-то вас и не вычеркнули.

— Позвольте, сударь... — начал было Мариус.

— А вычеркнули меня, — закончил Легль из Мо.

— Я вас не понимаю, — сказал Мариус.

— А дело очень простое, — принялся объяснять Легль. — Чтобы ответить, я подошел к кафедре, потом поспешил к двери, чтобы удрать. Профессор же уставился на меня и не спускал глаз. Вдруг Блондо, — он, видно, из той самой породы людей с верхним чутьем, о которой говорит Буало, — перескакивает на букву Л. Л — это моя буква. Родом я из Мо, а фамилия моя Легль.

— Л’Эгль. Какое прекрасное имя! — прервал его Мариус.

— Ну так вот. Блондо доходит до этого прекрасного имени и выкрикивает: «Легль!» — «Здесь!» — отвечаю я. Блондо глядит на меня с кротостью тигра и произносит улыбаясь: «Ежели вы Понмерси, стало быть, не Легль». Фраза, как будто и не совсем учтивая по отношению к вам, имела, однако, зловещий смысл только для меня. Произнеся ее, он меня вычеркнул.

— Я глубоко огорчен, сударь! — воскликнул Мариус.

— Прежде всего, — прервал его Легль, — я прошу разрешения почтить Блондо несколькими прочувствованными словами. Допустим, что он умер. От этого вряд ли бы он стал намного худее, бледнее, холоднее, неподвижнее и зловоннее. И вот я говорю: «Erudimini qui judicatis terram»[[34]](#footnote-34). Здесь покоится Блондо, Блондо Носатый, Блондо Nasica, вол дисциплины — bos disciplinae, цепной пес списков, гений перекличек. Был он прямолинеен, туп, пунктуален, непреклонен, неподкупен и отвратителен. Господь бог вычеркнул его из числа живых, как он меня — из числа студентов.

— Я крайне опечален... — начал было снова Мариус.

— Да послужит вам это уроком, молодой человек, — сказал Легль из Мо. — Впредь будьте аккуратнее.

— Примите самые искренние мои сожаления.

— Впредь ведите себя так, чтобы ближних ваших не вычеркивали из списков.

— Я просто в отчаянии...

Легль расхохотался.

— А я просто в восторге. Я чуть было не докатился до адвокатского звания. Это исключение меня спасает. Я отказываюсь от адвокатских лавров. Мне не придется ни защищать вдовиц, ни обижать сирот. Не нужно будет мне ни облекаться в мантию, ни проходить практики. Наконец-то добился я исключения. И этим я обязан вам, господин Понмерси. А посему имею в мыслях торжественно нанести вам благодарственный визит. Где вы живете?

— В этом кабриолете, — ответил Мариус.

— Значит, вы богаты, — не моргнув глазом, подхватил Легль. — Очень рад за вас. Такая квартира должна стоить по меньшей мере девять тысяч франков в год.

В этот момент из кафе вышел Курфейрак.

Мариус печально улыбнулся:

— Я нахожусь на этой квартире два часа и не дождусь, когда с нее съеду. Но вот какая история — мне некуда деваться.

— Поедемте ко мне, сударь, — сказал Курфейрак.

— Первенство, собственно говоря, принадлежит мне, — заметил Легль, — но беда в том, что у меня у самого нет дома.

— Замолчи, Боссюэ, — оборвал его Курфейрак.

— Боссюэ? — с недоумением повторил Мариус. — А я полагал, что фамилия ваша Легль.

— Из Мо, — ответил Легль, — иносказательно же Боссюэ.

Курфейрак сел в кабриолет.

— Гостиница Порт-Сен-Жак, — приказал он извозчику.

И в тот же вечер Мариус поселился в одной из комнат гостиницы Порт-Сен-Жак, бок о бок с Курфейраком.

#### Глава 3

#### Мариус все больше изумляется

Не прошло и нескольких дней, как Мариус уже подружился с Курфейраком. Юность — пора стремительных сближений и быстрого рубцевания ран. В обществе Курфейрака Мариусу легко дышалось — ощущение, ранее ему не знакомое. Курфейрак ни о чем его не расспрашивал. Ему это и в голову не приходило. В таком возрасте все сразу узнается по лицу. Слова излишни. Про физиономию иного юнца так и хочется сказать, что она у него сама все выкладывает. Для взаимного понимания им достаточно взглянуть друг на друга.

Тем не менее однажды утром Курфейрак вдруг неожиданно спросил Мариуса:

— Кстати, скажите, есть ли у вас какие-либо политические убеждения?

— Ну разумеется, — ответил Мариус, несколько даже обиженный вопросом.

— Кто же вы?

— Демократ-бонапартист.

— Окраска в достаточной мере серая, — заметил Курфейрак.

На следующий день Курфейрак взял Мариуса с собой в кафе «Мюзен». Там он с улыбкой шепнул ему на ухо: «Надо помочь вам вступить в революцию» — и провел Мариуса в комнату Друзей азбуки. Затем он представил его товарищам, добавив вполголоса: «Ученик». Мариус не понял, что хотел он сказать этим немудреным словом.

Очутившись здесь, Мариус попал в осиное гнездо остромыслия. Впрочем, несмотря на молчаливость и серьезность, он и сам принадлежал к той же крылатой и жалоносной породе.

Мариусу, который вел до тех пор уединенный образ жизни, и в силу привычки и по натуре склонному к монологам и разговорам с самим собою, было как-то не по себе среди обступившей его толпы молодежи. Ее кипучая, брызжущая энергия одновременно и привлекала, и раздражала его. От водоворота идей, рождаемого этими вольными, неугомонно ищущими умами, мысли кружились у него в голове. И в эти минуты его душевного смятения они порой так разбегались, что он лишь с трудом собирал их. Он слышал вокруг неожиданные для него суждения о философии, литературе, искусстве, истории, религии, знакомился с самыми необычайными взглядами. А поскольку он воспринимал их вне всякой перспективы, то не был уверен, не хаос ли просто все это. Отрекшись от убеждений деда ради убеждений отца, Мариус полагал, что приобрел устойчивое миросозерцание; полный тревоги, не смея и самому себе в том признаться, начал он подозревать теперь, что это не так. Угол его зрения снова стал перемещаться. Под действием каких-то равномерно повторяющихся толчков умственный горизонт его был приведен в колебание. Это было состояние странной внутренней ломки. Оно почти причиняло ему страдание.

Для этих молодых людей, казалось, не существовало «ничего святого». По любому поводу Мариус мог услышать самые поразительные речи, смущавшие его робкий еще ум.

Вот на глаза попалась театральная афиша с названием трагедии старого, так называемого классического, репертуара. «Долой трагедию, любезную сердцу буржуа!» — кричит Баорель, и Мариус уже слышит, как возражает ему Комбефер:

— Ты заблуждаешься, Баорель. Буржуазия любит трагедию, и пускай себе любит, оставим в данном случае буржуазию в покое. Трагедия, разыгрываемая в париках, имеет свое право на существование. И я не разделяю мнения тех, кто во имя Эсхила оспаривает у нее это право. В самой природе встречаются образцы топорной работы, и среди ее творений есть готовые пародии: клюв — не клюв, крылья — не крылья, плавники — не плавники, лапы — не лапы, крик жалобный, но вызывающий смех, — вот вам утка. И поскольку рядом с вольной птицей существует еще домашняя птица, я не вижу оснований, почему бы подле античной трагедии не существовать трагедии классицистов?

В другой раз, проходя случайно вместе с Анжольрасом и Курфейраком по улице Жан-Жака Руссо, Мариус стал свидетелем следующей беседы.

— Обратите внимание, — сказал Курфейрак, беря его под руку, — мы находимся на Штукатурной улице, которая именуется ныне улицей Жан-Жака Руссо по той причине, что лет шестьдесят назад здесь проживала забавная парочка: Жан-Жак со своей Терезой. Время от времени тут рождались маленькие существа. Тереза производила на свет божий детей, а Жан-Жак — подкидышей.

Но тут Курфейрака резко оборвал Анжольрас:

— Не оскверняйте памяти Жан-Жака! Я преклоняюсь пред этим человеком. Пусть он отрекся от своих детей, но он взял в сыновья себе народ.

Никто из наших молодых людей не употреблял слова «император». Один только Жан Прувер иногда еще говорил «Наполеон», все остальные называли его Бонапартом, а Анжольрас выговаривал даже *Буонапарте*.

Все это вызывало в Мариусе смутное чувство изумления. То было: initium sapientiae[[35]](#footnote-35).

#### Глава 4

#### Заднее помещение кафе «Мюзен»

Один разговор между нашими молодыми людьми, при котором присутствовал Мариус и в который изредка вставлял слово, произвел на него поистине потрясающее впечатление.

Дело происходило в заднем помещении кафе «Мюзен». В тот вечер почти все Друзья азбуки были в сборе. По-праздничному горел кенкет. Говорили о том о сем шумно, но без особого увлечения. За исключением Анжольраса и Мариуса, которые хранили молчание, каждый разглагольствовал о чем придется. Товарищеские беседы принимают иногда такую форму мирной бестолковой болтовни. Это был не столько разговор, сколько игра, словесная неразбериха. Перебрасывались словами, подхватывали их на лету. Говор слышался во всех углах.

Ни одна женщина не допускалась в заднее помещение кафе, кроме Луизон, судомойки, время от времени проходившей здесь, направляясь из комнаты, где мылась посуда, в «лабораторию» кабачка.

Грантэр, сильно навеселе, забрался в угол и выкрикивал оттуда всякую чепуху, оглушая окружающих.

— Жажда томит меня, о смертные, — орал он, — мне приснился сон, будто с гейдельбергской бочкой случился удар, будто ей поставили дюжину пиявок и будто одна из них — я. Мне хочется выпить. Мне хочется забыться. Жизнь — кто ее только выдумал! — прегнусная штука. И длится она минуту, и цена ей грош. Станешь жить — непременно сломаешь себе на этом деле шею. Жизнь — только сцена с декорациями и почти без реквизита. Счастье — старая рама, выкрашенная с одной стороны. Все суета сует, говорит Екклесиаст. Я вполне разделяю мнение милейшего старца, хотя его, быть может, никогда не существовало на свете. Нуль, не желая ходить нагишом, рядится в суету. О суета! Стремление все приукрасить громкими словами. Ты превращаешь кухню в лабораторию, плясуна в учителя танцев, акробата в гимнаста, кулачного бойца в боксера, аптекаря в химика, парикмахера в художника, штукатура в архитектора, жокея в спортсмена, мокрицу в ракообразное из отряда равноногих. У суеты есть изнанка и лицо. С лица она тупа — это негр в своих побрякушках; с изнанки глупа — это философ в своем рубище. Я плачу над первым и смеюсь над вторым. То, что зовется почестями и высоким саном, и даже настоящая честь и слава — подделка под золото. Человеческое тщеславие — игрушка для царей. Калигула сделал консулом коня, Карл Второй возвел в рыцарское достоинство жаркое. А после этого в компании консула Incitatus[[36]](#footnote-36) и баронета Ростбифа не угодно ли кичиться чинами и орденами! Что же касается внутренних качеств человека, то и они немного стоят. Достаточно послушать панегирики, какие сосед поет соседу. Белое всегда жестоко к белому. Умей лилия говорить, не поздоровилось бы от нее голубке! Ханжа, которая судит о святоше, ядовитее ехидны и гадюки. Жаль, что я невежда, а не то я привел бы вам кучу примеров, но я ничего не знаю.

Кстати, умом я никогда не был обижен. Когда я учился у Гро, то зря времени не тратил, но проводил его с пользой: картинок не мазал, а таскал яблоки. Что малевать, что воровать — все один черт! Это я о себе. Впрочем, и вам всем цена не выше. Плевать я хотел на все ваши совершенства, достоинства и качества. Любое качество может обернуться недостатком: бережливый — родня скупому, щедрый — брат моту, храбрый — друг бахвала, от смиренных речей всегда отдает лицемерием. В добродетели столько же пороков, сколько дыр в плаще Диогена. Кому дарите вы восторги? Убиенному или убийце? Цезарю или Бруту? Обычно все на стороне убийцы. Да здравствует Брут, он совершил убийство! Вот это и называется добродетелью! Добродетелью — пускай, но и столько же безумством. У великих сих мужей большие странности. Брут, убивший Цезаря, был влюблен в статую мальчика. Статуя эта была изваяна греческим скульптором Стронгилионом, резцу которого принадлежит также фигура амазонки, так называемой Эвкнемозы Прекрасноногой, которую Нерон повсюду возил с собою. От Стронгилиона остались только эти две статуи, послужившие почвой для сближения Брута и Нерона. Брут был влюблен в одну, Нерон — в другую. История — лишь нудная жвачка. Один век бесцеремонно сдирает все у другого. Битва при Маренго — точная копия битвы при Пидне; Толбиак Хлодвига и Аустерлиц Наполеона похожи как две капли крови. Я не придаю победе никакого значения. Побеждать — глупейшее занятие. Не победить, а убедить — вот что достойно славы. А ну-ка, попробуйте хоть что-нибудь доказать! Но с вас достаточно преуспевать и покорять. Какая посредственность, какое ничтожество! Увы, куда ни глянь, повсюду тщета и низость. Все подчиняется успеху, даже грамматика. «Si volet usus»[[37]](#footnote-37), говорит Гораций. Вот за что и презираю я род человеческий. А теперь не перейти ли нам от общего к частному? Быть может, вы ждете от меня похвалы народам? С кого же начать нам, разрешите спросить? Не угодно ли с Греции? Афиняне, эти парижане древности, убили Фокиона — здесь невольно напрашивается сравнение с убийством Колиньи — и до такой степени низкопоклонствовали перед тиранами, что Анацефор говорил про Пизистрата, будто «на запах его урины слетаются пчелы». В течение полувека влиятельнейшим лицом в Греции был маленький и тщедушный грамматик Филет, которому приходилось подбивать свою обувь свинцом, чтобы его не унесло ветром. На главной площади Коринфа стояла статуя, изваянная Силанионом и описанная Плинием. Статуя изображала Эпистата. Что же такого великого совершил Эпистат? Он изобрел прием «подножку». Вот в основном и все, что можно сказать о Греции и славе. Пойдем дальше. Кому теперь вознести мне хвалу? Англии или Франции? Франции? За что, не за Париж ли? Но я уже высказал свой взгляд на Афины. Англии? За что? Не за Лондон ли? Но я ненавижу Карфаген. К тому же Лондон не только метрополия роскоши, но и столица нищеты. В одном лишь Чаринг-Кроссе ежегодно умирает от голода до ста человек. Вот он каков, Альбион! Для полноты картины добавлю, что видел однажды англичанку, танцевавшую в венке из роз и в синих очках. Так скорчим же Англии рожу! Однако не означает ли мой отказ от похвалы Джону Булю желание похвалить брата Джонатана? Никоим образом. Сей брат-рабовладелец мне совсем не внушает симпатии. Отнимите у Англии time is money[[38]](#footnote-38), и что останется от Англии? Отнимите у Америки cotton is king[[39]](#footnote-39), и что останется от Америки? У Германии характер лимфатический, у Италии — желчный. Может быть, нам следует восторгаться Россией? Вольтер рассыпал ей похвалы. Впрочем, он рассыпал их и Китаю. Я не отрицаю, что у России есть свои преимущества, и в том числе крепкая деспотическая власть. Но мне жаль деспотов. У них хрупкий организм.

Обезглавленный Алексей, заколотый Петр, один задушенный Павел, другой — затоптанный сапогами, ряд зарезанных Иванов, несколько отравленных Николаев и Василиев — все явно свидетельствует о том, что обстановка во дворце русских императоров вредна для здоровья. Одно явление, наблюдающееся среди всех цивилизованных народов, служит предметом удивления для мыслителей. Я имею в виду войну, ибо война, и война цивилизованная, применяет полностью все виды разбоя, начиная от нападения испанских трабукеров в горных ущельях Жакки и кончая грабежом индейцев-команчей. Ах, бросьте, скажете вы, Европа все-таки лучше Азии! Я не отрицаю, что Азия смехотворна. Однако я не вижу особых оснований вам, о народы Запада, потешаться над далай-ламой, — вам, которые внесли в свои моды и в свой элегантный обиход все нечистоплотные привычки царственных особ — и грязную сорочку королевы Изабеллы и стульчак дофина! Нет, дудки, господа человеки! В Брюсселе больше всего потребляют пива, в Стокгольме — водки, в Мадриде — шоколада, в Амстердаме — можжевеловки, в Лондоне — вина, в Константинополе — кофе, в Париже — абсента. Вот вам и все полезные сведения. А вообще говоря, Париж всех их перещеголял. В Париже и тряпичник живет как сибарит; Диогену, наверное, доставило бы не меньшее удовольствие быть тряпичником на площади Мобер, чем философом в Пирее. Запомните также следующее: кабачки тряпичников называются погребками. Самые знаменитые из них «Кастрюля» и «Скотобойня». Итак, о трактиры и кабаки, закусочные и питейные, ресторации и харчевни, распивочные и кофейни, караван-сараи халифов и погребки тряпичников! Сим свидетельствую, что я чревоугодник и столуюсь у Ришара по сорок су за обед и желаю иметь персидские ковры, чтобы завертывать в них нагую Клеопатру. Кстати, где же она, Клеопатра? Ах, это ты, Луизон? Давай поздороваемся.

Так разглагольствовал мертвецки пьяный Грантэр в углу дальней комнаты кафе «Мюзен», задев и проходившую мимо судомойку.

Боссюэ протянул руку, пытаясь заставить его замолчать, но Грантэр еще пуще разошелся.

— Лапы прочь, орел из Мо! Твой жест Гиппократа, отвергающего презренный дар Артаксеркса, ничуть меня не трогает. Я готов избавить тебя от труда и угомониться. Между прочим, мне очень грустно. Что вам еще сказать? Человек дурен, человек безобразен. Бабочка удалась, а человек не вышел. С этим животным господь бог опростоволосился. Толпа — богатейший выбор всяческих уродств. Кого ни возьми — одна дрянь. Женщина прелестна, рифмуется с «бесчестна». Да, разумеется, я болен сплином, осложненным меланхолией и ностальгией, а в придачу ипохондрией, и я злюсь, бешусь, зеваю, скучаю, томлюсь и изнываю. И ну его господа бога к черту!

— Да замолчи же, наконец, «эр» прописное! — прервал его Боссюэ, обсуждавший в эту минуту какой-то юридический казус с воображаемым собеседником и по уши увязший в одной из фраз судейского жаргона, заключительные слова которой гласили:

«...А что до меня, то, будучи еще малоискушенным в юриспруденции и выступая в роли обвинителя не более как любитель, я все же решаюсь утверждать нижеследующее, а именно: что, согласно нормандскому обычному праву, ежегодно в Михайлов день со всех, без всяких изъятий, землевладельцев взимался в пользу сеньора, помимо прочих, еще некий налог как с земельной собственности, так и с земель, переходящих по наследству, спорных, взятых в краткосрочную или долгосрочную аренду, свободных от обложений, сданных и принятых в залог, а равно с земельных купчих и...»

— «Эхо, жалобных нимф голоса», — затянул Грантэр.

По соседству с Грантэром за столиком царила почти гробовая тишина. Лист бумаги, чернильница и перо между двумя рюмками свидетельствовали о том, что здесь сочиняется водевиль. Это серьезное дело обсуждалось вполголоса, и две склоненные в трудах головы касались друг друга.

— Прежде всего надо придумать имена. Раз есть имена, нетрудно будет придумать и сюжет.

— Это верно. Диктуй. Я записываю.

— Господин Доримон.

— Рантье?

— Разумеется.

— Его дочь Целестина...

— ...тина. Дальше?

— Полковник Сенваль.

— Сенваль слишком избито. Лучше Вальсен.

Неподалеку от начинающих водевилистов другая пара, также воспользовавшись шумом, вполголоса обсуждала условия дуэли. Умудренный годами тридцатилетний старец наставлял восемнадцатилетнего юнца, расписывая, с каким противником ему предстоит иметь дело.

— Будьте осторожны, черт побери! Это лихой дуэлист. Работает чисто. Ловко нападает и не даст противнику слукавить. Руку имеет твердую, находчив, сообразителен, удары парирует мастерски, а наносит их математически точно, будь он неладен! И вдобавок еще левша.

В противоположном от Грантэра углу Жоли и Баорель играли в домино и рассуждали о любви.

— Ты настоящий счастливчик, — говорил Жоли. — Твоя возлюбленная только и знает, что смеется.

— И напрасно, — отвечал Баорель, — это с ее стороны большая оплошность. Возлюбленной вовсе не следует вечно смеяться. Это поощряет нас к измене. Видя ее веселой, не чувствуешь раскаяния; а если она печальна, как-то становится совестно.

— Неблагодарный! Так приятно, когда женщина смеется! И никогда-то вы не ссоритесь!

— Ну, на этот счет у нас особый уговор. Заключая священный наш союз, мы определили друг другу границы, которые никогда не преступаем. То, что на север, отошло к Во, то, что на юг, — к Жексу. Отсюда и нерушимый мир.

— Мир — это спокойно перевариваемое счастье.

— А что слышно у тебя, Жол-л-л-ли? Как твоя ссора с мамзель? Ты знаешь, кого я имею в виду?

— Да она все дуется на меня, жестоко и упорно.

— Казалось бы, такой тощий возлюбленный, как ты, уже одной своей худобой должен был ее разжалобить.

— Увы!

— На твоем месте я бы с ней распрощался.

— Это легко сказать.

— Не труднее, чем сделать. Если не ошибаюсь, ее зовут Мюзикетта?

— Да. Ах, дружище Баорель, что это за прелестная девушка, и какая начитанная! Ножка маленькая, ручка маленькая. Всегда мило одета, беленькая, пухленькая, а глазки, ну просто колдовские. Я от нее без ума!

— В таком случае надо постараться ей понравиться. Надо принарядиться. Купил бы ты себе у Штауба добротные шерстяные панталоны. Это действует.

— А надолго ли? — крикнул Грантэр.

В третьем углу шел жаркий спор о поэзии. Драка разгоралась между языческой и христианской мифологией. Вопрос касался Олимпа, защитником которого, уже в силу своих симпатий к романтизму, естественно, выступал Жан Прувер. Последний бывал застенчив только в спокойном состоянии духа. Стоило ему прийти в возбуждение, как у него развязывался язык, появлялся какой-то задор, и он становился насмешлив и одновременно лиричен.

— Не будем оскорблять богов, — взывал он. — Быть может, боги еще живы. Мне лично Юпитер вовсе не кажется мертвым. По-вашему, боги — это только мечты. Однако и теперь, когда эти мечты рассеялись, в природе по-прежнему находишь все великие мифы языческой древности. Какая-нибудь гора, ну хотя бы Виньмаль, очертаниями своими напоминающая крепость, для меня, как и встарь, — головной убор Кибелы; вы ничем мне не докажете, что Пан не приходит по ночам дуть в дуплистые стволы ив, поочередно перебирая пальцами дырочки; и я всегда был убежден, что образование водопада Писваш не обошлось без некоего участия Ио.

Наконец, в последнем углу говорили о политике. Бранили королевскую хартию. Комбефер вяло защищал ее, а Курфейрак яростно нападал на нее. На столе лежал злополучный экземпляр хартии знаменитого издания Туке. Курфейрак, схватив листок и потрясая им в воздухе, подкреплял свои аргументы шелестом бумаги.

— Во-первых, я вообще против всяких королей, — заверял он. — Уже из одних соображений экономического порядка я считаю их излишними: король всегда паразит. Короля нельзя иметь даром. Послушайте только, во что обходятся короли. После смерти Франциска Первого государственный долг Франции достигал тридцати тысяч ливров ренты; после смерти Людовика Четырнадцатого он возрос до двух миллиардов шестисот миллионов, считая стоимость марки в двадцать восемь ливров, что, по словам Демаре, равнялось бы в тысяча семьсот шестидесятом году четырем миллиардам пятистам миллионам, а в наши дни составляло бы двенадцать миллиардов. Во-вторых, не в обиду будь сказано Комбеферу, королевские хартии плохие проводники прогресса. Говорят, что конституционные фикции нужны для того, чтобы облегчить поворот к новому, сделать переход менее резким, ослабить удар, дать нации незаметно пройти путь от монархии к демократии. Эти аргументы никуда не годятся! Нет, нет и нет! Никогда не следует показывать народу факты в ложном свете. Самые лучшие принципы блекнут и вянут в ваших конституционных подвалах. Никаких половинчатых решений. Никаких компромиссов. Никаких всемилостивейших, дарованных народу вольностей. Во всех таких вольностях всегда наличествует какой-нибудь параграф четырнадцатый. Одной рукой дается, другой отнимается. Нет, я решительно против вашей хартии. Хартия — маска, под которой скрывается ложь. Народ, принимающий хартию, отрекается от своих прав. Право есть право лишь до тех пор, пока оно остается целостным. Нет! Никаких хартий!

Дело происходило зимой; два полена потрескивали в камине. Соблазн был велик, и Курфейрак не устоял. Скомкав в кулаке несчастную хартию Туке, он бросил ее в огонь. Бумага запылала. Комбефер с философским спокойствием глядел, как горело лучшее детище Людовика XVIII, и ограничился одной только фразой:

— Метаморфоза совершилась — хартия превращена в пламя.

А над всем этим здесь царило то, что у французов именуется оживлением, а у англичан — юмором. Насмешки, шутки, остроты, парадоксы и пошлости, трезвые мысли и глупости, шальные ракеты вопросов и ответов, поднимаясь сразу со всех концов комнаты, создавали впечатление какой-то веселой перестрелки, которая шла поверх голов присутствующих.

#### Глава 5

#### Расширение кругозора

В столкновении юных умов чудесно то, что никогда нельзя предвидеть, блеснет ли искра, или засверкает молния. Что возникнет через минуту? Никто не знает. Трогательное может встретить взрыв смеха, а смешное — заставить серьезно задуматься. Первое попавшееся слово служит толчком. В таких беседах все капризы законны. Простая шутка открывает неожиданный простор мысли. Стремительный переход от темы к теме, внезапно меняющий всю перспективу, составляет отличительную черту подобных разговоров. Их двигатель — случайность.

Глубокая мысль, непонятно как родившаяся среди словесной трескотни, вдруг прорвалась сквозь гущу беспорядочных речей спорящих между собою Грантэра, Баореля, Прувера, Боссюэ, Комбефера и Курфейрака.

Как появляется иная фраза в диалоге? Почему вдруг, без всякого внешнего повода, останавливает она на себе внимание слушателей? Мы уже сказали, что это никому не известно. Посреди шума и гама Боссюэ вдруг неожиданно заключил какое-то возражение Комбеферу упоминанием даты:

— Восемнадцатого июня тысяча восемьсот пятнадцатого года, Ватерлоо.

Мариус сидел за стаканом воды, облокотившись на стол; при слове «Ватерлоо» он отнял руку от подбородка и принялся внимательно следить за присутствующими.

— Меня всегда поражало, бог ее знает (выражение «черт знает» в ту пору начинало выходить из употребления), что это за странная цифра восемнадцать! — воскликнул Курфейрак. — Восемнадцать — роковое число для Бонапарта. Поставьте перед цифрой восемнадцать Людовик, а после нее — Брюмер, и вот вам вся судьба великого человека с одной лишь существенной разницей, что в данном случае конец опережает начало.

Тут Анжольрас, еще не проронивший ни звука, нарушил молчание и, обращаясь к Курфейраку, заметил:

— Ты хочешь сказать, что кара опережает преступление?

«Преступление!» — это слово переполнило чашу терпения Мариуса, уже и без того крайне взволнованного внезапным упоминанием о Ватерлоо.

Он встал, неторопливо подошел к висевшей на стене карте Франции, на которой внизу, в отдельной клетке, был нарисован остров, и, коснувшись пальцем карты, сказал:

— Это Корсика. Маленький островок, сделавший Францию такой великой.

Сразу словно пахнуло ледяным дыханием. Все смолкло. Чувствовалось, что сейчас что-то начнется.

Баорель собирался в эту минуту пустить в ход один из излюбленных своих ораторских приемов для стремительного контрудара Боссюэ. Теперь он отказался от этого и приготовился слушать.

Анжольрас, голубые глаза которого, казалось, никого не замечая, были устремлены в пустоту, ответил, не глядя на Мариуса:

— Чтобы быть великой, Франция не нуждается ни в какой Корсике. Франция велика потому, что она — Франция. Quia nominor leo[[40]](#footnote-40).

Однако Мариус не имел ни малейшего намерения отступать. Он обернулся к Анжольрасу и заговорил громким, дрожащим от внутреннего волнения голосом:

— Боже меня упаси умалять величие Франции! Но сливать воедино Францию и Наполеона вовсе не означает умалять ее. Послушайте, поговорим откровенно. Я новичок среди вас, но, должен признаться, вы меня удивляете. Объяснимся же, приведем в ясность, с кем мы и кто мы. Кто вы, кто я? Выскажемся чистосердечно об императоре. Вы зовете его не иначе, как Буонапарт с ударением на *у*, словно роялисты. Надо сказать, что мой дед в этом отношении вас превзошел: он произносит — *Буонапарте*. Я считал вас людьми молодыми. Так где же и в чем он, ваш молодой энтузиазм? Уж если император не заслуживает вашего восхищения, то кто же заслуживает? Чего еще ищете вы? Уж если этот великий человек вам не угодил, то какие еще великие люди нужны вам? Ему было дано все. Он являл собою совершенство. В его мозгу все человеческие способности были представлены возведенными в куб. Подобно Юстиниану, составлял он своды законов; подобно Цезарю, предписывал их; в речах его, как у Паскаля, сверкали молнии и, как у Тацита, слышались громы; он равно и творил, и писал историю, его бюллетени — те же песни «Илиады»; он владел искусством сочетать язык чисел Ньютона с языком метафор Магомета; на Востоке он оставлял на своем пути слова, великие, как пирамиды; в Тильзите учил императоров царственности; в Академии наук с успехом возражал Лапласу; в Государственном совете выходил победителем, споря с Мерленом; он умел вдохнуть живую душу в мертвую геометрию одних и в мелочную формалистику других; с юристами он превращался в законника и в астронома — со звездочетами; подобно Кромвелю, который из двух горящих свечей всегда задувал одну, он, чтобы подешевле купить какие-нибудь кисти для занавеси, самолично отправлялся в Тампль; он все замечал, все знал, что, однако, нисколько не мешало ему добродушно улыбаться над колыбелью своего малютки. Но вот испуганная Европа уже слышит: армии выступают в поход, с грохотом катятся артиллерийские парки, пловучие мосты протягиваются через реки, тучи конницы несутся вихрем, крики, трубные звуки, всюду колеблются троны, границы государств меняются на карте, доносится свист выхваченного из ножен меча сверхчеловеческой тяжести, и, наконец, он, император, появляется на горизонте с огнем в руках и пламенем в очах, раскинув среди громов и молний два крыла своих: великую армию и старую гвардию, — воистину архангел войны!

Все молчали, а Анжольрас потупил голову. Молчание всегда может быть до некоторой степени сочтено знаком согласия или свидетельством того, что противник прижат к стенке. Мариус, почти не переводя дыхания, продолжал с еще большим воодушевлением:

— Будем же справедливы, друзья! Империя такого императора! Какая блестящая судьба для народа, если это народ Франции и если он приобщает собственный гений к гению этого человека! Воцаряться всюду, где бы ни появился, торжествовать всюду, куда бы ни пришел, делать местом привала столицы всех государств, сажать королями своих гренадеров, росчерком пера упразднять династии, штыками перекраивать Европу, — пусть чувствуют, что, когда он угрожает, рука его на эфесе божьего меча! Какая блестящая судьба следовать за человеком, совмещающим в лице своем Ганнибала, Цезаря и Карла Великого, быть народом того, кто что ни день дарует вам благую весть успехов в ратном деле, пробуждает вас залпами пушки Дома инвалидов, бросает в пучину вечности чудесные, неугасимым пламенем горящие слова: Маренго, Арколь, Аустерлиц, Йена, Ваграм! Кто поминутно зажигает в зените веков созвездия новых побед, уподобляет Французскую империю Римской! Какая блестящая судьба быть великой нацией и создать великую армию и, подобно горе, посылающей орлов своих во все концы вселенной, дать разлететься по всей земле своим легионам, покорять, властвовать, повергать ниц, представлять собою какой-то исключительный народ в Европе, сверкающий золотом славы, оглашать историю фанфарами титанических труб, побеждать мир дважды: силой оружия и ослепительным светом! Это ли не прекрасно! И есть ли что-либо прекраснее этого?

— Быть свободным, — промолвил Комбефер.

Теперь Мариус в свою очередь потупил голову. Эти простые и сдержанные слова словно стальным клинком врезались в поток его эпических излияний, и он почувствовал, что поток этот иссякает. Когда он поднял глаза, Комбефера уже не было. Удовлетворившись, по-видимому, своей репликой на тирады Мариуса, он ушел, и все, за исключением Анжольраса, последовали за ним. Комната опустела. Анжольрас остался теперь наедине с Мариусом и не сводил с него строгого взгляда. Между тем, собравшись немного с мыслями, Мариус не признал себя побежденным; все внутри у него еще кипело, и это кипение, наверное, вылилось бы в ряд длиннейших силлогизмов, направленных против Анжольраса, если бы внезапно не послышался чей-то голос. Кто-то пел, спускаясь по лестнице. Это был Комбефер, а пел он следующее:

Когда бы Цезарь дал мне славу,

И трон, и скипетр, и державу,

И мне велел за то предать

Мою возлюбленную мать,

Я Цезарю сказал бы прямо:

«Мне твоего не надо хлама,

Я мать свою люблю, слепец!

Я мать свою люблю!»

Нежное и вместе с тем суровое выражение, с каким Комбефер пел эти слова, придавали им какой-то особый и высокий смысл. Мариус задумчиво поднял глаза и почти машинально повторил:

Я мать свою люблю...

В ту же минуту он почувствовал на своем плече руку Анжольраса.

— Гражданин, — сказал, обращаясь к нему Анжольрас, — мать — это Республика.

#### Глава 6

#### Res angusta[[41]](#footnote-41)

Этот вечер оставил в душе Мариуса глубокий след и погрузил его в печаль и тьму. Он испытывал то же, что, возможно, испытывает земля, когда ее вскрывают, врезаясь железом, чтобы бросить семя; она чувствует в этот момент только боль от раны; трепет зарождающейся жизни и радостное ощущение зреющего плода приходят позднее.

Мрачное настроение овладело Мариусом. Он так недавно обрел веру; неужели необходимо уже отрекаться от нее? Он убеждал себя, что не нужно. Твердил себе, что не поддастся сомнениям, и тем не менее невольно поддавался им. Стоять на распутье между двумя религиями, еще не расставшись с одной и еще не примкнув к другой, невыносимо тяжко; лишь человеку-нетопырю милы такие потемки. Мариус же принадлежал к людям со здоровым зрением, и ему нужен был неподдельный дневной свет. Полутьма сомнений угнетала его. Вопреки желанию оставаться на старых позициях и не трогаться с места его неудержимо тянуло и влекло вперед, толкало исследовать, раздумывать, двигаться дальше. «Куда же это приведет меня?» — задавал он себе вопрос. Проделав такой длинный путь, чтобы приблизиться к отцу, он боялся, как бы теперь снова не отдалиться от него. И чем больше он размышлял, тем тяжелее становилось у него на сердце. Всюду ему виделись крутые обрывы. Ни с дедом, ни с друзьями не достиг он единомыслия: для одного он был слишком вольнодумным, для других — слишком отсталым; он чувствовал себя вдвойне одиноким, отвергнутым и старостью, и молодостью. Он перестал ходить в кафе «Мюзен».

Охваченный душевной тревогой, Мариус не думал даже о некоторых насущных сторонах существования. Но действительность не дает себя забыть. Она не преминула напомнить о себе пинком.

Однажды утром хозяин гостиницы, войдя в комнату Мариуса, заявил:

— Господин Курфейрак поручился за вас.

— Да.

— Но я хотел бы получить деньги.

— Попросите Курфейрака зайти ко мне. Мне надо переговорить с ним, — ответил Мариус.

Когда Курфейрак пришел и хозяин удалился, Мариус рассказал Курфейраку то, что до сих пор не удосужился рассказать, а именно, что теперь он одинок на свете и что родных у него больше нет.

— Как же вы будете жить? — спросил Курфейрак.

— Не знаю, — ответил Мариус.

— Что вы намерены делать?

— Не знаю.

— Есть ли у вас деньги?

— Пятнадцать франков.

— Не хотите ли занять у меня?

— Ни в коем случае.

— Есть ли у вас какое-нибудь носильное платье?

— Да вот же оно.

— А какие-нибудь ценные вещи?

— Часы.

— Серебряные?

— Нет, золотые. Вот они.

— У меня есть знакомый торговец платьем, который купит у вас редингот и панталоны.

— Превосходно.

— Значит, у вас останется тогда только одна пара панталон, жилет, шляпа и сюртук.

— И сапоги.

— В самом деле? Вам не придется ходить босиком? Какая роскошь!

— Больше мне и не требуется.

— У меня есть знакомый часовщик, который купит у вас часы.

— Очень хорошо.

— Совсем не хорошо. А что вы будете делать потом?

— Я согласен на любой труд, был бы только честный.

— Знаете ли вы английский язык?

— Нет.

— А немецкий?

— Тоже нет.

— Жаль.

— Почему?

— Да потому, что один мой приятель-книготорговец издает нечто вроде энциклопедии, для которой вы могли бы переводить статьи с немецкого или английского. Платят, правда, маловато, но жить на это все же можно.

— Я выучусь и английскому, и немецкому языку.

— А до тех пор?

— До тех пор буду проедать свое платье и часы.

Позвали торговца платьем. Он купил добро Мариуса за двадцать франков. Сходили к часовщику. Он купил часы за сорок пять франков.

— Ну что же, это неплохо, — сказал Мариус Курфейраку, возвращаясь в гостиницу, — с моими пятнадцатью получится восемьдесят франков.

— А счет за гостиницу? — напомнил Курфейрак.

— Верно. Я и позабыл, — сказал Мариус.

Хозяин представил счет, который необходимо было немедленно оплатить. Он достигал семидесяти франков.

— У меня остается десять франков, — заметил Мариус.

— Черт возьми, — воскликнул Курфейрак, — вам придется, таким образом, питаться на пять франков, пока вы будете изучать английский язык, и еще на пять, пока будете изучать немецкий! Для этого нужно либо очень быстро поглощать языки, либо очень медленно монеты в сто су.

Между тем тетушка Жильнорман, женщина, в сущности, добрая, что особенно сказывалось в трудные минуты жизни, докопалась в конце концов, где живет Мариус. Как-то утром, вернувшись с занятий, Мариус нашел у себя письмо от нее и запечатанную шкатулку с «шестьюдесятью пистолями», то есть шестьюстами франками золотом.

Мариус отослал тетушке деньги обратно с приложением почтительного письма, в котором заявлял, что имеет средства к существованию и может впредь сам себя содержать. К тому времени у него оставалось всего три франка.

Тетушка не сообщила деду об отказе Мариуса, боясь вконец рассердить старика. Тем более что он и сам приказал при нем «никогда не упоминать об этом кровопийце!».

Мариус, не желая входить в долги, покинул гостиницу Порт-Сен-Жак.

### Книга пятая

### Преимущество несчастья

#### Глава 1

#### Мариус в нищете

Жизнь стала суровой для Мариуса. Проедать часы и платье — это еще полбеды. Но он отведал и такого, чего не передать, — как говорится, *хлебнул горя*. Страшная вещь — нужда; она означает дни без хлеба, ночи без сна, вечера без свечи, очаг без огня; она означает, что неделями нечего заработать и от будущего нечего ждать; она означает сюртук, протертый на локтях, и старую шляпу, возбуждающую у молодых девушек смех; дверь, которую, возвращаясь вечером к себе, находишь на замке, потому что не заплатил за квартиру; наглость портье и кухмистера, усмешечки соседей; унижение, уязвленное самолюбие, необходимость мириться с любой работой, отвращение ко всему, горечь, подавленность. Мариус научился проглатывать все это и не удивляться, что другого зачастую и глотать нечего. В ту пору жизни, когда человеку особенно необходимо сознание собственного достоинства, потому что необходима любовь, он видел себя посмешищем, потому что был плохо одет, и презираемым всеми, потому что был беден. В том возрасте, когда молодость переполняет наше сердце царственной гордыней, он не раз с краской стыда опускал глаза на дырявые свои сапоги и познал незаслуженный и мучительный позор нищеты. Чудесное и грозное испытание, из которого слабые выходят, потеряв честь, а сильные — обретя величие. Это горнило, куда судьба бросает человека всякий раз, когда ей нужен подлец или полубог.

Ибо в мелкой борьбе совершается много великих подвигов. В ней столько примеров упорного и скрытого мужества, шаг за шагом, невидимо отражающего роковой натиск лишений и низких соблазнов. В ней одерживаются благородные, но тайные победы, которых ни один глаз не видит, молва не восхваляет, трубный глас не приветствует. Жизнь, несчастье, одиночество, заброшенность, бедность — вот поле битвы, выдвигающее собственных героев, безвестных, но иной раз превосходящих доблестью самых прославленных.

Сильные и редкие натуры именно так и создаются. Нищета, являющаяся почти всегда мачехой, иногда бывает и матерью. Скудость материальных благ родит духовную и умственную мощь; тяжкие испытания вскармливают гордость; несчастья служат здоровой пищей для благородного характера.

В жизни Мариуса было время, когда он сам подметал площадку на своей лестнице, когда, купив у торговки на одно су сыра бри, он дожидался сумерек, чтобы войти в булочную и купить маленький хлебец, который тайком, словно краденый, уносил к себе на чердак. Зачастую можно было наблюдать молодого человека с книгами под мышкой, который, направляясь в расположенную на углу мясную лавку, неловко пробирался сквозь толпу отпускавших грубые шутки и толкавших его кухарок. Вид у него был смущенный и дикий. Войдя в лавку, он стаскивал с головы шляпу, и на лбу его блестели капельки пота; он отвешивал низкий поклон удивленной лавочнице, затем такой же приказчику, спрашивал отбивную баранью котлетку, платил за нее шесть или семь су, заворачивал покупку в бумагу и, засунув под мышку между двух книг, уходил. То был Мариус. Этой котлеткой, которую он сам жарил, он питался три дня.

В первый день он съедал мясо, на другой — жир, а на третий обгладывал косточку.

Тетушка Жильнорман несколько раз возобновляла попытки переслать ему упомянутые шестьдесят пистолей. Мариус неизменно отсылал их назад, заявляя, что ни в чем не нуждается.

Он носил еще траур по отцу, когда с ним произошли описанные нами перемены. С тех пор он уже не мог отказаться от своего черного платья. Зато платье само отказалось ему служить. В один прекрасный день сюртук уже нельзя было надеть, хотя панталоны еще могли кое-как сойти. Что делать? Курфейрак, которому Мариус со своей стороны оказал некоторые дружеские услуги, отдал ему старый сюртук. Какой-то портье взялся за тридцать су перелицевать его. Сюртук вышел как новенький. Но он был зеленого цвета. Тогда Мариус стал выходить из дома только с наступлением сумерек. Благодаря этому сюртук казался черным. Не желая снимать траура, Мариус облекался в темноту ночи.

Несмотря на все описанные трудности, ему удалось все же получить диплом адвоката. Считалось, что он живет в комнате Курфейрака, вполне приличной, где некоторое количество старых книг по юриспруденции, дополненное и обогащенное несколькими томами разрозненных романов, заменяло положенную по штату библиотеку юриста. Письма Мариус просил адресовать ему на квартиру Курфейрака.

Став адвокатом, Мариус уведомил об этом деда холодным, но очень вежливым и почтительным письмом. Г-н Жильнорман взял письмо дрожащими руками, прочел и, разорвав на четыре части, бросил в корзину. Два-три дня спустя м-ль Жильнорман услыхала, как отец, находясь один в комнате, громко разговаривал сам с собой. Это случалось с ним всякий раз, когда он бывал чем-нибудь сильно взволнован. Она прислушалась. «Не будь ты таким дураком, — говорил старик, — ты понял бы, что нельзя быть сразу бароном и адвокатом».

#### Глава 2

#### Мариус в бедности

Все на свете образуется, нищета тоже. Мало-помалу она становится не такой уже невыносимой. Она приобретает в конце концов какой-то устоявшийся определенный уклад. Человек прозябает — иными словами, влачит жалкое существование, но все же может прокормиться. Жизнь Мариуса Понмерси наладилась, и вот каким путем.

Самое худшее для него уже миновало. Теснина впереди несколько расступилась. Трудом, мужеством, настойчивостью и выдержкой ему удавалось зарабатывать около семисот франков в год. Он выучился немецкому и английскому языку. Благодаря Курфейраку, который свел его со своим приятелем-книготорговцем, Мариус стал выполнять в книготорговле самую скромную роль *полезности*. Он составлял конспекты, переводил статьи из журналов, писал краткие отзывы о книжных новинках, биографические справки и т. п., что давало ему худо-бедно чистых семьсот франков ежегодно. На них он и жил. И жил сносно. А как именно? Это мы сейчас расскажем.

За тридцать франков в год Мариус нанимал в лачуге Горбо конуру без камина, важно именовавшуюся кабинетом; в ней по части обстановки имелось только самое необходимое. Обстановка эта являлась собственностью Мариуса. Три франка в месяц он платил старухе, главной жилице, за то, что она подметала конуру и приносила ему по утрам немного горячей воды, свежее яйцо и хлебец ценою в одно су. Хлебец и яйцо служили ему завтраком. Завтрак стоил от двух до четырех су, в зависимости от того, дорожали или дешевели яйца. В шесть часов вечера он спускался под горку на улицу Сен-Жак пообедать у Руссо, против торговца эстампами Басэ, на углу улицы Матюрен. Супа он не ел. Он брал обычно порцию мясного за шесть су, полпорции овощей за три су и десерта на три су. Хлеб стоил три су и давался вволю. А вместо вина он пил воду. Расплачиваясь у конторки, где величественно восседала в ту пору еще не утратившая полноты и свежести г-жа Руссо, он давал су гарсону и получал в награду улыбку г-жи Руссо. Затем уходил. Улыбка и обед обходились ему в шестнадцать су.

Трактир Руссо, где опорожнялось так мало винных бутылок и так много графинов с водой, можно было скорее причислить к заведению прохладительного, нежели горячительного типа. Теперь этого трактира уже нет. У хозяина было удачное прозвище, его называли «водяным Руссо».

Итак, при завтраке в четыре су и обеде в шестнадцать Мариус тратил на еду двадцать су в день, что составляло триста шестьдесят пять франков в год. Прибавьте сюда указанные тридцать франков за квартиру и тридцать шесть франков старухе, кое-какие мелкие расходы — и получится, что за четыреста пятьдесят франков Мариус имел стол, квартиру и услуги. Одежда стоила ему сто франков, белье — пятьдесят, стирка — пятьдесят, а все в совокупности не превышало шестисот пятидесяти франков. У него оставалось еще пятьдесят франков. Он был богачом. Он мог в случае надобности дать приятелю десятку-другую взаймы; однажды Курфейрак занял у него даже целых шестьдесят франков. Что касается топлива, то эту статью расхода, поскольку в комнате не было камина, Мариус «упразднил».

У Мариуса всегда имелось два костюма: старый, «для каждого дня», и новый — для торжественных случаев. И тот и другой черного цвета. Сорочек у него было не больше трех: одна на нем, другая в комоде, третья у прачки. Он пополнял их по мере того, как они снашивались. Но они были почти всегда изорваны, что вынуждало его застегивать сюртук до самого подбородка.

Чтобы достигнуть такого цветущего состояния, Мариусу понадобились годы. То были тяжкие годы; их нелегко было прожить и нелегко выйти победителем. Мариус ни на один день не ослаблял усилий. И если говорить о лишениях, то чего только он не испытал и за что только не брался, избегая лишь одного — брать в долг. Он мог смело сказать, что никогда не был должен никому ни единого су. Для него всякий долг означал уже начало рабства. В его представлении кредитор был даже хуже господина, ибо господская власть распространяется только на ваше физическое *я*, а кредитор посягает на ваше человеческое достоинство и может унизить его. Мариус предпочитал отказываться от пищи, только бы не делать долгов, и не один день случалось ему сидеть голодным. Памятуя, что крайности сходятся и упадок материальной обеспеченности, если не принять мер предосторожности, может привести к моральному упадку, он ревниво оберегал свою честь. Иные выражения и поступки, которые при других обстоятельствах он счел бы за простую вежливость, теперь расценивались им как низкопоклонство, и при одной мысли об этом он принимал гордый вид. Он держал себя в жестких рамках, чтобы не приходилось позднее бить отбой. Строгость лежала на его лице словно румянец, а в своей застенчивости он доходил до резкости.

Но во всех испытаниях его поддерживала, а порой и воодушевляла, тайная внутренняя сила. В известные минуты жизни душа приходит на помощь телу и вселяет в него бодрость. Это единственная птица, оберегающая собственную клетку.

Рядом с именем отца в сердце Мариуса крепко запечатлелось и другое имя — имя Тенардье. Со свойственной ему восторженностью и серьезностью Мариус мысленно окружил каким-то ореолом человека, которому был обязан жизнью отца, — этого неустрашимого сержанта, спасшего полковника среди ядер и пуль Ватерлоо. Он никогда не отделял память об этом человеке от памяти об отце, благоговейно объединяя обоих в своих воспоминаниях. Это был как бы культ двух степеней: большой алтарь был воздвигнут для отца, малый — для Тенардье. И Мариус испытывал еще большую благодарность и умиление, думая о Тенардье, когда узнал о случившейся с ним беде. В Монфермейле Мариусу сообщили о разорении и банкротстве злосчастного трактирщика. С тех пор он прилагал неслыханные усилия, чтобы найти след и разыскать Тенардье в мрачной бездне нищеты, где тот исчез. Мариус изъездил все окрестности, побывал в Шеле, Бонди, Гурне, Ножане, Ланьи. В течение трех лет он непрерывно отдавался этим поискам, тратя на них все скудные свои сбережения. Никто не мог дать ему о Тенардье никаких сведений. Предполагали, что он уехал в чужие края. Не столь любовно, но не менее усердно искали Тенардье и его кредиторы. Однако и они не могли его найти. Мариус готов был винить себя в неудаче, постигшей его розыски, и даже негодовал на себя. Это был единственный долг, оставленный ему полковником, и Мариус считал делом чести уплатить его. «Как же так, — думал он, — ведь сумел же Тенардье в дыму и под картечью найти моего отца, когда тот лежал умирающим на поле битвы, и вынести его оттуда на своих плечах, а он ничем не был обязан отцу. Неужели же я, будучи стольким обязан Тенардье, не сумею найти его во тьме, где он борется со смертью, и в свою очередь вернуть к жизни? Нет, я найду его!» И действительно, чтобы найти Тенардье, он, не задумываясь, дал бы отрубить себе руку, а чтобы вырвать его из нищеты, отдал бы всю свою кровь. Увидеться с Тенардье, оказать Тенардье какую-нибудь услугу, сказать ему: «Вы меня не знаете, но я-то вас знаю! Вот я! Располагайте мною!» — было самой сладостной, самой высокой мечтой Мариуса.

#### Глава 3

#### Мариус вырос

В ту пору Мариусу исполнилось двадцать лет. Прошло три года, как он расстался с дедом. Отношения между ними оставались прежними — ни с той, ни с другой стороны не делалось никаких попыток к сближению, ни одна сторона не искала встречи. Да и к чему было искать ее? Чтобы опять начались столкновения? Кто из них согласился бы пойти на уступки? Ежели Мариус был тверд, как бронза, то г-н Жильнорман был крепок, как железо.

Нужно сказать, что Мариус ошибся в сердце деда. Он вообразил, что г-н Жильнорман никогда его не любил и что этот грубый, резкий, насмешливый старик, который вечно бранился, кричал, бушевал и замахивался тростью, в лучшем случае питал к нему не глубокую, но требовательную привязанность комедийных жеронтов. Мариус заблуждался. Встречаются отцы, которые не любят своих детей, но не бывает деда, который не боготворил бы своего внука. И, как мы уже сказали, в глубине души г-н Жильнорман обожал Мариуса. Обожал, конечно, по-своему, сопровождая свое обожание тумаками и даже затрещинами; но когда мальчика не стало, он почувствовал в сердце мрачную пустоту. Он потребовал, чтобы ему не напоминали о Мариусе, втайне сожалея, что приказание его так строго исполняется. В первое время он надеялся, что этот буонапартист, этот якобинец, этот террорист, этот сентябрист вернется. Но проходили недели, проходили месяцы, проходили годы, а кровопийца, к величайшему горю г-на Жильнормана, не показывался. «Но ведь ничего другого, как выгнать его, мне не оставалось», — убеждал себя дед. И тут же задавал себе вопрос: «А случись это сейчас, поступил бы я так же?» Его гордость, не задумываясь, отвечала: «Да», а старая голова молчаливым покачиванием печально отвечала: «Нет». Временами он совсем падал духом: ему недоставало Мариуса. Привязанность нужна старикам, как солнце; это тоже источник тепла. Несмотря на стойкий его характер, с уходом Мариуса в нем что-то переменилось. Ни за что на свете не согласился бы он сделать шаг к примирению «с этим дрянным мальчишкой», но он страдал. Он никогда не справлялся о нем, но думал о нем постоянно. Образ жизни, который он вел в Марэ, становился все более и более замкнутым. Он оставался еще веселым и вспыльчивым, но веселость его проявлялась теперь резко и судорожно, словно пересиливая горе и гнев, а вспышки всегда заканчивались каким-то тихим и сумрачным унынием. «Эх, и здоровенную же оплеуху я бы ему отвесил, пусть только бы он вернулся!» — иногда говорил он себе.

Что же касается тетки, то она неспособна была мыслить, а значит, и по-настоящему любить; Мариус превратился для нее в некую тусклую, неясную тень, и в конце концов она стала интересоваться им гораздо меньше, нежели своей кошкой и попугаем, каковые, разумеется, у нее имелись.

Тайные муки старика Жильнормана усиливались еще и тем, что он наглухо замкнулся и ничем их не обнаруживал. Его горе походило на печи новейшего изобретения, поглощающие собственный дым. Случалось, что иной неудачливый собеседник, желая угодить ему, заводил с ним разговор о Мариусе и спрашивал: «Как поживает и что поделывает ваш милый внук?» Старый буржуа, вздыхая, если бывал в грустном расположении духа, или пощелкивая себя по манжетке, если хотел казаться веселым, отвечал: «Барон Понмерси изволит сутяжничать в какой-нибудь дыре».

Но между тем как старик терзался сожалениями, Мариус был доволен собой. Как это всегда происходит с добрыми людьми, несчастье заставило его забыть горечь обиды. Он всегда вспоминал теперь о г-не Жильнормане с теплым чувством, однако твердо решил ничего не принимать от человека, «дурно относившегося» к его отцу. Вот какую умеренную форму приняло теперь его былое возмущение. К тому же он был счастлив, что ему пришлось пострадать и что страдания его не прекращались. Ведь он страдал за отца. Жизнь, исполненная суровой нужды, удовлетворяла его и нравилась ему. С какой-то радостью он твердил себе, что «все это еще слишком хорошо»; что это искупление; что, не будь этого, он был бы позднее еще не так наказан за свое кощунственное равнодушие к отцу, к такому отцу! Ведь было бы несправедливо, если бы на долю отца выпали все страдания, а на его долю ничего. Да и что значат его труды и лишения по сравнению с героической жизнью полковника? И он приходил к выводу, что единственный способ стать близким отцу и походить на него — это так же мужественно бороться с нищетой, как доблестно тот боролся с врагом, и что именно это, наверное, и хотел сказать полковник словами: «Он будет его достоин». Слова эти Мариус по-прежнему хранил — правда, теперь уже не на груди, потому что записка полковника пропала, но в сердце.

Напомним, что в тот день, когда дед его выгнал, Мариус был еще ребенком, теперь он стал взрослым мужчиной. Он и сам сознавал это. Нищета, повторяем, пошла ему на пользу. Бедность в дни юности, если искус ее проходит благополучно, хороша тем, что всецело направляет нашу волю к действию, а душу — к высоким стремлениям. Бедность сразу обнажает материальную изнанку жизни во всей ее неприглядности и внушает к ней отвращение; следствием же этого является неотвратимая тяга к жизни духовной. У богатого юноши имеются сотни столь же блестящих, сколь и грубых, развлечений: скачки, охота, собаки, табак, карты, вкусные яства и еще многое другое; все это удовлетворяет низменные стороны человеческой души, в ущерб возвышенным и благородным ее сторонам. Бедный же юноша трудом добывает свой хлеб насущный, он должен утолить голод, а когда утолит его, ему нечем заняться, кроме мечтаний. Ему доступны лишь бесплатные зрелища, даруемые богом: он созерцает небо, просторы, звезды, цветы, детей, человечество, среди которого томится в страданиях, мир творений, среди которого является светочем. И, созерцая, он познает через человечество душу людей, а через мир творений — бога. Отдавшись мечтам, он чувствует себя великим, но мечты уносят его дальше, и в нем пробуждается нежность. От эгоизма, который присущ страдающему человеку, он переходит к сочувствию, которое присуще человеку мыслящему. В нем проявляется чудесная способность забывать о себе и сострадать другим. При мысли о бесчисленных радостях, которыми природа щедро награждает души, открытые ей, и в которых отказывает душам, для нее закрытым, — он, обладатель миллионов духовных благ, испытывает жалость к обладателям миллионного состояния. И чем больше просвещается его ум, тем меньше ненависти остается в сердце. Да и бывает ли он на самом деле несчастен? Нет. Молодого человека нищета никогда не делает нищим. Любой мальчишка, как бы беден он ни был, своим здоровьем, силой, быстрой походкой, блеском глаз, горячей кровью, переливающейся в жилах, темным цветом волос, румянцем щек, алостью губ, белизною зубов, чистотою дыхания — всегда составит предмет зависти для старика, будь то сам император. И потом, каждое утро юноша берется за работу, чтобы добыть себе пропитание; и пока руки его добывают это пропитание, спина гордо выпрямляется, а ум обогащается идеями. А закончив дневной свой урок, он снова весь отдается созерцанию, неизреченным своим восторгам и радостям. Жизненный путь его скорбен, полон препятствий и терний, под ногами его камни, а иной раз и грязь, но голова всегда озарена светом. Он тверд, кроток, спокоен, тих, вдумчив, серьезен, невзыскателен, снисходителен; и он благословляет бога за то, что тот даровал ему два сокровища, не доступные многим богачам: труд, с которым он обрел свободу, и мысль, с которой он обрел достоинство.

Это именно и произошло с Мариусом. По правде говоря, он, пожалуй, был чересчур склонен к созерцанию. Добившись более или менее верного заработка, он на этом и успокоился, находя, что не так уж плохо быть бедным, и урезал время работы, чтобы иметь больше досуга для размышления. Случалось, таким образом, что он проводил целые дни в раздумии, словно зачарованный, весь погрузившись в немое сладострастие внутренних восторгов и озарений. Жизненную задачу он разрешал для себя так: как можно меньше отдаваться труду ради материальных благ и как можно больше — ради духовной пользы. Иначе говоря — жертвовать повседневным нуждам лишь несколькими часами, а все остальное время отдавать вечному. Думая, что он ни в чем не нуждается, Мариус не замечал, что понятая подобным образом созерцательная жизнь превращается в итоге в одну из форм лени; что он успокоился, удовлетворив лишь примитивные материальные потребности, и слишком рано вздумал отдыхать.

Совершенно очевидно, что для деятельной и благородной натуры Мариуса такое состояние могло быть лишь переходным и что при первом же столкновении с неизбежными для всякой человеческой судьбы трудностями он сбросит с себя дремоту.

А тем временем, несмотря на свое адвокатское звание и вопреки тому, что думал на этот счет старик Жильнорман, он не только не «сутяжничал», но и вовсе не занимался адвокатурой. Мечтательность внушила ему отвращение к юриспруденции. Водиться со стряпчими, торчать в судах, гоняться за практикой — какая тоска! Да и к чему это? Он не видел никаких оснований менять род занятий. Работа в упомянутой выше скромной книготорговле стала давать ему в конце концов без большой затраты труда надежный заработок, и его, как было уже нами сказано, вполне хватало Мариусу.

Один из книготорговцев, на которых он работал, — если не ошибаюсь, это был г-н Мажимель, — предложил ему поселиться у него, обещая предоставить хорошую квартиру и постоянную работу с жалованьем в полторы тысячи франков в год. Хорошая квартира! Полторы тысячи франков! Это, конечно, недурно. Но лишиться свободы! Превратиться в наемника! В своего рода литературного приказчика! По мнению Мариуса, принять предложение означало бы одновременно улучшить и ухудшить свое положение: выиграть с точки зрения материального благополучия и проиграть с точки зрения человеческого достоинства. Это означало бы променять неприкрашенную, но прекрасную бедность на уродливую и смешную зависимость. Все равно как если бы из слепого превратиться в кривого. Он отказался.

Мариус жил уединенно. В силу природной склонности держаться особняком, а также и потому, что его слишком отпугнули, он так и не вошел по-настоящему в кружок, возглавляемый Анжольрасом. Они остались приятелями, были готовы, если бы понадобилось, оказать любую взаимную услугу, но и только. У Мариуса было два друга: Курфейрак и г-н Мабеф, один был молод, другой — стар. Он больше льнул к старику. Во-первых, ему он был обязан своим внутренним переворотом, во-вторых — благодаря ему он узнал и полюбил своего отца. «Он снял с глаз моих катаракту», — говорил Мариус.

И несомненно, церковный староста сыграл в судьбе Мариуса решающую роль.

Правда, г-н Мабеф явился лишь покорным и бесстрастным орудием провидения. Он осветил Мариусу истинное положение дел случайно и сам того не подозревая, как освещает комнату свеча, кем-нибудь внесенная в нее. И он был именно свечой, а не тем, кто ее вносит.

Что же касается перемены, происшедшей в политических воззрениях Мариуса, то г-н Мабеф был совершенно не способен ни понять, ни приветствовать ее, ни руководить ею.

Так как впоследствии нам предстоит еще встретиться с г-ном Мабефом, нелишним будет сказать о нем несколько слов.

#### Глава 4

#### Г-н Мабеф

В тот день, когда г-н Мабеф сказал Мариусу: «Разумеется, я уважаю политические убеждения», он выразил подлинные свои чувства. Все политические убеждения были для него одинаково безразличны, и он готов был уважать любые из них, лишь бы они не нарушали его покоя, — он уподоблялся в этом случае грекам, именовавшим Фурий «прекрасными, благими, прелестными», *Эвменидами*. Самому г-ну Мабефу политические воззрения заменяла страстная любовь к растениям и еще большая — к книгам. Как и у всех его современников, у него имелся ярлычок, оканчивавшийся на *ист*, без которого тогда никто не обходился. Однако г-н Мабеф не был ни роялистом, ни бонапартистом, ни хартистом, ни орлеанистом, ни анархистом, — он был букинистом.

Он не понимал, как могут люди ненавидеть друг друга из-за такой «чепухи», как хартия, демократия, легитимизм, монархия, республика и т. п., когда на свете существует такое множество всякого рода мхов, трав и кустарников, которыми можно любоваться, и такое множество всяческих книг, не только in folio, но и в одну тридцать вторую долю, которые можно листать. Впрочем, он желал приносить пользу. Коллекционирование книг не мешало ему читать, а занятия ботаникой — заниматься садоводством. Когда между ним и Понмерси завязалось знакомство, обнаружилось, что у них с полковником общая страсть. Опыты, которые полковник проделывал над цветами, г-н Мабеф проделывал над плодами. Ему удавалось получать семенные сорта груш, не менее сочные, чем сен-жерменские, и, по-видимому, именно его трудам обязана своим происхождением знаменитая теперь октябрьская мирабель, не уступающая по ароматности летней. Он ходил к обедне скорее по мягкости характера, нежели из набожности, а также и потому, что, любя человеческие лица и ненавидя шум толпы, лишь в церкви видел людей собравшихся, но безмолвствующих. Полагая, что необходимо иметь какое-либо общественное положение, он избрал себе должность церковного старосты. Ко всему прочему, за весь его век ему не довелось полюбить женщину сильнее луковицы тюльпана, а мужчину — сильнее эльзевира. Ему уже давно перевалило за шестьдесят, когда кто-то однажды спросил его: «Разве вы никогда не были женаты?» — «Не припоминаю», — ответил он. Если ему случалось — а с кем это не случается? — вздыхать иногда: «Ах, будь я богат!» — то он говорил это отнюдь не как старик Жильнорман, заглядываясь на какую-нибудь красотку, а любуясь старинной книгой. Он жил один со старухой экономкой. У него была легкая подагра, и, когда он спал, его старые, скрюченные ревматизмом пальцы торчали бугорком под складками простыни. Он написал и издал книгу о «Флоре окрестностей Котерэ». Сочинение это, украшенное цветными таблицами, клише от которых хранились у него, пользовалось довольно широкой известностью, и он сам продавал его. Два-три раза в день в его квартире на улице Мезьер раздавался звонок покупателей. Он выручал таким путем около двух тысяч франков в год, чем и ограничивался почти весь его доход. Несмотря на бедность, он сумел, терпеливо отказывая себе во всем, постепенно собрать драгоценную коллекцию всевозможных редких изданий. Он выходил из дому не иначе как с книгой под мышкой, а возвращался нередко с двумя. Единственным украшением четырех комнат в нижнем этаже, которые вместе с примыкавшим к ним садиком составляли его жилище, являлись оправленные в рамки гербарии да гравюры старых мастеров. От одного вида сабли или ружья кровь застывала у него в жилах. Ни разу в жизни он и близко не подошел к пушке, даже к той, что у Дома инвалидов. У него была совершенно седая голова, здоровый желудок, беззубый рот и такой же беззубый ум. Он весь подергивался, говорил с пикардийским акцентом, смеялся детским смехом, был очень пуглив и всем своим видом напоминал старого барана. Надо добавить к этому, что у него был брат священник и что, не считая старика Руайоля, хозяина книжной лавки у ворот Сен-Жак, он ни к кому на свете не питал ни дружбы, ни привязанности. Заветной мечтой его было акклиматизировать во Франции индиго.

Образец святой простоты являла собой и его служанка. Добрая старушка так и осталась в девицах. Кот Султан, мурлыканье которого могло бы поспорить для нее с самим «Мизерере» Аллегри в исполнении Сикстинской капеллы, заполнял все ее сердце и поглощал весь запас неистраченной нежности. О мужчинах она ни разу в жизни и не помышляла. Ни за что не решилась бы она изменить своему коту и была такой же усатой, как он. Единственную ее гордость составляла белизна чепцов. Воскресное послеобеденное время она посвящала пересчитыванию белья в сундуке или раскладыванию на кровати кусков материи, которые покупала себе на платья, но никогда не отдавала шить. Она умела читать. Г-н Мабеф прозвал ее «тетушка Плутарх».

Мариус заслужил благосклонность г-на Мабефа, ибо своей молодостью и мягкостью согревал его старость и умел щадить его робкий характер. Молодость в соединении с мягкостью оказывает на стариков такое же действие, как весеннее солнце в безветренный день. Когда Мариус начинал чувствовать пресыщение военной славой, пороховой гарью, бесчисленными походами и переходами и всеми изумительными битвами, участвуя в которых его отец то наносил, то получал страшные сабельные удары, он шел повидать г-на Мабефа, и тот повествовал ему о любви героя к цветам.

Около 1830 года умер его брат священник, и почти тотчас же весь горизонт для г-на Мабефа омрачился, словно наступила ночь. Банкротство нотариуса лишило его десяти тысяч франков, в которых заключалось все его состояние, как личное, так и доставшееся от брата. Июльская революция повлекла за собой кризис книжной торговли, а при любой заминке в делах прежде всего перестают продаваться всякие «Флоры». На «Флору окрестностей Котерэ» сразу же прекратился спрос. Недели за неделями проходили без единого покупателя. Если случалось вдруг зазвонить звонку, г-н Мабеф вздрагивал. «Это водовоз, сударь», — печально поясняла тетушка Плутарх. Короче говоря, в один прекрасный день г-н Мабеф покинул свою квартиру на улице Мезьер, сложил с себя обязанности церковного старосты, распрощался с Сен-Сюльпис, продал, не тронув книг, часть своих гравюр, так как дорожил ими меньше, и перебрался в маленький домик на бульваре Монпарнас. Впрочем, он прожил здесь только один триместр по следующим двум причинам: во-первых, нижний этаж с садом стоил триста франков, а он не имел возможности тратить на квартиру больше двухсот; во-вторых, он оказался тут по соседству с тиром «Фату», откуда непрестанно доносились пистолетные выстрелы, чего он совершенно не переносил.

Забрав свою «Флору», свои клише, гербарии, папки и книги, он покинул бульвар Монпарнас и поселился неподалеку от больницы Сальпетриер, в деревне Аустерлиц, где за пятьдесят экю в год нанимал нечто вроде хижины в три комнаты, с садом, обнесенным забором, и колодцем. Воспользовавшись переездом, он продал почти всю свою обстановку. В день водворения на новую квартиру он был очень весел, собственноручно вбивал гвозди для своих гравюр и гербариев, а покончив с этим занятием, все остальное время до сумерек копался в саду. Вечером, заметив, что тетушка Плутарх о чем-то призадумалась и пригорюнилась, он хлопнул ее по плечу и с улыбкой сказал: «Ничего, ничего, у нас есть еще индиго!»

Лишь двум посетителям — хозяину книжной лавки, помещавшейся у ворот Сен-Жак, да Мариусу — разрешалось навещать г-на Мабефа в его аустерлицкой хижине, откровенно говоря, достаточно ему неприятной своим громким наименованием.

Впрочем, как мы уже отмечали, до рассудка людей, поглощенных какой-либо мудрой или безумной мыслью или, что нередко бывает, обеими одновременно, лишь очень медленно доходят житейские дела и заботы. Люди эти равнодушны к собственной судьбе. Сосредоточенность на одном предмете родит пассивность, которая, не будь она бессознательной, могла бы сойти за философию. Человек начинает опускаться, катиться вниз, сходить на нет, даже разрушаться, почти незаметно для себя самого. Правда, пробуждение в конце концов наступает, но всегда слишком поздно. А до тех пор он кажется безучастным к игре, которая идет между его счастьем и несчастьем. Он — ставка в ней, а следит за партией с полным безразличием.

Вот каким образом, несмотря на сгущавшийся вокруг него мрак и угасавшие одна за другой надежды, г-ну Мабефу удалось сохранить несколько наивную, но глубокую душевную ясность. В его умственных навыках была инерция маятника. Создав себе иллюзию, он, словно заведенный, продолжал идти за ней, хотя она давно уже рассеялась. Часы не останавливаются тут же, когда от них теряют ключ.

У г-на Мабефа были свои невинные развлечения. Они не требовали расходов и всегда носили неожиданный характер; самый ничтожный повод доставлял их. Однажды тетушка Плутарх, сидя в уголке, читала роман. Она читала вслух, находя, что так понятнее. Читая вслух, как бы втолковываешь себе написанное. Громкое чтение имеет своих любителей, и вид у них такой при этом, словно они желают клятвенно убедить себя в истинности читаемого.

С такой именно выразительностью читала и тетушка Плутарх свой роман, держа книгу в руках. Г-н Мабеф слушал не вслушиваясь.

Тетушка Плутарх дошла до фразы, в которой говорилось о красавице и драгунском офицере:

«...Красавица рассердилась и сказала: «Буду». И драгуна...»

Тут тетушка Плутарх остановилась, чтобы протереть очки.

— Будду и Дракона, — повторил вполголоса г-н Мабеф. — Совершенно верно, был некогда дракон, который, укрывшись в пещере, поджигал оттуда небо, выбрасывая пламя из пасти. Уже не одна звезда сгорела от козней этого чудовища, наделенного к тому же когтями тигра. Тогда Будда вошел в пещеру его, и ему удалось укротить дракона. Вы читаете очень хорошую книгу, тетушка Плутарх. Это прекраснейшая из легенд.

И г-н Мабеф погрузился в сладостную задумчивость.

#### Глава 5

#### Бедность и нищета — добрые соседи

Мариусу нравился этот простодушный старик, медленно засасываемый нуждой и уже начинающий с удивлением, но еще без огорчения замечать это. С Курфейраком Мариус встречался, если к тому представлялся случай, общества же г-на Мабефа он искал. Впрочем, он бывал у него не часто, не более одного-двух раз в месяц.

Любимое удовольствие Мариуса составляли длинные одинокие прогулки по внешним бульварам, по Марсову полю или по наиболее безлюдным аллеям Люксембургского сада. Иногда он по полдня проводил у усадьбы какого-нибудь огородника, глядя на грядки, засаженные салатом, на кур, роющихся в навозе, на лошадь, вращающую колесо водочерпалки. Прохожие с любопытством оглядывали его. Иным его одежда внушала подозрение, а вид казался зловещим. Но то был просто-напросто бедный юноша, предававшийся беспредметным мечтам.

В одну из таких прогулок Мариус набрел на лачугу Горбо и, соблазнившись уединенностью и дешевизной, поселился здесь. Все знали его тут только под именем г-на Мариуса.

Кое-кто из старых генералов и старых товарищей отца, познакомившись с Мариусом, пригласил его бывать у них. Мариус не отказывался от этих приглашений. Они предоставляли ему возможность поговорить об отце. Итак, время от времени он появлялся то у графа Пажоля, то у генерала Белавена и Фририона, то в Доме инвалидов. Здесь занимались музыкой, танцевали. На эти вечера Мариус надевал свой новый костюм. Но он посещал их только в сильный мороз, ибо не имел средств нанять карету, а приходить в сапогах, которые не блестели бы как зеркало, не хотел.

«Уж так созданы люди», — не раз говорил он, без малейшей, впрочем, горечи. В салонах разрешается появляться всячески замаранным, но только не в замаранных сапогах. Вы можете рассчитывать на радушный прием лишь при условии безукоризненной чистоты — чего думали бы вы? Совести? Нет, сапог!

В мечтаниях рассеиваются все страсти, кроме сердечной. Политическая горячка Мариуса также нашла в них исцеление. Этому способствовала и революция 1830 года, принесшая ему удовлетворение и успокоение. Он остался прежним, сохранив, помимо гнева, все прежние чувства. Воззрений своих он не переменил, они только смягчились. Собственно говоря, воззрений у него и не осталось, а сохранились одни симпатии. Сторонником какой же партии был он? Партии человечества. Из всех представителей человечества он отдавал предпочтение французам; из всей нации — народу, а из всего народа — женщине. К женщине он питал наибольшее сострадание. Теперь он стал считать мысль важнее действия, ставя поэта выше героя, а книгу, подобную книге Иова, выше события, подобного Маренго. И когда вечером, после дня, проведенного в раздумье, он, идя вечером бульварами домой, сквозь ветви деревьев вглядывался в беспредельные небесные пространства, в мерцающие безвестные огни, в бездну, мрак, тайну, — все человеческое казалось ему таким ничтожным.

Он думал — и, быть может, справедливо, — что открыл настоящий смысл и настоящую философию человеческой жизни, и в конце концов сосредоточился только на созерцании неба, которое одно доступно взору истины из глубины ее колодца.

Это не мешало ему строить всевозможные планы, проекты и расчеты на будущее. Если бы кому-нибудь удалось заглянуть в душу Мариуса, когда тот погружался в мечты, он был бы изумлен ее ослепительной чистотой. И в самом деле, обладай наше зрение способностью видеть внутренний мир нашего ближнего, можно было бы гораздо вернее судить о человеке по его мечтам, нежели по его мыслям. В мыслях наличествует волевое начало, в мечтах его нет. Мечты, возникающие непроизвольно, всегда воспроизводят и сохраняют, даже если предметом их служит нечто грандиозное и идеальное, наш собственный духовный облик. Нет ничего более непосредственно, более искренно идущего из сокровенных глубин нашей души, чем безотчетные и безудержные стремления наши к великому жребию. В этих стремлениях гораздо больше, чем в связных, продуманных, согласованных мыслях, виден подлинный характер человека. Больше всего походят на нас наши фантазии. Каждому мечта о неведомом и невозможном рисуется соответственно его натуре.

Примерно в середине 1831 года старуха, прислуживавшая Мариусу, рассказала ему, что его соседей, несчастное семейство Жондретов, гонят с квартиры. Мариус, чуть ли не по целым дням не бывавший дома, вряд ли даже знал, что у него есть соседи.

— А за что же гонят их? — спросил он.

— За то, что не платят и просрочили уже двойной срок.

— Сколько это составляет?

— Двадцать франков, — ответила старуха.

У Мариуса в ящике стола лежали про запас тридцать франков.

— Вот вам двадцать пять франков, — сказал он старухе. — Заплатите за этих бедных людей, а пять франков отдайте им. Только не говорите, что это от меня.

#### Глава 6

#### Заместитель

Неожиданно полк, в котором служил поручик Теодюль, был переведен в Париж нести гарнизонную службу. Это обстоятельство способствовало зарождению второй мысли в голове тетушки Жильнорман. В первый раз она вздумала поручить Теодюлю наблюдение за Мариусом; теперь она затеяла заместить Мариуса Теодюлем.

На всякий случай, если у деда вдруг возникнет смутное желание видеть в доме молодое лицо — лучи Авроры иногда бывают сладостны руинам, — она сочла полезным обзавестись другим Мариусом. «Ничего, что другой, — рассуждала она, — это все равно как ссылка на опечатку в книге: «Мариус — читай Теодюль».

Внучатый племянник — почти что внук; за отсутствием адвоката можно обойтись уланом.

Однажды утром, когда г-н Жильнорман был занят чтением «Ежедневника» или иной газеты того же сорта, вошла дочь и сладчайшим голосом, ибо речь шла об ее любимчике, сказала:

— Папенька, нынче утром Теодюль собирался прийти засвидетельствовать вам свое почтение.

— Это кто такой — Теодюль?

— Ваш внучатый племянник.

— А-а! — протянул дед.

Затем он снова принялся читать, совершенно выкинув из головы внучатого племянника — какого-то там Теодюля, и вскоре пришел в сильнейшее раздражение, что с ним случалось почти всякий раз, как он читал газеты. В «листке», который он держал в руках, само собою разумеется роялистского толка, без всяких околичностей сообщалось об одном незначительном и обыденном для Парижа той поры факте, а именно, что: «Завтра, в полдень, на площади Пантеона состоится совещание студентов юридического и медицинского факультетов». Дело шло об одном из злободневных тогда вопросов: об артиллерии национальной гвардии и конфликте между военным министром и «гражданской милицией» из-за установленных во дворе Лувра пушек. Вот что и должно было служить предметом «обсуждений» студенческого совещания. Этого было вполне достаточно, чтобы г-н Жильнорман вскипел.

Он вспомнил о Мариусе, который также был студентом и который, наверно, вместе с другими отправится в полдень «совещаться» на площадь Пантеона.

За этими мучительными мыслями и застал его поручик Теодюль, предусмотрительно одетый в штатское и тихохонько введенный в комнату м-ль Жильнорман. Улан рассудил, что «старый колдун, конечно, не все упрятал в пожизненную ренту, и ради этого, так уж и быть, можно себе позволить изредка наряжаться шпаком».

— Теодюль, ваш внучатый племянник, — громким голосом произнесла м-ль Жильнорман, обращаясь к отцу.

И тут же шепнула поручику:

— Смотри, ни в чем ему не перечь.

Затем она удалилась.

Поручик, не привыкший к столь почтенному обществу, не без робости пролепетал: «Здравствуйте, дядюшка», и отвесил какой-то смешанный поклон, машинально, по привычке, начав его по-военному и закончив по-штатски.

— А, это вы! Прекрасно, садитесь, — проговорил дед. И тотчас же позабыл об улане.

Теодюль сел, а г-н Жильнорман встал.

Засунув руки в жилетные карманы и сжимая своими старыми, дрожащими пальцами часы, которые лежали в обоих карманах, он принялся ходить взад и вперед по комнате, рассуждая вслух:

— Сопливая команда! А туда же — собираться! И слыханное ли дело, не где-нибудь, а на площади Пантеона! Несчастные сосунки, вчера только от кормилиц, молоко на губах не обсохло, а туда же — совещаться завтра в полдень! К чему, к чему это приведет? Совершенно очевидно, только к гибели. Вот куда завели нас эти голоштанники! Гражданская артиллерия! Совещаться о гражданской артиллерии! Выходить на улицу, горланить — полагается ли национальной гвардии палить из пушек или нет! А в какой компании они там очутятся? Полюбуйтесь на плоды якобинства! Чем угодно поручусь, миллион об заклад поставлю, что, кроме беглых да помилованных каторжников, там никого не сыщешь. Республиканец и острожник — два сапога пара. Карно спрашивал: «Куда прикажешь мне идти, изменник?» А Фуше отвечал: «Куда угодно, дурак!» Вот они и все здесь, ваши республиканцы.

— Совершенно верно, — подтвердил Теодюль.

Господин Жильнорман слегка повернул голову и, взглянув на Теодюля, продолжал:

— И подумать только, что у этого негодяя хватило низости стать карбонарием! Зачем ты покинул мой дом? Чтобы стать республиканцем! Вот выдумал! Во-первых, народ не хочет твоей республики. Она ему совсем не надобна. У него мозги на месте. Он прекрасно знает, что короли всегда были и будут; он прекрасно знает, что в конце концов народ — это только народ; его, понимаешь ли, смех берет на твою республику, глупая твоя голова! Что может быть омерзительнее этакой придури? Втюриться в «Отца Дюшена», строить глазки гильотине, распевать серенады и тренькать на гитаре под балконом девяносто третьего года! Да такая молодежь и плевка не стоит, до того она тупа! И все попадаются на эту удочку. Ни один не уходит. Теперь достаточно вдохнуть воздуха улицы, и разума как не бывало! Девятнадцатый век — это яд. Глядишь, какой-нибудь шельмец-мальчишка, а уж отпустил себе козлиную бородку, вообразил, что он умнее всех, и скорей от стариков-родителей наутек. Это по-республикански, по-романтичному. А что это за штука такая — романтизм? Сделайте одолжение, объясните мне, что это за штука? Сплошное дурачество. Год назад все бегали на «Эрнани». Скажите на милость, «Эрнани»! Разные там антитезы, ужасы. И написано-то даже не по-французски! А теперь вдруг поставили пушки на Луврский двор. Вот до какого докатились разбоя!

— Вы совершенно правы, дядюшка, — сказал Теодюль.

— Пушки во дворе музея! С какой стати? К чему там пушки? — не унимался г-н Жильнорман. — Обстреливать Аполлона Бельведерского, что ли? Какое отношение имеют пушечные ядра к Венере Медицейской? Ну что за мерзавцы вся эта нынешняя молодежь! И сам их Бенжамен Констан тоже не велика фигура! А ежели и попадется среди них не подлец — значит, болван! Они всячески себя уродуют, безобразно одеваются, робеют перед женщинами и вьются подле юбок с таким видом, словно милостыню просят; девчонки, глядя на них, прыскают со смеху. Честное слово, можно подумать, что бедняги страдают любвебоязнью. А при всей неказистости еще и глупы: им любо повторять каламбуры Тьерселена и Потье. Сюртуки сидят на них мешком, в их жилетах щеголять только конюхам, сорочки у них из грубого полотна, панталоны из грубой шерсти, сапоги из грубой кожи; а каково оперенье — таково и пенье. Их словечки разве только на их собственные подметки годятся. И у всех этих безмозглых младенцев имеются, изволите ли видеть, политические воззрения. Следовало бы строжайше запретить всякие политические воззрения. Они фабрикуют системы, перекраивают общество, разрушают монархию, топчут в грязь законы, ставят дом вверх дном, моего портье превращают в короля, потрясают до основания Европу, переделывают весь мир, а сами рады-радешеньки, ежели доведется украдкой полюбоваться икрами прачек, влезающих на свои тележки! Ах, Мариус! Ах, бездельник! Вопить на площади, спорить, доказывать, принимать меры! Боже милосердный, это называется у них мерами! Смута все больше мельчает, становится глупостью. В мое время я видывал хаос, а теперь вижу одну кутерьму. Школяры, обсуждающие судьбы национальной гвардии! Да эдакое не видано и у каких-нибудь краснокожих оджибвеев и кадодахов! Дикари, что ходят нагишом, с башкой, утыканной перьями, словно волан, и с дубиной в лапах, — и те меньшие скоты, чем эти бакалавры! Молокососы! Цена-то им грош, а корчат из себя умников, хозяев, совещаются, рассуждают! Нет, это конец света. Совершенно очевидно — конец этого презренного шара, именуемого земным. Вот-вот и Франция вместе с ним испустит последний вздох. Совещайтесь же, дурачье! И так будет продолжаться, пока они не перестанут ходить читать газеты под арки Одеона. Стоит это всего лишь одно су да здравый смысл, разум, сердце, душа и ум в придачу. Побывают там — и вон из семьи. Все газеты — чума, даже «Белое знамя»! Ведь Мортенвиль был, в сущности, якобинцем. О боже милосердный! Теперь он может хвалиться, он довел-таки своего деда до отчаянья!

— Не подлежит никакому сомнению, — согласился Теодюль.

И, воспользовавшись тем, что г-н Жильнорман на минуту замолк, чтобы перевести дух, улан нравоучительно добавил:

— Из газет следовало бы сохранить только «Монитер», а из книг — только «Военный ежегодник».

— Все они подобны Сьейесу! — снова начал г-н Жильнорман. — Из цареубийц — в сенаторы! Этим они все кончают. Сперва хлещут друг друга республиканским тыканьем, чтобы потом их величали сиятельными графами. Сиятельные сморчки, убийцы, сентябристы! Сьейес — философ! К чести своей, должен сказать, что всегда ценил философию этих философов не выше очков гримасника из сада Тиволи. Однажды я видел проходившую по набережной Малакэ процессию сенаторов в бархатных фиолетовых мантиях, усеянных пчелами, и в шляпах, как у Генриха Четвертого. Они были омерзительны. Настоящие придворные мартышки его величества тигра. Заверяю вас, граждане, что ваш прогресс — безумие, ваше человечество — мечта, ваша революция — преступление, ваша республика — уродина, ваша молодая, девственная Франция выскочила из публичного дома. Довожу это до сведения всех вас, кто бы вы ни были — журналисты, экономисты, юристы, и пусть даже бо́льшие ревнители свободы, равенства и братства, чем нож гильотины! Вот что я заявляю вам, друзья любезные!

— Черт побери, — воскликнул поручик, — до чего изумительно верно!

Господин Жильнорман не закончил начатого было жеста, обернулся, посмотрел в упор на улана Теодюля и отрезал:

— Дурак.

### Книга шестая

### Встреча двух звезд

#### Глава 1

#### Прозвище как способ образования фамилии

В ту пору Мариус был красивым юношей, среднего роста, с густой черной шапкой волос, высоким умным лбом и нервно раздувающимися ноздрями. Он производил впечатление человека искреннего и уравновешенного, и по всему его лицу было разлито какое-то горделивое, задумчивое и невинное выражение. В округлых, но отнюдь не лишенных четкости линиях его профиля было что-то от германской мягкости, проникшей во французский облик через Эльзас и Лотарингию, и то отсутствие угловатости, которое так резко выделяло сикамбров среди римлян и отличает львиную породу от орлиной. Он вступил в тот период жизни, когда ум мыслящего человека почти в равной мере и глубок, и наивен. В сложных житейских обстоятельствах он легко мог оказаться несообразительным; однако новый поворот ключа — и он оказывался на высоте положения. В обращении он был сдержан, холоден, вежлив и замкнут. Но у него был прелестный рот, алые губы и белые зубы, и улыбка смягчала некоторую суровость его лица. В иные минуты эта чувственная улыбка представляла странный контраст с целомудренным его лбом. Глаза у него были небольшие, а взгляд открытый.

В худшие времена своей нищеты Мариус не раз замечал, что девушки оглядывались на него, когда он проходил, и, затая в душе смертельную муку, спешил спастись бегством или спрятаться. Он думал, что они смотрят на него потому, что он одет в обноски, и смеются над ним. В действительности же они смотрели на него потому, что он был красив, и мечтали о нем.

Это безмолвное недоразумение, возникшее между встречными красотками и Мариусом, сделало его нелюдимым. Он не остановил своего выбора ни на одной из них по той простой причине, что бегал от всех. Вот так он и жил сам по себе — «по-дурацки», как говорил Курфейрак.

— Не лезь в святоши (они были на «ты», ибо в юности друзья легко переходят на «ты»), — говорил также Курфейрак. — Мой тебе совет, дружище: поменьше читай книжки и хоть изредка поглядывай на прелестниц. Плутовки не так уж плохи, поверь мне, о Мариус! А будешь бегать от них да краснеть — только отупеешь.

Иногда при встрече Курфейрак приветствовал его словами: «Добрый день, господин аббат».

После подобных речей Курфейрака Мариус по меньшей мере с неделю еще усерднее избегал всех женщин, молодых и старых без исключения, а вдобавок и самого Курфейрака.

Все же нашлись на белом свете две женщины, от которых он не убегал и которых не опасался. По правде говоря, он был бы очень удивлен, если бы ему сказали, что это — женщины. Одна из них была бородатая старуха, подметавшая его комнату. Глядя на нее, Курфейрак уверял, будто «Мариус именно потому и не отпускает бороды, что ее отпустила себе его служанка». Другая — была какая-то девочка, которую он очень часто видел, но не обращал на нее внимания.

Уж более года назад Мариус заметил в одной из пустынных аллей Люксембургского сада, тянувшейся вдоль ограды Питомника, мужчину и совсем еще молоденькую девушку, сидевших бок о бок почти всегда на одной и той же скамье, в самом уединенном конце аллеи, выходившем на Западную улицу. Всякий раз, когда случай, без вмешательства которого не обходятся прогулки людей, погруженных в свои мысли, приводил Мариуса в эту аллею — а это бывало почти ежедневно, — он находил там эту парочку. Мужчине можно было дать лет шестьдесят; он казался печальным и серьезным, а своим крепким сложением и утомленным видом напоминал отставного военного. Будь на нем орден, Мариус подумал бы, что перед ним бывший офицер. Лицо у него было доброе, но он производил впечатление человека необщительного и ни на ком не останавливал взгляда. Он носил синие панталоны, синий редингот и широкополую шляпу, всегда новенькие на вид, словно с иголочки, черный галстук и квакерскую сорочку, то есть ослепительной белизны, но из грубого полотна. «Что за чистюля-вдовец!» — воскликнула однажды, проходя мимо, какая-то гризетка. Голова у него была совсем седая.

В первый раз, когда девочка, сопровождавшая старика, уселась подле него на скамью, которую они себе, видимо, облюбовали, она казалась тринадцати-четырнадцатилетним подростком, почти до уродливости худым, неуклюжим и ничем не примечательным. Одни только глаза ее еще подавали надежду стать красивыми, но во взгляде этих широко открытых глаз таилась какая-то неприятная невозмутимость. Одета она была по-старушечьи и вместе с тем по-детски, на манер монастырских воспитанниц, в черное плохого покроя платье из грубой мериносовой материи. Старика и девочку можно было принять за отца и дочь.

Первые два-три дня Мариус с любопытством разглядывал пожилого человека, которого еще нельзя было назвать стариком, и девочку, которую еще нельзя было назвать девушкой. Затем он совсем перестал думать о них. А те со своей стороны, видимо, даже не замечали его. Они мирно и безмятежно беседовали между собой. Девочка без умолку весело болтала. Старик говорил мало и по временам останавливал на ней взгляд, полный невыразимой отеческой нежности.

Незаметно для себя Мариус приобрел привычку гулять по этой аллее. Он всякий раз встречал их тут.

Вот как это происходило.

Чаще всего Мариус появлялся в конце аллеи, противоположном их скамье, шел через всю аллею, проходил мимо них, затем поворачивал обратно, возвращался к своему исходному пункту и начинал путь сызнова. Пять-шесть раз в течение своей прогулки мерил он шагами аллею в обоих направлениях, а прогулка эта повторялась пять-шесть раз в неделю, но ни разу ни ему, ни этим людям не пришло в голову обменяться поклоном. Старик и девушка явно избегали посторонних взглядов, но, несмотря на это, а может быть, именно поэтому, их заметили пять-шесть студентов, изредка приходивших погулять в аллею Питомника: прилежные — после занятий, а иные — после партии на бильярде. Курфейрак, принадлежавший к числу последних, некоторое время наблюдал за сидящими на скамейке, но, найдя девушку дурнушкой, вскоре стремительно ретировался. Он бежал, как парфянин, метнув в них прозвище. Запомнив единственно цвет платья девочки и цвет волос старика, он назвал дочь «девицей Черной», а отца — «господином Белым». А поскольку никто не знал, как их зовут, то, за отсутствием подлинного имени, вошло в силу прозвище. «Ага! Господин Белый уж тут как тут!» — говорили студенты. За ними и Мариус стал называть неизвестного г-ном Белым.

Мы последуем их примеру и для удобства будем также именовать его в нашем рассказе г-ном Белым.

В первый год Мариус видел отца и дочь почти ежедневно и всегда в один и тот же час. Старик нравился ему, девушку же он находил малоприятной.

#### Глава 2

#### Lux facta est[[42]](#footnote-42)

На второй год, как раз к тому времени, до которого доведено наше повествование, случилось так, что Мариус, сам хорошенько не зная почему, прекратил привычные прогулки в Люксембургский сад и почти полгода ни разу не показывался в своей аллее. Но вот одним ясным летним утром он снова отправился туда. На душе у Мариуса было радостно, как у всех нас в солнечный день. Ему казалось, что это в его сердце на все голоса поет раздававшийся вокруг птичий хор и в его сердце голубеет вся лазурь небес, глядевшая сквозь листву дерев.

Он направился к «своей аллее» и, дойдя до конца ее, увидел все на той же скамье знакомую пару. Поравнявшись с ними, он заметил, что старик нисколько не изменился, но девушка показалась ему совсем иной. Он видел теперь перед собою высокое красивое создание, наделенное всеми женскими прелестями в ту их пору, когда они сочетаются еще с наивной грацией ребенка, — пору мимолетную и чистую, которую лучше не определишь, чем двумя словами: пятнадцать лет. Чудесные каштановые волосы с золотистым отливом, лоб словно изваянный из мрамора, щеки словно лепестки розы, бледный румянец, заалевшаяся белизна, очаровательный рот, откуда улыбка слетала, как луч, а слова — как музыка, головка рафаэлевой Мадонны, покоящаяся на шее Венеры Жана Гужона. И наконец, чтобы довершить обаяние этого восхитительного личика, вместо красивого носа — хорошенький носик: ни прямой, ни с горбинкой, ни итальянский, ни греческий нос, а парижский, то есть нечто умное, тонкое, неправильное, но чистое по очертаниям — предмет отчаяния художников и восторга поэтов.

Проходя мимо нее, Мариус не мог разглядеть ее глаз, все время остававшихся потупленными. Он увидел только длинные каштановые ресницы, в тени которых таилась стыдливость.

Это не мешало милой девочке улыбаться, слушая седого человека, что-то ей говорившего, и трудно было придумать что-либо восхитительнее этого сочетания ясной улыбки и потупленных глаз.

В первую минуту Мариус подумал, что это, должно быть, вторая дочь старика, сестра первой. Но когда неизменная привычка прогуливаться взад и вперед привела его вторично к скамейке и он внимательно вгляделся в девушку, то убедился, что это была все та же. В полгода девочка превратилась в девушку. Вот и все. Ничего особенного в этом нет. Приходит час, и в мгновение ока бутон распускается в розу. Вчера девушка еще была ребенком — дня не прошло, и все чарует в ней.

Но наша девочка не только выросла, она приобрела и одухотворенность. Как трех апрельских дней достаточно для некоторых деревьев, чтобы зацвести, так для нее оказалось достаточным полгода, чтобы облечься красотой. Пришел ее апрель.

Мы наблюдаем иногда, как бедные, скромные люди вдруг, словно стряхнув с себя сон, сразу из нищенства бросаются в роскошество, сорят деньгами, неожиданно становятся заметными, расточительными, блистательными. Это означает, что в кармане у них завелись деньги, — вчера был срок выплаты ренты. Так и тут: девушка получила свой полугодовой доход.

Ее уже больше нельзя было принять за пансионерку. Куда девалась ее плюшевая шляпка, мериносовое платье, ботинки школьницы и красные руки? Вместе с красотой у нее появился вкус. Это была хорошо, с дорогой и изящной простотой и без всяких вычур одетая особа. На ней было платье из черного дама́, пелеринка из того же шелка и белая креповая шляпка. Белые перчатки обтягивали тонкие пальчики, которыми она вертела ручку зонтика из китайской слоновой кости, а шелковые полусапожки обрисовывали крошечную ножку. При приближении к ней чувствовался исходивший от всего ее туалета пьянящий аромат юности.

Что касается старика, то он совсем не изменился.

Когда Мариус проходил мимо нее вторично, девушка вскинула глаза. Они у нее были небесно-голубые и глубокие, но сквозь их подернутую поволокою лазурь еще сквозил взгляд ребенка. Она посмотрела на Мариуса так же равнодушно, как посмотрела бы на мальчугана, бегавшего под сикоморами, или на мраморную вазу, отбрасывающую тень на скамейку; Мариус продолжал прогулку, тоже размышляя о другом.

Он еще четыре-пять раз прошел мимо скамьи, на которой сидела девушка, ни разу даже не взглянув на нее.

В следующие дни Мариус по-прежнему приходил в Люксембургский сад, по-прежнему заставал там «отца и дочь», однако не обращал больше на них внимания. Он думал об этой девушке теперь, когда она стала красавицей, не больше, чем тогда, когда она была дурнушкой. Он проходил возле самой ее скамьи только потому, что это вошло у него в привычку.

#### Глава 3

#### Действие весны

Был теплый день; Люксембургский сад стоял залитый солнцем и тенью, небо было чисто, как будто ангелы вымыли его поутру; в густой листве каштанов чирикали воробьи. Мариус раскрыл всю душу природе, он ни о чем не думал, а только жил и дышал. Он шел мимо скамьи, девушка подняла на него глаза, их взоры встретились.

Что было на сей раз во взгляде девушки? На это Мариус не мог бы ответить. В нем не было ничего — и было все. Словно неожиданно сверкнула молния.

Девушка опустила глаза, а Мариус пошел дальше.

То, что он увидел, не было бесхитростным, наивным взглядом ребенка, то была таинственная бездна, едва приоткрывшаяся и тотчас снова замкнувшаяся.

У каждой девушки бывает день, когда она так глядит. Горе тому, кто тут случится!

Этот первый взгляд еще не осознавшей себя души подобен занимающейся в небе заре. Это возникновение чего-то лучезарного и неведомого. Нельзя передать всего губительного очарования этого мерцающего света, внезапно вспыхивающего в священном мраке и сочетающего в себе всю невинность нынешнего дня и всю страстность завтрашнего. Это как бы нечаянное пробуждение робкой и полной ожидания нежности. Это сети, которые втайне от самой себя расставляет невинность и в которые, сама того не желая и того не ведая, она ловит сердца. Это девственница со взглядом женщины.

Редко случается, чтобы подобный взгляд не породил глубокой мечтательности в том, на кого он упадет. Все целомудрие, вся непорочность заключены в этом небесном и роковом луче, обладающем в большей степени, чем самые кокетливые взгляды, той магической силой, под действием которой мгновенно распускается в глубинах души мрачный цветок, полный благоухания и яда, называемый любовью.

Вечером, вернувшись к себе в каморку, Мариус поглядел на свое платье и тут только впервые понял, что с его стороны было неслыханной неряшливостью, неприличием и глупостью ходить на прогулку в Люксембургский сад в костюме «для каждого дня», иными словами — в шляпе, продавленной у шнура, в грубых извозчичьих сапогах, в черных панталонах, блестевших на коленях, и в черном сюртуке, потертом на локтях.

#### Глава 4

#### Начало серьезной болезни

На другой день Мариус достал из шкафа свой новый сюртук, новые панталоны, новую шляпу и новые ботинки, облачился во все эти доспехи, натянул — небывалая роскошь — перчатки и в обычный час отправился в Люксембургский сад.

По дороге ему встретился Курфейрак, но он сделал вид, что не замечает его. Курфейрак, вернувшись домой, заявил товарищам: «Я только что встретил новую шляпу и новый сюртук Мариуса и самого Мариуса в придачу. Он, наверно, шел на экзамен. Вид у него был самый дурацкий».

Придя в Люксембургский сад, Мариус обошел вокруг бассейна, полюбовался на лебедей, а потом долго стоял, погрузившись в созерцание, перед статуей с потемневшей от плесени головой и с отбитым бедром. У бассейна какой-то сорокалетний буржуа с брюшком, держа за руку пятилетнего мальчика, поучал ребенка: «Избегай крайностей, сын мой. Держись подальше и от деспотизма, и от анархии». Мариус выслушал рассуждения буржуа, потом еще раз обошел вокруг бассейна. Наконец медленно, словно нехотя, направился в «свою аллею». Как будто что-то одновременно и толкало его туда, и не пускало. Сам он не отдавал себе в том отчета и полагал, что ведет себя как всегда.

Войдя в аллею, он увидел на другом ее конце, на «их скамейке», г-на Белого и девушку. Он наглухо застегнул сюртук, обдернул его, чтобы не морщился, не без удовольствия отметил шелковистый отлив своих панталон и двинулся на скамью. Он напоминал человека, идущего в атаку и, конечно, уповающего на победу. Итак, я сказал: «Он двинулся на скамью», как сказал бы: «Ганнибал двинулся на Рим».

Впрочем, все это делалось совершенно бессознательно, нисколько не нарушая ни обычного течения мыслей Мариуса, ни привычной их работы. В эту самую минуту он думал только о том, какой глупейшей книгой является «Руководство к получению степени бакалавра» и какими редкостными кретинами должны были быть ее составители, раз в ней в качестве высших образцов, созданных человеческим гением, приводятся целых три трагедии Расина и только одна комедия Мольера. В ушах у него стоял пронзительный звон. Приближаясь к скамейке и на ходу обдергивая сюртук, он в то же время не спускал глаз с девушки. Ему казалось, что вокруг нее, заполняя весь конец аллеи, разливается мерцающее голубое сияние.

Но, по мере того как он приближался к скамье, шаги его все замедлялись. На некотором расстоянии от нее, далеко еще не пройдя всей аллеи, он вдруг остановился и, сам не зная, как это случилось, повернул обратно. У него и в мыслях не было, что он не дойдет до конца. Едва ли девушка могла издали разглядеть его и увидеть, как он хорош в своем новом костюме. Тем не менее он старался держаться как можно прямее, чтобы иметь бравый вид на тот случай, если бы кому-нибудь из тех, что остались позади, вздумалось взглянуть на него.

Он достиг противоположного конца аллеи, затем снова вернулся и на этот раз обнаружил больше отваги. Ему удалось даже приблизиться к скамье настолько, что до нее осталось миновать всего три дерева, но тут он вдруг почувствовал, что почему-то не может идти дальше, и заколебался. Ему показалось, что девушка повернула головку в его сторону. И все же мужественным и настойчивым усилием воли он поборол нерешительность и двинулся вперед. Несколько секунд спустя он твердой походкой проследовал мимо скамейки, выпрямившись, красный до ушей, не смея взглянуть ни направо, ни налево и засунув руку за борт сюртука, словно какой-нибудь государственный муж. В ту минуту, когда он проходил под огнем противника, сердце его страшно заколотилось. На ней было то же платье из дама́ и та же креповая шляпка, что накануне. До него донесся чей-то дивный голос — наверное, «ее голос». Она что-то неторопливо рассказывала. Она была прехорошенькой. Он чувствовал это, хотя не пытался взглянуть на нее. «А она, конечно, прониклась бы ко мне уважением и почтением, — думал он, — если бы узнала, что не кто иной, как я, — подлинный автор рассуждения о Маркосе Обрегоне де ла Ронда, которое господин Франсуа де Нефшато выдал за свое и поместил в качестве предисловия к своему изданию «Жиль Блаза»!»

Миновав скамью, он прошел в конец аллеи, до которого было совсем недалеко, затем повернул обратно и еще раз прошел мимо красавицы. Но этот раз он был очень бледен. По правде говоря, он испытывал одни только неприятные ощущения. Теперь он удалялся от скамьи и от девушки, однако стоило ему очутиться к ней спиной, как он вообразил, что она смотрит на него, и начал спотыкаться.

Не пытаясь больше подойти к скамейке, он остановился посредине аллеи, затем, чего раньше никогда не делал, уселся и принялся посматривать все в ту же сторону, в глубине души думая, что вряд ли особа, чьей белой шляпкой и черным платьем он любовался, могла остаться совершенно нечувствительной к шелковистому отливу его панталон и новому сюртуку.

Через четверть часа он поднялся, как будто намереваясь снова направиться к лучезарной скамье. И вдруг застыл на месте. Впервые за пятнадцать месяцев ему пришло в голову, что, наверное, господин, ежедневно приходивший в сад, чтобы посидеть на скамейке вместе с дочерью, тоже обратил на него внимание и находит странным его постоянное присутствие здесь.

Впервые почувствовал он также, что как-то неудобно даже в мыслях называть незнакомца прозвищем г-н Белый.

Несколько минут стоял он так, опустив голову и рисуя на песке тростью, которую держал в руке.

Затем круто повернул в сторону, противоположную скамье, г-ну Белому и его дочери, и пошел домой.

В тот день Мариус забыл пообедать. Он вспомнил об этом только в восемь часов вечера, а так как идти на улицу Сен-Жак было уже слишком поздно, он сказал себе: «Не беда!» — и съел кусок хлеба.

Прежде чем лечь, он почистил и аккуратно сложил свое платье.

#### Глава 5

#### Громы небесные разражаются над головой мамаши Бурчуньи

На другой день мамаша Бурчунья — так прозвал Курфейрак старуху привратницу, главную жилицу и домоуправительницу лачуги Горбо; в действительности, как мы установили, ее звали г-жа Бюргон, но этот сорвиголова Курфейрак никого не желал признавать, — итак, мамаша Бурчунья с изумлением заметила, что г-н Мариус опять ушел из дома в новом костюме.

Он и на этот раз отправился в Люксембургский сад. Но дальше своей скамьи посередине аллеи не пошел. Усевшись здесь, как и накануне, он стал издали глядеть на белую шляпку, черное платье и голубое сияние, которое особенно хорошо различал. Он не двигался с места до тех пор, пока не стали запирать ворота сада. Он не заметил, как ушел г-н Белый с дочерью, и заключил отсюда, что они прошли через калитку, выходившую на Западную улицу. Позднее, несколько недель спустя, перебирая все в памяти, он никак не мог припомнить, где же он обедал в тот вечер.

На другой день, это был уже третий по счету, мамашу Бурчунью снова как громом поразило: Мариус опять ушел в новом костюме.

— Три дня подряд! — воскликнула она.

Она попробовала было пойти за ним, но Мариус шел быстро, гигантскими шагами; это было равносильно попытке гиппопотама нагнать серну. Не прошло и двух минут, как она потеряла Мариуса из виду и вернулась еле живая, чуть не задохшись от своей астмы, вне себя от злости. «Наряжаться каждый день в парадное платье и заставлять людей вот так бегать за собой! Ну есть ли во всем этом хоть капля ума?» — ворчала она.

А Мариус опять пошел в Люксембургский сад.

Девушка и г-н Белый были уже там. Делая вид, будто он читает книгу, Мариус подошел к ним насколько мог близко, но все же их разделяло еще довольно большое расстояние, когда он обратился вспять. Вернувшись на свою скамейку, он просидел на ней битых четыре часа, наблюдая за воробьями, которые прыгали по аллее и словно насмехались над ним.

Так прошло две недели. Мариус ходил теперь в Люксембургский сад не для прогулок, а просто чтобы сидеть, неизвестно зачем, на одном и том же месте. Усевшись, он уже не поднимался. Каждое утро он надевал свой новый костюм, хотя никому в нем не показывался, а на другой день начинал все сызнова.

Девушка была и в самом деле изумительно хороша. И если можно было в чем-нибудь упрекнуть ее внешность, то разве только в том, что контраст между грустным взглядом и веселой улыбкой придавал ее лицу что-то загадочное, и в иные минуты это нежное личико, оставаясь все таким же прелестным, вдруг приобретало странное выражение.

#### Глава 6

#### Взят в плен

Как-то в конце второй недели Мариус сидел по обыкновению на своей скамейке, с открытой книгой в руках, в течение двух часов не перевернув ни одной страницы. Вдруг он вздрогнул. В конце аллеи случилось необыкновенное происшествие. Г-н Белый и его дочь встали со своей скамейки, дочь взяла отца под руку, и оба медленно направились к середине аллеи, к тому месту, где находился Мариус. Он захлопнул книгу, затем снова ее раскрыл и попытался читать. Он весь дрожал. Лучезарное видение шло прямо на него. «О боже, — думал он, — мне никак не успеть принять надлежащую позу!» Между тем седовласый человек и девушка подходили все ближе. Мариусу то казалось, что это длится уже целую вечность, то мнилось, что не прошло и мгновения. «Зачем они пошли этой стороной? — задавал он себе вопрос. — Неужели она пройдет здесь? Ее ножки будут ступать по этому песку, по этой аллее, в двух шагах от меня?» Он совсем растерялся, ему хотелось в эту минуту быть красавцем, иметь крест на груди. Он слышал, как приближался негромкий, размеренный шум их шагов. Ему вообразилось, будто г-н Белый бросает на него сердитый взгляд. «А вдруг этот господин заговорит со мной?» — думал он. Он опустил голову; а когда поднял ее, они были совсем рядом. Девушка прошла мимо и, проходя, взглянула на него. Взглянула так пристально, задумчиво и ласково, что Мариус весь затрепетал. Ему почудилось, будто она укоряет его за то, что он так долго не собрался подойти к ней, и говорит: «Вот я и пришла сама». Мариус был ослеплен ее лучистым и бездонным взором.

Он чувствовал, что мозг его пылает. Она пришла к нему, какая радость! А как она взглянула на него! Никогда еще не казалась она ему столь прекрасной. Прекрасной — той совершенной красотой, одновременно женственной и ангельской, которая заставила бы Петрарку слагать песни, а Данте — преклонить колени. Мариус чувствовал себя на вершине блаженства. Вместе с тем он страшно досадовал на то, что у него запылились сапоги.

Он был уверен, что от ее взгляда не ускользнули и его сапоги.

Он не спускал с нее глаз, пока она не скрылась из виду, а потом, как безумный, принялся шагать по Люксембургскому саду. Не исключена возможность, что по временам он громко смеялся и разговаривал сам с собой. Он расхаживал с таким мечтательным видом среди гулявших с детьми нянюшек, что все они вообразили, будто он в них влюблен.

Затем он вышел из Люксембургского сада, надеясь встретить девушку где-нибудь на улице.

Под сводами Одеона он столкнулся с Курфейраком. «Пойдем со мной обедать», — предложил он. Они отправились вместе к Руссо и потратили шесть франков. Мариус ел за десятерых и дал шесть су гарсону. «А ты читал сегодня газету? — спросил он за десертом Курфейрака. — Какую превосходную речь произнес Одри де Пюираво!»

Он был безумно влюблен.

После обеда он предложил Курфейраку пойти в театр. «Плачу я», — заявил он. Они пошли в театр Порт-Сен-Мартен смотреть Фредерика в «Адретской гостинице». Мариус забавлялся от всей души.

А вместе с тем он стал еще застенчивее. При выходе из театра он не захотел взглянуть на подвязку модистки, перепрыгивавшей через канавку, а замечание Курфейрака: «Я был бы не прочь присоединить эту девицу к своей коллекции» — просто привело его в ужас.

На следующий день Курфейрак пригласил его завтракать в кафе «Вольтер». Мариус пришел и ел еще больше, чем накануне. Он был задумчив, но очень весел. Можно было подумать, что ему только и нужен повод, чтобы похохотать. Он нежно обнял какого-то провинциала, с которым его познакомили. Компания студентов окружила их столик. Разговор начался с рассказов о глупостях, произносимых за казенный счет с кафедры Сорбонны, а затем перешел к ошибкам и пропускам в словарях и просодиях Кишера́. Мариус неожиданно прервал эти рассуждения, воскликнув: «А все-таки очень приятно иметь орден!»

— Это уж совсем смешно! — шепнул Курфейрак Жану Пруверу.

— Нет! — возразил Жан Прувер. — Тут не до смеха.

И действительно, тут было не до смеха. Мариус переживал то бурное и полное очарования время, которым всегда отмечено начало большой страсти.

И все это сделал один только взгляд.

Когда мина заложена, когда все подготовлено к взрыву, — ничего нет проще. Взгляд — это искра.

Свершилось. Мариус полюбил. Неведомы стали пути его судьбы.

Женский взгляд напоминает некие машины с зубчатыми колесами, с виду безобидные, а на деле страшные. Вы можете спокойно, ничего не подозревая, изо дня в день безнаказанно проходить мимо них. Наступает минута, когда вы даже забываете, что они тут. Вы приходите, уходите, думаете, разговариваете, смеетесь. Вдруг вы чувствуете себя пойманным. Все кончено. Машина не пускает вас, взгляд вас схватил. Схватил ли он вас за кончик нечаянно обнаруженной мысли, попались ли вы по рассеянности, — как и почему это случилось — неважно. Но вы погибли. Вас втянет туда всего целиком. Вас сковывают таинственные силы. Сопротивление напрасно. Никакая человеческая помощь здесь невозможна. От колеса к колесу потащит вас вместе с вашими мыслями, вашим счастьем, вашей будущностью, вашей душой, через все муки, через все пытки, и, в зависимости от того, попадете ли вы во власть существа злобного или благородного, вы можете выйти из этой ужасной машины лишь обезображенный стыдом или преображенный любовью.

#### Глава 7

#### Приключение с буквой «У» и догадки относительно этой буквы

Одиночество, оторванность от жизни, гордость, независимость, любовь к природе, свобода от каждодневного труда ради хлеба насущного, самоуглубление, тайная борьба целомудрия, искренний восторг перед миром творений — все подготовило Мариуса к состоянию той одержимости, что именуется страстью. Обожание отца постепенно превратилось у него в религию и, как всякая религия, ушло в глубь души. Требовалось еще что-то, что заполнило бы все его сердце. И вот пришла любовь.

Целый месяц, изо дня в день, ходил Мариус в Люксембургский сад. Наступал назначенный час, и ничто уже не могло удержать его. «У него дежурство», — говорил Курфейрак. А Мариус упивался блаженством. Сомнения не было — девушка смотрела на него!

Мало-помалу он осмелел и стал подходить ближе к скамейке. Однако из инстинктивной робости и осторожности, свойственной всем влюбленным, он уже не решался теперь идти мимо нее. Он считал, что лучше не привлекать «внимания отца». С глубоким макиавеллизмом рассчитывал он, за какими деревьями и пьедесталами статуй надлежит ему располагаться, чтобы как можно больше быть на виду у девушки и как можно меньше у старого господина. Иногда он по получасу неподвижно простаивал в тени какого-нибудь Леонида или Спартака, с книгой в руке, и, незаметно подняв от книги глаза, искал ими лицо девушки. А та, с едва уловимой улыбкой, также поворачивала к нему свое очаровательное личико. Самым спокойным и непринужденным образом беседуя с седовласым спутником, она посылала Мариусу полный мечтаний девственный и страстный взгляд. Прием незапамятной древности, известный еще Еве с первого дня творения и каждой женщине — с первого дня рождения! Губы ее отвечали одному, а глаза — другому.

Надо все же думать, что г-н Белый стал что-то замечать, ибо часто при появлении Мариуса он поднимался и начинал прогуливаться по аллее. Он оставил свое привычное место и выбрал другую скамью, на противоположном конце аллеи, рядом с Гладиатором, как бы желая проверить, не последует ли Мариус за ними. Мариус ничего не понял и совершил эту ошибку. «Отец» стал неаккуратно посещать сад и не каждый день брал с собой «дочь» на прогулку. Иногда он приходил один. В таких случаях Мариус не оставался в саду — вторая ошибка.

Мариус не замечал всех этих тревожных симптомов. Пережив фазу робости, он вступил — процесс естественный и неизбежный — в фазу ослепления. Любовь его все возрастала. Каждую ночь он видел Ее во сне. К тому же на его долю выпало неожиданное счастье, которое, подлив масла в огонь, еще больше затуманило ему глаза. Однажды вечером, в сумерках, он нашел на скамейке, только что покинутой «господином Белым и его дочерью», носовой платок. Самый обыкновенный, без всякой вышивки, но очень белый и тонкий носовой платок, который распространял, как ему показалось, дивный аромат. Он с восторгом схватил платок. На нем стояла метка «У. Ф.». Мариус ровно ничего не знал о милой девочке — ни ее фамилии, ни имени, ни адреса. Эти две буквы были первое, что ему удалось узнать о ней; и на этих божественных инициалах он тотчас принялся строить целое сооружение догадок. «Буква У, — думал он, — должна обозначать имя. Наверное, Урсула! Какое восхитительное имя!» Он поцеловал платок, вдохнул его запах, весь день носил на груди, у самого сердца, а ночью приложил к губам, чтобы заснуть.

— Я чувствую в нем всю ее душу! — восклицал он.

А платок принадлежал старику, который просто-напросто выронил его из кармана.

В дни, последовавшие за находкой, Мариус стал появляться в Люксембургском саду не иначе, как целуя или прижимая к сердцу платок. Девушка ничего не понимала и едва заметными знаками старалась показать ему это.

— О стыдливость! — говорил себе Мариус.

#### Глава 8

#### Даже инвалиды могут быть счастливы

Если мы уже произнесли слова «стыдливость» и если не желаем здесь ничего таить, то нужно сказать, что, несмотря на все это упоение, Мариус однажды не на шутку разгневался на свою «Урсулу». Это случилось в один из тех дней, когда ей удалось уговорить г-на Белого покинуть скамью и пойти прогуляться по аллее. Дул сильный февральский ветер, колебавший верхушки платанов. Отец и дочь прошли под руку мимо скамьи Мариуса. Мариус тотчас же поднялся и стал пристально глядеть им вслед, как это и подобало человеку, потерявшему от любви рассудок.

Вдруг порыв ветра, более резвый, чем остальные, и которому, по всей вероятности, было поручено творить дела весны, налетел со стороны Питомника, пронесся по аллее и, закружив девушку в упоительном вихре, достойном нимф Вергилия и фавнов Теокрита, приподнял ее платье — это не менее священное, чем покрывало Изиды, платье — почти до самых подвязок. Открылась прелестная ножка. Мариус увидел ее. Он пришел в страшное раздражение и ярость.

Божественным движением, полным испуга, девушка тотчас оправила платье. Но он тем не менее продолжал возмущаться. Правда, он был один в аллее. «Но ведь там, — думал он, — мог быть и еще кто-нибудь. А если бы на самом деле там кто-нибудь был! Только вообразить себе нечто подобное! То, что она натворила, — просто ужасно!» Увы, бедное дитя ровно ничего не натворило. Во всем виноват был только ветер; но Мариус, в котором смутно зашевелился Бартоло, таящийся в Керубино, был полон негодования и ревновал к собственной тени. Вот так именно пробуждается в человеческом сердце и завладевает им, даже без всякого на то права, горькое и неизъяснимое чувство плотской ревности. Впрочем, независимо от ревности, лицезрение очаровательной ножки не доставило ему никакого удовольствия; вид белого чулка первой попавшейся женщины был бы ему приятнее.

Когда «его Урсула», дойдя до конца аллеи и повернув обратно, прошла в сопровождении г-на Белого мимо скамейки, на которой снова уселся Мариус, он бросил на девушку угрюмый и свирепый взгляд. А она в ответ слегка откинула голову и удивленно приподняла брови, как бы спрашивая: «Что такое, что случилось?»

Это была их «первая ссора».

Едва Мариус перестал устраивать ей сцену глазами, как кто-то показался на аллее. Это был сгорбленный, весь в морщинах, белый как лунь инвалид в мундире времен Людовика XV; на груди у него была небольшая овальная нашивка из красного сукна с перекрещивающимися мечами — солдатский орден Людовика Святого, сверх того герой был украшен болтавшимся пустым рукавом, серебряной нижней челюстью и деревяшкой вместо ноги. По мнению Мариуса, существо это имело в высшей степени самодовольный вид. Ему показалось даже, что старый циник, проковыляв мимо него, лукаво, по-приятельски подмигнул ему, словно неожиданный случай сделал их сообщниками и дал им возможность разделить какое-то непредвиденное удовольствие. С чего они так развеселились, эти Марсовы обломки? Что же такое произошло между этой деревянной ногой и той ножкой? Ревность Мариуса достигла высшего предела. «А вдруг он был здесь! А вдруг видел!» — повторял он себе. Ему хотелось уничтожить инвалида.

Но время притупляет остроту всяких чувств. Гнев Мариуса на «Урсулу», при всей своей справедливости и законности, миновал. В конце концов Мариус простил; но это стоило ему большого труда; он дулся на нее три дня.

Однако, несмотря на все это и благодаря всему этому, страсть его усиливалась и превращалась в безумие.

#### Глава 9

#### Затмение

Мы видели, как Мариус открыл — или же вообразил, что открыл, — будто «ее» зовут Урсулой.

Аппетит приходит с любовью. Знать, что имя ее Урсула, это, конечно, уже много; но вместе с тем и мало. Через три-четыре недели это счастье перестало утолять голод Мариуса. Ему захотелось иного. Ему захотелось узнать, где она живет.

Он допустил уже одну ошибку: не заметил ловушки со скамьей около Гладиатора. Он допустил и вторую: не оставался в Люксембургском саду, когда г-н Белый приходил туда один. Теперь он допустил третью, огромную ошибку: он решил проводить «Урсулу».

Она жила на Западной улице, в самой безлюдной ее части, в новом трехэтажном доме, скромном на вид.

С этой минуты к счастью Мариуса видеть ее в Люксембургском саду прибавилось счастье провожать ее до дома.

Но голод его все усиливался. Мариус знал, как ее зовут, во всяком случае, знал если не фамилию, то ее имя — прелестное, самое подобающее для женщины имя; он знал также, где она живет; теперь он желал знать, кто она.

Однажды вечером, проводив их до дома и едва дав им скрыться в воротах, он вошел следом за ними и решительным тоном спросил у привратника:

— Скажите, это вернулся жилец второго этажа?

— Нет, — ответил привратник, — это жилец третьего.

Еще один факт установлен. Успех окрылил Мариуса.

— Его квартира выходит на улицу?

— Ну конечно! Весь дом построен окнами на улицу, — объяснил привратник.

— А кто он такой, этот господин? — продолжал Мариус.

— Он рантье, сударь. Человек очень добрый и, хотя сам не богат, много помогает бедным.

— А как его фамилия? — задал новый вопрос Мариус.

Привратник поднял голову.

— Уж не сыщик ли вы будете, сударь? — спросил он.

Мариус ушел сконфуженный, но в полном восторге. Дела его шли на лад.

«Превосходно, — думал он. — Итак, я знаю, что ее зовут Урсулой, что она дочь рантье, что она живет в доме на Западной улице, на третьем этаже».

На другой день г-н Белый и его дочь лишь ненадолго появились в Люксембургском саду. Они ушли оттуда еще засветло. Мариус проводил их до Западной улицы, как это теперь вошло у него в привычку. Дойдя до ворот, г-н Белый пропустил дочь вперед, а сам, прежде чем переступить порог, обернулся и пристально взглянул на Мариуса.

На следующий день они не пришли в Люксембургский сад. Мариус напрасно прождал их целый день.

С наступлением темноты он отправился на Западную улицу и в окнах третьего этажа увидел свет. Он прогуливался под окнами, пока свет в них не погас. На следующий день в Люксембургском саду — никого. Мариус прождал до темноты, а потом пошел в свой ночной караул под окна. Это затянулось до десяти часов вечера. На обед он махнул рукой. Лихорадка питает больного, а любовь — влюбленного.

Так прошла неделя. Ни г-н Белый, ни его дочь больше не появлялись в Люксембургском саду. Мариус строил печальные предположения; днем он не решался караулить у ворот. Он довольствовался тем, что ходил по ночам глядеть на красноватый свет в окнах. Иногда за стеклами мелькали тени, и при виде их сердце его учащенно билось.

Когда он на восьмой день пришел под окна, огонь в них не горел. «Что бы это значило, — подумал он, — лампа еще не зажжена! А ведь совсем темно. Быть может, их нет дома!» Он ждал до десяти часов, до полуночи, до часу ночи. Свет в третьем этаже так и не зажигался, и никто не входил в дом. Мариус ушел крайне опечаленный.

На следующий день — ибо теперь он жил только ожиданием завтрашнего дня, а сегодняшний для него, так сказать, больше уже не существовал, — на следующий день он никого не нашел в Люксембургском саду; но это его уже не удивило. В сумерках он отправился к знакомому дому. Окна не были освещены; жалюзи были спущены; весь третий этаж был погружен во мрак. Мариус постучался и вошел в ворота.

— Дома ли господин, проживающий в третьем этаже? — спросил он привратника.

— Он съехал, — ответил тот.

Мариус пошатнулся и чуть слышно спросил:

— Когда?

— Вчера.

— А где он теперь живет?

— Не знаю.

— Разве он не оставил своего нового адреса?

— Нет.

И, задрав нос, привратник узнал Мариуса.

— Ах, это вы! — сказал он. — Стало быть, вы и впрямь шпион?

### Книга седьмая

### Петушиный час

#### Глава 1

#### Рудники и рудокопы

Во всяком человеческом обществе есть то, что в театре носит название третьего, или нижнего, трюма. Весь социальный грунт изрыт вдоль и поперек, иногда это во благо, иногда — во зло. Места подземных разработок располагаются одно под другим. Есть шахты мелкого и глубокого залегания. Есть верх и есть низ в этом мрачном подземелье, которое порою обрушивается под тяжестью цивилизации и которое мы с таким равнодушием и беспечностью попираем ногами. В прошлом веке «Энциклопедия» представляла собою почти открытую штольню. Толщи мрака, породившего мир первобытного христианства, только и ждали случая, чтобы разверзнуться при цезарях и затопить человеческий род ослепительным светом. Ибо в священной тьме таится скрытый свет. Кратеры вулканов полны мглой, готовой обратиться в пламя. Лава вначале всегда черна, как ночь. Катакомбы, где отслужили первую обедню, были не только пещерой Рима, но и подземельем мира.

Под зданием человеческого общества, под этим сочетанием архитектурных чудес и руин, существуют подземные пустоты. Там пролегают рудники религии, рудники философии, рудники политики, рудники экономики, рудники революции. Кто прорубает себе путь идеей, кто точным вычислением, кто гневом. Голоса окликают друг друга и переговариваются из одной катакомбы в другую. Утопии бредут боковыми ходами. Они разветвляются во все стороны. Иногда встречаются и братаются между собой.

Жан-Жак уступает кирку Диогену и взамен берет у него фонарь. Порою там происходят стычки. Кальвин хватает за волосы Содзини. Но ничто не задерживает и не прерывает напряженного стремления всех этих сил к цели, их бурной одновременной деятельности, — этого движения взад и вперед, вверх и вниз, происходящего во мраке и медленно преобразующего то, что наверху, тем, что внизу, и то, что извне, тем, что внутри; чудовищная, незримая суета. Общество едва ли подозревает о процессе бурения, которое, не оставляя следа на поверхности, разворачивает все его недра. Сколько подземных ярусов, столько же различных разработок, столько же видов ископаемых. Что же добывают в этих глубоких копях? Будущее.

Чем глубже рудники, тем таинственнее рудокопы. До известного уровня, поддающегося определению социальной философии, их труд полезен, за этим пределом его польза становится сомнительной и ее можно оспаривать; еще ниже он становится гибельным. На известной глубине в эти скрытые пустоты уже не проникает дух цивилизации; граница, где человек в состоянии дышать, перейдена; здесь начинается мир чудовищ.

Лестница спускается вниз причудливыми уступами, и каждая площадка соответствует новой ступени, где может обосноваться философия и где мы встречаем одного из ее тружеников, порою возвышенных духом, порою отвратительных. Ступенью ниже Яна Гуса находится Лютер; под Лютером Декарт; под Декартом Вольтер; под Вольтером Кондорсе; под Кондорсе Робеспьер; под Робеспьером Марат; под Маратом Бабеф. И так дальше. Еще ниже, на той грани, что отделяет неясное от невидимого, смутно вырисовываются другие туманные фигуры — быть может, еще не родившихся людей. Тени прошлого — это призраки; тени будущего — это личинки. Наш мысленный взор еще не ясно различает их. Эмбриональное развитие будущего — одно из видений философа.

Целый мир в завязи, в зачаточном состоянии — какие небывалые образы!

Сен-Симон, Оуэн, Фурье — они тоже там, в боковых ходах.

Хотя незримая чудесная цепь связует меж собою, неведомо для них, всех этих подземных разведчиков будущего, обычно считающих себя одиночками — что отнюдь неверно, — однако, без сомнения, труд их весьма различен, и мягкий свет, которым горят одни, составляет резкий контраст с пламенем, которым пылают другие. Есть среди них существа райски светлые, есть трагически мрачные. Впрочем, каково бы ни было это различие, у всех этих тружеников, от самого великого до самого ничтожного, от самого мудрого до самого безумного, есть одна общая черта, а именно — бескорыстие. Марат забывает о себе так же, как Иисус. Они пренебрегают собой, отстраняют себя, не думают о себе. Они видят что-то, лежащее вне их. Глаза их раскрыты, и эти глаза ищут истину. В очах у одного все сияние неба; и пусть загадочен взгляд другого, в глубине его все же мерцает отблеск бесконечности. Что бы он ни совершил, преклонитесь же перед тем, кто отмечен этим знаком — звездным взглядом.

Взгляд, полный мрака, — другой знак.

С него начинается зло. При встрече с тем, кто смотрит пустыми зрачками, призадумайтесь и трепещите. В системе общественного строя есть свои недобрые рудокопы.

Существует предел, за которым дальнейшее погружение превращается в погребение, там гаснет свет.

Под всеми перечисленными нами шахтами, под всеми этими подземными галереями, под всей этой необъятной кровеносной системой прогресса и утопии, гораздо глубже в земле, ниже Марата, ниже Бабефа, ниже, гораздо ниже и без всякого сообщения с верхними пластами, залегает последняя штольня. Ужасное место. Это и есть то, что мы назвали нижним трюмом. Это могильный мрак. Это подземелье слепых. Inferi[[43]](#footnote-43).

Дальше уже начинается бездна.

#### Глава 2

#### Самое дно

Здесь наступает конец бескорыстию. Здесь смутно вырисовывается лик сатаны; здесь каждый за себя. Безглазое «я» рычит, рыщет, ощупывает и гложет. Уголино общественного строя заточен в этой пропасти.

Свирепые существа, не то звери, не то призраки, бродят по этой пещере; их не интересует всемирный прогресс, им неведомо ни такое понятие, ни такое слово, их заботит только собственная утроба. Это почти неразумные твари, и внутри у них удручающая пустота. У них две матери — и обе им мачехи — невежество и нищета. У них есть поводырь — их потребности; а взамен всех стремлений — желание насытиться. Они зверски прожорливы, то есть кровожадны, — но это кровожадность не сорокопутов, а тигров. Страдания толкают этих вампиров на преступление; таково роковое следствие, потрясающий вывод, логика тьмы. Возня тех, которые ползают в нижнем трюме, это не протест угнетаемого духа; это бунт материи. Здесь человек обращается в дракона. Томиться голодом, томиться жаждой — вот отправная точка; стать Князем тьмы — вот конечный пункт. Из такого подполья выходят Ласнеры.

Недавно, в четвертой книге, читатель познакомился с одним из отделений верхнего рудника, с его огромными шахтами политики, революции и философии. Там, как мы уже сказали, все возвышенно, чисто, достойно, честно. Бесспорно, и там возможны ошибки, и они бывают; но даже самые заблуждения там благородны, ибо они таят в себе героизм. Всем производимым там работам есть общее имя: Прогресс.

Пришло время заглянуть в иные глубины, в глубины мерзости.

Мы утверждаем, что глубоко внизу под обществом существует и будет существовать, до тех пор пока не рассеется мрак невежества, великая пещера Зла.

Это подземелье залегает глубже других и враждебно всем другим. Здесь господствует одна беспощадная ненависть. Здесь не встретишь философа. Здесь нож никогда не оттачивал пера. Здесь чернота не походит на благородную черноту чернил. Преступным пальцам, которые судорожно сжимаются под этим душным сводом, никогда не случалось перелистать книгу или развернуть газету. В глазах Картуша Бабеф — эксплуататор; для Шиндерганнеса Марат — аристократ. У этой пещеры одна цель: разрушить все.

Все. В том числе и ненавистные ей верхние рудники. Мерзкой своей суетней она подрывает не только современный общественный строй: она подрывает философию, она подрывает науку, она подрывает право, она подрывает человеческую мысль, она подкапывается под цивилизацию, революцию, прогресс. Она зовется просто-напросто воровством, проституцией, преступлением, убийством. Это тьма, и она жаждет хаоса. Ее своды опираются на невежество.

У всех верхних ярусов одна лишь цель: уничтожить нижний. К этой цели всеми силами, всеми способами — и путем улучшения существующей действительности, и путем размышления над идеалом — стремятся философия и прогресс. Разрушьте нору Невежества, и вы уничтожите крота — Преступление.

Подведем краткий итог сказанному. Единственная социальная опасность — это Мрак.

Человечество — это тождество. Все люди сотворены из той же глины. У всех — по крайней мере здесь, на земле — одна судьба. Тот же мрак до рождения, та же бренная плоть при жизни, тот же прах после смерти. Но невежество, примешанное к человеческой глине, чернит ее. И эта невытравимая чернота проникает внутрь человека и становится там Злом.

#### Глава 3

#### Бабет, Шивоглот, Звенигрош и Монпарнас

С 1830 по 1835 год «нижним трюмом» Парижа правила четверка бандитов: Звенигрош, Живоглот, Бабет и Монпарнас.

Живоглот был Геркулесом подонков. Ему служила берлогой клоака Арш-Марион. При росте в шесть футов у него была каменная грудная клетка, железные бицепсы, дыхание — как ветер из ущелья, туловище великана и птичий череп. Казалось, перед вами Геркулес Фарнезский, напяливший тиковые штаны и плисовую блузу, Живоглот, напоминавший своим сложением эту скульптуру, мог бы укрощать чудовищ; он нашел, что гораздо проще стать одним из них. Низкий лоб, широкие скулы, меньше сорока лет от роду — и уже морщины у глаз, короткие жесткие волосы, заросшие щеки, не борода, а щетина, — вот он весь перед вами. Его мускулы томились по работе, а тупой мозг отказывался от нее. Это была могучая сила, пропадавшая втуне. Он стал убийцей от безделья. Его считали креолом. Возможно, что он был причастен к убийству маршала Брюна, так как в 1815 году служил носильщиком в Авиньоне. Имея за плечами такой опыт, он стал бандитом.

Легкий бесплотный Бабет представлял полную противоположность грузному Живоглоту. Бабет был тощ и умен. Прозрачен, но непроницаем. Тело его, можно сказать, просвечивало насквозь, но зрачки не выдавали мыслей. Он называл себя химиком. Ему доводилось выступать и балаганным зазывалой у Бобеша и клоуном у Бобино. В Сен-Мигиэле он подвизался в водевилях. Это был мастер на все руки, говорун, который умел придавать выразительность своим улыбкам и значительность жестам. Он промышлял тем, что торговал на площадях гипсовыми бюстами и портретами «главы государства», и еще тем, что рвал зубы. На своем веку ему случалось показывать разных уродов на ярмарках и быть владельцем фургона с оглушительной трубой и афишей, гласившей: «Бабет, виртуоз-зубодер, член ученых академий, производит физические опыты над металлами и металлоидами, также вырывает зубы, удаляет корни, оставленные его коллегами. Плата: один зуб — один франк пятьдесят сантимов; два зуба — два франка; три зуба — два франка пятьдесят. Пользуйтесь случаем!» (Это «пользуйтесь случаем» означало: спешите выдернуть как можно больше зубов.) Когда-то он был женат и народил детей. Но что сталось с его женой и детьми, он и понятия не имел. Он потерял их где-то, как теряют носовой платок. Редкое исключение в темном мире, его окружающем, — Бабет читал газеты. Как-то, еще в те времена, когда он кочевал с семьей в своем фургоне, ему попалась заметка в «Вестнике», что некая женщина произвела на свет вполне жизнеспособного младенца с телячьей мордой! «Вот кому счастье! — воскликнул он. — Что бы догадаться моей жене родить такого ребенка!»

Впоследствии он все это забросил, чтобы «взять в оборот Париж». Его собственное выражение.

Кто такой был Звенигрош? Сама ночь. Чтобы появиться, он ждал того часа, когда тьма зачернит небо. По вечерам он вылезал из какой-нибудь норы и снова прятался туда перед рассветом. Где находилась эта дыра? Никто не знал. Даже в полной темноте, разговаривая со своими сообщниками, он становился к ним спиной. Точно ли звали его Звенигрош? Нет. «Меня зовут Никак», — говорил он. Если при нем зажигали свечу, он надевал маску. Вдобавок он был чревовещателем. Бабет говаривал: «Звенигрош — это ночная птица о двух голосах». Звенигрош был загадочен, неуловим, страшен. Никто с уверенностью не сказал бы, есть ли у него настоящее имя — Звенигрош было только кличкой; есть ли у него голос — он чаще говорил животом, чем ртом; есть ли у него даже лицо — его никогда не видали иначе, как в маске. Он исчезал, словно растворяясь в воздухе; он появлялся, словно вырастая из-под земли.

Но поистине зловещую фигуру представлял собой Монпарнас. Монпарнас был совсем мальчик; ему не исполнилось и двадцати лет, у него было смазливое лицо, губы точно вишни, прекрасные черные волосы, сияние весны в глазах; он олицетворял собой все пороки и был способен на всякое преступление. Дурное, перевариваясь, пробуждало в нем аппетит к худшему. Он начал с гамена, вырос в уличного шалопая, а из последнего превратился в грабителя. Ремеслом этого миловидного юноши, женственного, грациозного, сильного, томного и жестокого, являлся грабеж с убийством. Шляпа его была заломлена слева по моде 1829 года, чтобы видна была взбитая прядь волос. Он носил редингот, хотя и не первой свежести, но великолепного покроя. Монпарнас был ходячей модной картинкой, но картинка эта не выходила из нищеты и занималась убийством. Единственной причиной, которая толкала этого молодчика на преступления, было желание наряжаться по моде. Первая же гризетка, бросившая ему: «Какой красавчик!», наложила печать проклятия на эту душу и обратила этого Авеля в Каина. Считая себя красивым, он пожелал стать щеголем. А первое требование щегольства — праздность; но праздность бедняка — путь к преступлению. Мало кто из разбойников наводил такой ужас, как Монпарнас. В восемнадцать лет у него на совести уже было несколько трупов. Немало прохожих лежало, раскинув руки, ничком в луже крови на темном пути этого негодяя. Завитой, напомаженный, с талией в рюмочку, неизменно сопровождаемый восхищенным шепотом бульварных девок, с искусно повязанным галстуком, с кастетом в кармане и цветком в петлице, — таков был этот модник подземного мира.

#### Глава 4

#### Состав шайки

Эти четверо бандитов представляли собой нечто вроде Протея, ускользающего от лап полиции и старающегося увернуться от нескромных взглядов Видока, «пламени, древа, воды принимая обличья», заимствуя один у другого прозвища и уловки, прячась в собственной тени, служа друг другу тайником и убежищем, освобождаясь от собственной своей личности так же легко, как от накладного носа в маскараде, то уменьшаясь до такой степени, что казались одним существом, то разрастаясь так, что даже сам Коко-Лакур принимал их за целую толпу.

Эту четверку нельзя было считать четырьмя людьми: то был таинственный разбойник о четырех головах, дерзко орудовавший в Париже, чудовищный полип зла, ютящийся в склепе, вырытом под зданием человеческого общества.

Пользуясь разветвленной сетью подземных связей, Бабет, Живоглот, Звенигрош и Монпарнас взяли подряд на все злодеяния в департаменте Сены. Они расправлялись с прохожими, вдруг, как из-под земли, появляясь перед ними. Изобретатели новшеств по этой части, люди, замышлявшие черное дело, обращались к ним для его осуществления. Достаточно было представить четырем негодяям план, а постановку они уже брали на себя. Они сами разрабатывали сценарий драмы. Для них не составляло труда подыскать необходимое число и подходящий состав исполнителей для любого покушения, если нужна была подмога, а дело являлось достаточно выгодным. Когда готовилось преступление, где не хватало рук, они поставляли сообщников. Они держали труппу актеров тьмы, годных на все роли для трагедий, сочиняемых в разбойничьих трущобах.

Они собирались обычно с наступлением ночи — час их пробуждения — на одном из пустырей, прилегавших к больнице Сальпетриер. Там они держали совет. В их распоряжении было двенадцать часов темноты, и они обсуждали, как лучше их употребить.

«Петушиный час» — под таким названием было известно в подземном мире деловое товарищество четверых. На старом красочном народном языке, который с каждым днем все более и более забывается, «петушиный час» означает время перед рассветом, так же как «час, когда впору волка за собаку принять», означает сумерки. Прозвище Петушиный час происходило, вероятно, от того часа, когда кончалась ночная работа бандитов, ибо с рассветом привидения исчезают, а грабители разбегаются. Всех четверых знали под этой кличкой. Как-то председатель суда присяжных посетил в тюрьме Ласнера и допрашивал его по поводу одного преступления, в котором тот не сознавался. «Кто же это сделал?» — спросил председатель. Ласнер дал следующий ответ, загадочный для судьи, но понятный всякому полицейскому: «Может быть, Петушиный час».

Содержание пьесы можно иногда угадать по списку действующих лиц; таким же образом можно составить довольно близкое представление о шайке по перечню бандитов. Вот на какие прозвища откликались главные участники банды Петушиный час — эти имена сохранились в специальных списках:

Крючок, он же Весенний, он же Гнус.

Брюжон (существовала целая династия Брюжонов, мы еще вернемся к ним).

Башка, шоссейный рабочий, он уже встречался в нашем рассказе.

Вдова.

Финистер.

Гомер Оно, негр.

Дай-срок.

Депеша.

Фаунтлероп, он же Цветочница.

Бахвал, отбывший срок каторжник.

Шлагбаум, он же господин Дюпон.

Южный вал.

Дроздище.

Карманьольщик.

Процентщик, он же Бизарро.

Кружевник.

Вверх-тормашки.

Пол-лиарда, он же Два миллиарда.

И т. д., и т. д.

Мы опускаем их, хотя они и не уступают перечисленным. У этих имен есть свое лицо. Они обозначают не отдельные личности, а типы. Каждое такое прозвище соответствует особой разновидности отвратительных лишаев, лепящихся в подземелье цивилизации.

Эти существа, неохотно показывающиеся в своем настоящем виде, были не из тех, кого встречаешь на улицах. С наступлением дня, усталые после кровавых ночных дел, они отсыпались то в ямах для обжига извести, то в заброшенных каменоломнях Монмартра или Монружа, а то и в сточных трубах. Они зарывались в землю.

Что сталось с этими людьми? Они существуют и посейчас. Они существовали всегда. Еще Гораций говорит о них. Ambubaiarum collegia, pharmacopolae, mendici, mimae»[[44]](#footnote-44). И пока общество будет таким, каково оно теперь, они останутся такими, каковы они теперь. Они непрестанно возрождаются под мрачными сводами своего подвала из просачивающихся туда социальных нечистот. Они возвращаются, эти привидения, всегда одни и те же, только под новыми именами и в новой коже.

Пусть особи истребляются — род остается.

Им неизменно присущи одни и те же свойства. От нищего до разбойника, они блюдут чистоту породы. Они нюхом угадывают кошельки в карманах и чуют часы в жилетах. Они различают запах золота и серебра. Бывают прохожие настолько простоватого вида, что, кажется, грех было бы их не ограбить. Таких прохожих они терпеливо выслеживают. При встрече с иностранцем или провинциалом они вздрагивают, точно пауки.

Всякому, кто набредет на них или увидит мельком в глухую полночь на пустынном бульваре, эти люди внушают страх. Они кажутся не людьми, но ожившим туманом, принявшим человеческие формы; можно подумать, что они составляют одно целое с ночью, неотделимы от нее, не имеют иной души, чем душа тьмы, и что лишь на миг, ради нескольких минут своей ужасной жизни они оторвались от мрака.

Что же нужно, чтобы заставить этих оборотней исчезнуть? Свет. Потоки света. Ни одна летучая мышь не выносит лучей зари. Залейте же светом общественное подземелье.

### Книга восьмая

### Коварный бедняк

#### Глава 1

#### Мариус, разыскивая девушку в шляпке, встречает мужчину в фуражке

Прошло лето, за ним осень; наступила зима. Ни г-н Белый, ни молодая девушка больше ни разу не показывались в Люксембургском саду. Теперь Мариус был поглощен одной только мыслью — как бы снова увидеть нежное, обожаемое личико. Он все искал, искал повсюду, но никого не находил. Это был уже не прежний восторженный мечтатель Мариус, не тот решительный, пламенный и непреклонный человек, который смело бросал вызов судьбе, не ум, что строил планы за планами, не юная голова, полная замыслов, проектов, гордых мыслей, идей, желаний: он уподобился псу, потерявшему хозяина. Им овладела беспросветная печаль. Все было кончено; работа ему опротивела, прогулки утомляли, одиночество наскучило; необъятная природа, раньше полная форм, красок, звуков, мудрых советов и наставлений, манящих далей и просторов, теперь опустела для него. Ему казалось, что все исчезло.

Он по-прежнему предавался размышлениям, потому что это уже вошло у него в привычку; но размышления больше не доставляли ему радости. На все, что неустанно нашептывали ему мысли, он мрачно отвечал: «К чему?»

Он осыпал себя сотнями упреков. «Зачем вздумалось мне провожать ее? Я был так счастлив уже тем, что видел ее! Она глядела на меня; разве это не величайшее блаженство? Она, казалось, любила меня. Разве это не предел желаний? Чего же мне еще хотелось? Ведь большего и быть не могло. Я поступил нелепо. Это моя вина...» и т. д. Курфейрак, которого Мариус по свойству своего характера ни во что не посвящал, но который — что уже являлось свойством его, Курфейрака, характера — кое о чем догадывался, вначале похваливал друга за то, что тот влюбился, изумляясь, впрочем, этому обстоятельству. Однако, видя, в какую черную меланхолию впадает Мариус, он в конце концов заявил: «Все ясно, ты вел себя, как безмозглое животное. Давай-ка сходим в Шомьер».

Как-то раз, доверившись солнечному сентябрьскому дню, Мариус позволил Курфейраку, Боссюэ и Грантэру повести себя на бал в Со, надеясь — придет же такая фантазия! — что может встретить Ее там. Само собой разумеется, что он не нашел там той, кого искал. «А где же, как не здесь, находят потерянных женщин?» — бурчал себе под нос Грантэр. Мариус оставил друзей на балу и один пешком отправился домой, усталый, разгоряченный. Оглушая грохотом и осыпая пылью, обгоняли его шумные «кукушки», набитые публикой, которая, весело распевая, возвращалась с праздника, а он шел в глубоком унынии, всматриваясь беспокойным печальным взглядом в ночь и жадно вдыхая, чтобы освежиться, терпкий запах придорожного орешника.

Мариус снова стал жить одинокой и все более замкнутой жизнью. Растерянный, удрученный, весь отдавшись сердечной муке, он метался, охваченный горем, как волк, попавший в капкан, и, отупев от любви, всюду искал ту, что исчезла.

В другой раз у Мариуса произошла встреча, которая произвела на него странное впечатление. В одной из улочек, прилегающих к бульвару Инвалидов, он столкнулся с мужчиной в одежде рабочего и в фуражке с длинным козырьком, из-под которой выбивались белоснежные пряди волос. Мариуса поразила красота этих седин, и он внимательно оглядел прохожего; тот шел медленно, словно погрузившись в тяжелое раздумье. Как ни странно, ему показалось, что перед ним г-н Белый. Те же волосы, тот же профиль, насколько его можно было разглядеть из-под фуражки, та же походка, только еще более усталая. Но к чему этот рабочий наряд? Что бы все это означало? Каков смысл этого переодевания? Мариус был крайне удивлен. Когда же он опомнился, его первым побуждением было пойти за неизвестным: как знать, не напал ли он наконец на верный след? Во всяком случае, надо посмотреть на этого человека вблизи и разрешить загадку. Но мысль эта пришла ему в голову слишком поздно — человека уже не было. Он свернул в одну из боковых улочек, и Мариус не мог его найти. Эта встреча занимала Мариуса несколько дней, затем изгладилась из памяти. «По всей вероятности, — говорил он себе, — это простое сходство».

#### Глава 2

#### Находка

Мариус по-прежнему жил в лачуге Горбо. Никто не привлекал там его внимания.

Правда, к тому времени в лачуге не оставалось других жильцов, кроме него да тех самых Жондретов, за которых он как-то внес квартирную плату, ни разу, впрочем, не удосужившись поговорить ни с отцом, ни с матерью, ни с дочерьми. Остальные обитатели дома или выехали, или умерли, или были выселены за неплатеж.

Однажды, той же зимой, солнце выглянуло на минутку после полудня, и случилось это 2 февраля, в самое сретенье, коварное солнце которого, предвестник шестинедельных холодов, вдохновило Матье Ленсберга на следующее двустишие, ставшее прямо классическим:

Пусть светит солнце, пусть сияет, —

Медведь в берлогу уползает.

А Мариус только что выполз из своей берлоги. Смеркалось. Пора было идти обедать, ибо — увы, таково несовершенство самой идеальной любви! — пришлось опять начать обедать.

Он вышел из своей комнаты, у самого порога которой мамаша Бурчунья в эту минуту мела пол, произнося одновременно нижеследующий знаменательный монолог:

— Что нынче дешево? Все дорого. Дешево одно только горе. Вот его, горе-то, купишь прямо задаром!

Мариус медленно поднимался вверх по бульвару к заставе, направляясь на улицу Сен-Жак. Он шел задумавшись, понурив голову.

Вдруг он почувствовал, что кто-то толкнул его в полутьме. Он обернулся и увидел двух девушек в лохмотьях — одну высокую и худую, другую поменьше, которые, тяжело дыша, пронеслись мимо, словно от кого-то спасаясь в испуге: девушки бежали ему навстречу и, поравнявшись с ним, не заметив, задели. Несмотря на полумрак, Мариус разглядел их иссиня-бледные лица, распущенные, растрепанные волосы, уродливые чепчики, изорванные юбки, босые ноги. На бегу они разговаривали между собою. Та, что была выше ростом, приглушенным голосом рассказывала:

— Легавые пришли. Меня чуть было не зацапали.

— Я их заметила, — сказала другая. — И как припущу! Как припущу!

Из этого зловещего жаргона Мариус понял, что жандармы или полицейские едва не задержали обеих девочек и что девочкам удалось убежать.

Они скрылись под деревьями бульвара, позади Мариуса, где их фигуры, мелькнув белым пятном, через мгновение исчезли.

Мариус на минуту остановился.

Не успел он двинуться дальше, как заметил на земле у своих ног маленький пакет сероватого цвета. Он нагнулся и поднял его. Это было что-то вроде конверта, содержавшего, по-видимому, какие-то бумаги.

«Верно, этот сверток обронили те несчастные создания», — подумал Мариус.

Он вернулся, стал звать их, но никто не откликнулся; решив, что они уже далеко, он положил пакет в карман и пошел обедать.

По дороге, в узком проходе на улице Муфтар, он увидел детский гробик под черным покрывалом, поставленный на три стула и освещенный свечой. Ему вспомнились две девушки, выросшие перед ним из полумрака.

«Бедные матери! — подумал он. — Есть нечто еще более печальное, нежели видеть смерть своих детей: это видеть их на дурном пути».

Потом эти тени, нарушившие однообразие его грустных мыслей, выскользнули у него из памяти, и он снова погрузился в привычную тоску. Он вновь предался воспоминаниям о шести месяцах любви и счастья, на вольном воздухе, под ярким солнцем, под чудесными деревьями Люксембургского сада.

— Как мрачна стала моя жизнь, — говорил он себе. — Девушки и теперь встречаются на моем пути, но только прежде это были ангелы, а теперь ведьмы.

#### Глава 3

#### Четырехликий

Вечером, раздеваясь перед сном, Мариус нащупал в кармане сюртука поднятый на бульваре пакет. Он совсем позабыл о нем. Он решил, что его следует вскрыть, — возможно, в нем окажется адрес девушек, если пакет действительно принадлежал им, и, уж во всяком случае, найдутся необходимые указания для возвращения этого свертка лицу, его потерявшему.

Мариус развернул конверт.

Он не был запечатан и содержал четыре письма, которые также не были запечатаны.

На письмах были проставлены адреса.

От всех четырех разило запахом скверного табака.

Первое письмо было адресовано: «Милостивой государыне госпоже маркизе де Грюшере на площади супротив палаты депутатов в доме №...»

Мариус подумал, что в письме могут встретиться нужные ему сведения, а поскольку оно не заклеено, не будет предосудительным и прочесть его. Оно содержало следующее:

*«Милостивая государыня, маркиза!*

*Добрадетель милосердия и сострадания есть та добрадетель, которая крепче всякой иной спаивает общество. Исполнитесь христианского чувства и бросьте соболезный взгляд на горемычного испанца, жертву преданности и приверженности священному делу лигитимизма, за которое он заплатил своей кровью, отдал свое состояние и все прочее, чтобы защитить это дело, и теперь находится в страшной бедности. Он не сомневается, что Ваша милость не откажет ему в помощи и пожелает облегчить существование, крайни тягостное для образованного, благородного и покрытого множеством ран военного. Заранее рассчитываю на воодушевляющие Вас человеколюбие, равно как и на сочувствие, которое госпожа маркиза питает к столь нещасной нации. Наша просьба не останется щетной и наша признательность сохранит о ней самое приятное воспоминание.*

*Примите уверение в искреннем почтении, с которым имею честь быть,*

*Милостивая государыня,*

Дон Альварес,

испанский капитан кабалерии, роялист, нашедший убежище во Франции, а в настоящее время возвращающейся на родину, но не имеющей средств продолжать путь».

Подпись не сопровождалась адресом. Мариус, надеясь найти адрес, взялся за второе письмо, на конверте которого стояло: «Милостивой государыне госпоже графине де Монверне, улица Касет, дом № 9».

Вот что прочел Мариус в этом письме:

*«Милостивая государыня, графиня!*

*К Вам обращается нещасная мать семейства, мать шестерых детей, из коих младшему едва исполнилось восемь месяцев. С последних родов я все болею. Муж уже пять месяцев как бросил меня. Не имею никаких средств к жизни, нахожусь в ужастной нищите.*

*Уповая на Ваше Сиятельство, остаюсь, милостивая государыня, с глубоким почтением*

тетушка Бализар».

Мариус перешел к третьему письму; как и предыдущие, оно являлось просительным, и в нем можно было прочесть следующее:

*«Г-ну Пабуржо, избирателю, владельцу оптовой торговли вязаными изделиями, что на углу улицы Сен-Дени и О-Фер.*

*Беру на себя смелость обратиться к Вам с настоящим письмом, с целью просить Вас ощасливить меня драгоценным своим расположением и с целью заинтересовать Вас судьбою литиратора, который недавно направил драму в театр-комедии. Сюжет ее исторический, а место действия — Овернь в эпоху Империи. Слог прост, локаничен и, мне думается, не лишен некоторых достоинств. В четырех местах в ней даются куплеты для пения. Комическое, серьезное и неожиданное сочитаится в ней с разнообразием характеров и с легким романтическим налетом, окрашивающим всю интригу, которая, проделав запутанный путь развития, после ряда потрясающих перепитий и блестящих неожиданных сцен приводит к развязке.*

*Главной моей задачей является угадить все возрастающим требованиям современного человека, иными словами, угадить моде, этому капризному, причудливому флюгеру, который меняит положение при каждом дуновении ветра.*

*Несмотря на все эти достоинства, я имею основание опасаться, что вследствии зависти и себелюбия привилигированных авторов я окажусь отстраненным от театра, ибо мне ведомо, сколько огорчений выпадает на долю новичка.*

*Ваша заслуженная репутация просвещенного покровителя литираторов, г-н Пабуржо, внушаит мне решимость послать к вам свою дочь, которая опишет Вам наше бедствинное положение, без куска хлеба и без топлива среди зимы. Обращаясь к Вам с покорнейшей просьбой разрешить мне посвятить Вам как настоящую драму, так и все будущие свои произведения, я хочу показать этим, сколь дорога мне честь находится под Вашим покровительством и украшать свои сочинения Вашим именем. Если Вы соблаговолите почтить меня хотя бы самым скромным подношением, я тотчас примусь за сочинение стихатварения, дабы заплатить Вам дань своей признательности. Я постараюсь довести это стихатварение до наивозможного совершенства и пошлю его Вам еще до того, как оно появится напечатанным впереди драмы и будет произнесено со сцены.*

*Мое нижайшее почтение господину и госпоже Пабуржо.*

Жанфло, литиратор.

*Р. S. Хотя бы 40 су.*

*Извините, что посылаю дочь, а не являюсь лично, но печальное состояние туалета, увы, не позволяет мне выходить...»*

Наконец Мариус открыл четвертое письмо. Адрес его гласил: «Господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Оно содержало следующие немногие строки:

*«Благодетель!*

*Если Вам угодно последовать за моей дочерью, Вы увидите картину бедствинного положения, а я представлю Вам свои документы.*

*При ознакомлении с этими бумагами Ваше благородное сердце исполнится чувства горячей симпатии, ибо всякому истиному философу ведомы сильные душевные движения.*

*Вы человек сострадательный, Вы поймете, что только самая жестокая нужда и необходимость хоть немного облигчить ее могут заставить, как это ни мучительно, обращатся за подтверждением своей бедности к властям, словно нам не дозволено без этого страдать и умирать от истощения в ожидании, пока придет помощь. Судьба столь же немилослива к одним, сколь щедра и благосклонна к другим.*

*В ожидании Вашего посещения или вспомощиствования, если Вам угодно будет оказать таковые, покорнейше прошу принять уверение в глубоком почтении, с каким имею честь быть Вашим,*

*муж доподлинно великадушный, нижайшим и покорнейшим слугой*

П. Фабанту, драматический актер».

Прочитав эти четыре письма, Мариус ничуть не меньше прежнего оставался в неведении.

Во-первых, ни один из подписавшихся не указал своего адреса.

Далее, все письма исходили как будто от четырех различных лиц — дона Альвареса, тетушки Бализар, поэта Жанфло и драматического актера Фабанту, а вместе с тем, как ни странно, все четыре были написаны одним и тем же почерком.

Какое же иное заключение напрашивалось отсюда, как не то, что все они исходят от одного лица?

В довершение — и это делало догадку еще более вероятной — все четыре были написаны на одинаковой грубой, пожелтевшей бумаге, от всех шел одинаковый табачный дух, и, несмотря на явные потуги разнообразить слог, во всех с безмятежным спокойствием повторялись одинаковые орфографические ошибки, и литератор Жанфло грешил ими ничуть не менее испанского капитана.

Трудиться над разгадкой этой тайны было бесполезно. Не окажись указанные письма неожиданной находкой, все это можно было бы принять за мистификацию. Мариус был в слишком печальном настроении, чтобы откликнуться даже на случайную шутку и принять участие в игре, которую, как видно, хотела затеять с ним мостовая. Ему казалось, что у него завязаны глаза, а эти четыре письма играют с ним в жмурки и дразнят его.

Впрочем, ничто не указывало на то, что письма принадлежали девушкам, встреченным Мариусом на бульваре. Скорее всего, это были просто какие-то ненужные бумаги.

Мариус вложил их обратно в конверт, бросил пакет в угол и лег спать.

Около семи часов утра, не успел он подняться, позавтракать и приняться за работу, как кто-то тихонько постучал к нему в дверь.

Он не имел никакого ценного имущества и лишь в очень редких случаях, когда у него бывала спешная работа, запирался на ключ. Больше того, даже уходя из дому, он оставлял ключ в замке. «Вас непременно обкрадут», — говорила мамаша Бурчунья. «А что у меня красть?» — отвечал Мариус. Тем не менее в один прекрасный день, к величайшему торжеству мамаши Бурчуньи, у него все же украли пару старых сапог.

В дверь снова постучали и опять так же тихо, как в первый раз.

— Войдите, — сказал Мариус.

Дверь отворилась.

— Что вам угодно, мамаша Бурчунья? — спросил Мариус, не отрывая глаз от книг и рукописей, лежавших перед ним на столе.

— Извините, сударь, — ответил чей-то незнакомый голос, но не голос мамаши Бурчуньи.

Это был глухой, надтреснутый, сдавленный, хриплый голос старого пьяницы, осипшего от спиртных напитков.

Мариус быстро обернулся и увидел девушку.

#### Глава 4

#### Роза в нищете

В полуотворенной двери стояла еще совсем юная девушка. Находившееся напротив двери окно каморки, за которым брезжил день, освещало ее фигуру беловатым светом. Это было худое, изможденное, жалкое создание, в одной рубашке и юбке прямо на голом теле, озябшем и дрожащем от холода, с бечевкой вместо пояса и с бечевкой в волосах. Острые плечи, резко выступавшие из-под рубашки, бледное, без признака румянца лицо, ключицы землистого цвета, красные руки, приоткрытый рот с бескровными губами, в котором уже не хватало зубов, тусклые, но дерзкие и хитрые глаза, сложение несформировавшейся девушки и взгляд развратной старухи: сочетание пятидесяти и пятнадцати лет. Словом, это было одно из тех слабых и вместе с тем страшных существ, вид которых если не внушает вам ужас, то вызывает слезы.

Мариус встал и, как остолбенелый, смотрел на это существо, напоминавшее смутные образы, возникающие во сне.

Особенно тяжелое впечатление производило то, что от природы девушка вовсе не была уродливой. В раннем детстве она, наверное, была даже хорошенькой. Привлекательность юности еще и теперь боролась в ней с отвратительной преждевременной старостью, следствием разврата и нужды. Отблеск красоты угасал на этом шестнадцатилетнем лице, как на заре зимнего дня гаснет бледное солнце, обволакиваемое черными тучами.

Нельзя сказать, чтобы лицо ее было совсем незнакомо Мариусу. Ему казалось, что он где-то уже видел его.

— Что вам угодно, сударыня? — спросил он девушку.

— У меня письмо для вас, господин Мариус, — ответила она тем же голосом пьяного каторжника.

Она назвала Мариуса по имени; у него не оставалось, таким образом, сомнения, что именно он и был ей нужен. Но кто же эта девушка? Откуда она знает, как его зовут?

Не дожидаясь приглашения, она вошла в комнату. Вошла решительно и с какой-то развязностью, от которой сжималось сердце, принялась все разглядывать в комнате, даже неубранную постель. Гостья была босая. Сквозь большие дыры в юбке виднелись ее длинные ноги с худыми коленями. Ее всю трясло от стужи.

В руке она и на самом деле держала письмо, которое протянула Мариусу.

Открывая письмо, Мариус заметил, что огромная, широкая облатка на конверте еще не высохла. Следовательно, послание не могло прийти издалека. Вот что он прочитал:

«Молодой человек, любезный мой сосед! Я узнал о вашей ко мне доброте, что полгода тому назад вы заплатили мой квартирный долг. Благословляю вас за это, молодой человек. Моя старшая дочь расскажет вам, что вот уже два дня как мы все четверо сидим без куска хлеба, а жена моя больна. Я думаю, что не заблуждаюсь, льстя себя надеждой, что ваше великадушное сердце разжалобится вследствии этого и внушит вам желание прийти мне на помощь и уделить малую толику от щидрот своих.

Остаюсь с искренним почтением, с каким и надлежит быть к благодетелям рода человеческого.

*Жондрет.*

Р. S. Моя дочь будет ждать ваших распоряжений, дорогой г-н Мариус».

Письмо это сыграло в отношении загадочного случая, занимавшего Мариуса со вчерашнего вечера, роль свечи, зажженной в темном подвале. Все сразу прояснилось.

Письмо было одного происхождения с остальными четырьмя. Тот же почерк, тот же слог, то же правописание, та же бумага, тот же табачный запах.

Здесь имелось пять посланий, пять повествований, пять имен, пять подписей — и один отправитель. У испанского капитана дона Альвареса, у несчастной матери семейства Бализар, у драматического поэта Жанфло, у бывшего актера Фабанту — у всех четырех было одно имя: Жондрет, если только сам Жондрет действительно назывался Жондретом.

Мариус уже довольно давно жил в лачуге Горбо, но, как было сказано выше, ему очень редко случалось видеть даже мельком своих весьма жалких соседей. Его мысли были далеко, а где наши мысли — там и глаза. Вероятно, он не раз встречался с Жондретами в коридоре и на лестнице, но для него это были только тени. Он так мало уделял им внимания, что, столкнувшись накануне вечером на бульваре с дочерьми Жондрета — а это, несомненно, были они, — он не узнал их, и вошедшая девушка лишь с большим трудом пробудила в Мариусе вместе с жалостью и отвращением смутное воспоминание о том, что ему доводилось видеть ее и раньше.

Теперь все нашло свое объяснение. Мариус понял, что его сосед Жондрет, дойдя до крайней нищеты, стал злоупотреблять милосердием добрых людей, превратился в профессионала-попрошайку и, раздобывая адреса, под вымышленными именами писал письма различным лицам, которых считал богатыми и отзывчивыми, а его дочери разносили эти письма на свой страх и риск, ибо отец не останавливался перед тем, чтобы рисковать дочерьми. Он затеял игру с судьбой и ввел их в эту игру. По тому, как они убегали накануне, по их испугу, по прерывистому дыханию, по долетевшим до него словам воровского жаргона Мариус догадывался, что несчастные промышляли, видимо, еще каким-то темным ремеслом. Он понимал, что все эти обстоятельства при современном состоянии человеческого общества не могли не привести к появлению в нем двух отверженных существ — ни девочек, ни девушек, ни женщин, — двух порожденных нищетой уродов, порочных и невинных одновременно.

То были жалкие создания, без имени, без возраста, без пола, одинаково равнодушные и к добру, и к злу, едва вышедшие из колыбели и уже утратившие все на свете: свободу, добродетель, чувство долга. Души, вчера распустившиеся, а сегодня поблекшие, подобны цветам, упавшим на мостовую и вянущим в грязи, пока их не раздавят колеса.

Между тем как Мариус стоял, устремив на девушку изумленный и печальный взгляд, та с бесцеремонностью привидения разгуливала по его мансарде. Движения девушки были порывисты, она нисколько не стеснялась своей наготы. Ее незавязанная у ворота разорванная рубашка то и дело спускалась чуть ли не до пояса. Она передвигала стулья, беспорядочно переставляла на комоде туалетные принадлежности, трогала одежду Мариуса, шарила по всем углам.

— Смотри-ка, да тут зеркало! — вдруг воскликнула она.

И стала напевать, словно была одна в комнате, игривые куплеты и отрывки из водевилей; исполняемые ее гортанным, хриплым голосом, они звучали заунывно. Но за всей этой наглостью ощущалась какая-то натянутость, беспокойство, робость. Бесстыдство порой скрывает стыд.

Трудно представить себе более грустное зрелище, чем эта резвящаяся и порхающая по комнате девушка, которая своими движениями приводила на память птицу, спугнутую дневным светом, или птицу с подбитым крылом. Чувствовалось, что при ином воспитании и иных условиях ее живая, непринужденная манера обращения не была бы лишена некоторой приятности и привлекательности. В мире животных существо, рожденное голубкой, никогда не превращается в орлана. Это можно наблюдать только среди людей.

Мариус, отдавшись своим мыслям, не мешал ей.

Она подошла к столу.

— Ах, книги! — сказала она.

В тусклых глазах ее блеснул огонек.

— Я тоже умею читать, — добавила она. И в тоне ее слышалась радость, что у нее тоже есть чем похвалиться, — стремление, не чуждое ни одному человеческому существу.

Она торопливо схватила со стола раскрытую книгу и довольно бегло прочла:

— «...Генерал Бодюэн получил приказ занять с пятью батальонами своей бригады замок Гугомон, расположенный посреди равнины Ватерлоо...»

Она остановилась.

— А, Ватерлоо! Это мне знакомо. Было такое сражение когда-то давно-давно. Отец в нем участвовал. Отец служил в императорской армии. Мы все отчаянные бонапартисты, знай наших! Ватерлоо — там дрались с англичанами.

Она положила книгу и, взяв перо, воскликнула:

— И писать я тоже умею!

Затем обмакнула перо в чернила и, обернувшись к Мариусу, спросила:

— Хотите взглянуть? Я напишу что-нибудь.

И прежде чем он успел ответить, она написала на лежавшем посреди стола чистом листе бумаги: «Легавые пришли».

— Ошибок нет, — бросив перо, заявила она. — Можете проверить. Нас с сестрой учили. Мы не всегда были такими, как сейчас. Нас не к тому готовили, чтобы...

Она умолкла, остановила угасший взгляд на Мариусе и, расхохотавшись, произнесла тоном, в котором слышалась заглушенная цинизмом скорбь:

— Э-эх!

И тотчас принялась напевать на мотив веселой песенки:

Голодно, папаша,

В доме хлеба нету.

Холодно, мамаша,

Мы совсем раздеты.

Дрожи,

Нанетта,

Рыдай,

Жанетта!

Едва закончив куплет, она снова заговорила:

— Вы ходите когда-нибудь в театр, господин Мариус? А я хожу. У меня есть братишка, он дружит с актерами и, случается, приносит мне билеты. Только я не люблю мест на галерее, там тесно, неудобно. Туда ходит простая публика, а иной раз и такая, от которой плохо пахнет.

Затем она пристально, с каким-то странным выражением взглянула на Мариуса и сказала:

— А знаете, господин Мариус, вы настоящий красавчик!

И в ту же минуту у обоих мелькнула одна и та же мысль, заставившая его вспыхнуть, а ее улыбнуться.

Она подошла и положила ему руку на плечо.

— Вы не обращаете на меня никакого внимания, — продолжала она, — а ведь я вас знаю, господин Мариус. Я встречала вас здесь на лестнице, потом, когда гуляла близ деревни Аустерлиц, несколько раз видела, как вы заходили к какому-то старику по имени Мабеф, что живет там. А растрепанные волосы вам очень идут.

Она старалась придать своему голосу самое нежное выражение, но ничего, кроме шепота, у нее не получалось. Часть слов пропадала на пути между гортанью и губами, как звуки на клавиатуре, где не хватает клавиш.

Мариус тихонько отодвинулся.

— У меня тут пакет, — сказал он обычным своим холодным тоном. — Я полагаю, что он принадлежит вам, барышня. Разрешите вернуть его.

И он протянул ей конверт, заключавший четыре письма.

Она захлопала в ладоши и воскликнула:

— И где мы только его не искали!

Затем быстро схватила пакет и развернула его, приговаривая:

— Господи боже мой! А мы-то с сестрой просто обыскались! Так это вы его нашли? И на бульваре, наверное? Не иначе, как на бульваре. Видите ли, он выпал, когда мы бежали. Это все по глупости моей сестренки. А когда вернулись, уже ничего не нашли. И так как мы не хотели, чтобы нас поколотили, нам это вовсе без надобности, совершенно без надобности, мы сказали домашним, что разнесли письма, но всюду получили шиш! Вот они, мои голубчики! А почему вы догадались, что они принадлежат мне? Впрочем, понятно — по почерку! Значит, это мы на вас налетели вчера, когда бежали? Ничего нельзя было разглядеть в такой темени! Я спросила сестру: «Это кто — мужчина?» А сестра говорит: «Как будто мужчина».

Тем временем она вынула из пакета слезницу, адресованную «Г-ну благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па».

— Ага, это к тому старикашке, что ходит к обедне. Очень кстати. Пойду снесу, может быть, он даст нам на завтрак.

И, снова засмеявшись, пояснила:

— Знаете, что будет означать, если мы сегодня позавтракаем? Да то, что нынче утром мы съедим позавчерашний завтрак, позавчерашний обед, вчерашний завтрак, вчерашний обед — и все в один присест! Так-то! Черт побери! А ежели вам этого мало, так и подыхайте, собаки!

Это напомнило Мариусу о цели прихода несчастной.

Он порылся в жилетном кармане, но ничего не нашел.

А девушка все не умолкала, как будто совсем позабыв о присутствии Мариуса:

— Я иной раз ухожу с вечера. Иной раз до утра не возвращаюсь. Прошлой зимой, прежде чем переселиться сюда, мы жили под мостами. Чтобы не замерзнуть, бывало, прижмемся друг к другу. Сестренка плачет. Ох уж эта вода! Какая от нее тоска! Вздумаешь утопиться и скажешь себе: «Нет, уж очень она холодная». Я хожу совсем одна, когда взбредет в голову. Иной раз ночую в канавах. Знаете, когда идешь ночью по бульвару, чудится, что деревья рогатые, как вилы, а дома черные, огромные, как башни собора Богоматери, и мерещится, будто белые стены — это река, и говоришь себе: «Гляди-ка, там вода!» Звезды, как плошки на иллюминации, — кажется, что они чадят и что ветер задувает их; а сама идешь словно одурелая, в ушах точно лошадиный храп стоит; и хотя ночь — слышатся то звуки шарманки, то шум прядильной машины, то еще невесть что. Все представляется, что в тебя бросают камнями, и бежишь без памяти, и все кружится, кружится перед глазами. Так чудно бывает, когда долго не ешь.

И она окинула его блуждающим взглядом.

Хорошенько обыскав свои карманы, Мариус наскреб в конце концов пять франков шестнадцать су. Это было все его богатство. «На обед сегодня мне, во всяком случае, хватит, — подумал он, — а завтра будет видно». И оставив себе шестнадцать су, он пять франков отдал девушке.

Она схватила монету.

— Здорово! Вот нам и засветило солнышко! — воскликнула она.

И словно это солнышко обладало свойством растоплять снежные лавины воровского жаргона в ее мозгу, она затараторила:

— Пять франков! Рыжик! Лобанчик! Да в такой дыре! Красота! А вы душка-малёк! Просто втюриться. Браво, блатари! Двое суток лопай, жри, — жареного, пареного! Ешь, пей сколько влезет!

Она натянула на плечо рубашку, отвесила Мариусу низкий поклон, дружески помахала ему рукой и направилась к двери, бросив:

— До свидания, сударь. Все равно. Пойду к своему старикашке.

Проходя мимо комода, она заметила валявшуюся там в пыли заплесневевшую корку хлеба, с жадностью схватила ее и принялась грызть, бормоча:

— Какая вкусная! Какая жесткая! Прямо все зубы сломаешь!

Потом ушла.

#### Глава 5

#### Потайное оконце, указанное провидением

В течение пяти лет Мариус жил в бедности, в лишениях и даже в нужде, но теперь он убедился, что настоящей нищеты не знавал. Впервые настоящую нищету он увидел сейчас. Это ее призрак промелькнул перед ним. И на самом деле, тот, кто видел в нищете только мужчину, ничего не видел, — надо видеть в нищете женщину; тот, кто видел в нищете только женщину, ничего не видел, — надо видеть в нищете ребенка.

Дойдя до последней крайности, мужчина, уже не разбираясь, хватается за самые крайние средства. Горе беззащитным существам, его окружающим! У него нет более ни работы, ни заработка, ни хлеба, ни топлива, ни бодрости, ни доброй воли; он сразу лишается всего. Вовне как бы гаснет дневной свет, внутри — светоч нравственный. В этой тьме мужчине попадаются двое слабых — женщина и ребенок, и он с яростью толкает их на позор.

Тогда возможны любые ужасы. Только хрупкие преграды отделяют отчаяние от порока или преступления.

Здоровье, молодость, честь, святое, суровое целомудрие еще юного тела, сердце, девственность, стыдливость — эта эпидерма души, — все безжалостно попирается здесь в поисках средств спасения, и когда таким средством оказывается бесчестье, приемлют и его. Отцы, матери, дети, братья, сестры, мужчины, женщины, девушки — все они в этом сумрачном смешении полов, возрастов, родства, разврата и невинности образуют единую массу, по плотности напоминающую минерал. На корточках, спина к спине, теснятся они в какой-нибудь конуре, куда забросит их судьба, украдкой кидая друг на друга унылый взгляд. О несчастные! Как они бледны, как издрогли! Можно подумать, что они на другой планете, гораздо дальше от солнца, нежели мы.

Девушка явилась для Мариуса чем-то вроде посланницы мрака.

Она открыла ему новую, отвратительную сторону ночи.

Мариус готов был винить себя за то, что слишком много занимался мечтами и любовью, которые мешали ему до сих пор обращать внимание на соседей. А если он и заплатил за них квартирную плату, то это был безотчетный порыв, — каждый на его месте повиновался бы такому порыву; но от него, Мариуса, требовалось большее. Как! Только стена отделяла его от этих заброшенных существ, которые ощупью пробирались в ночном мраке, находясь вне человеческого общества; он жил бок о бок с ними, и он, именно он, был, так сказать, последним звеном, связующим их с остальным миром. Он слышал их дыхание, или, вернее, хрипение, рядом с собою и не замечал этого! Ежедневно, ежеминутно слышал он через стену, как они ходят, уходят, приходят, разговаривают, но оставался ко всему этому глух. В речах их звучал стон, но до него это даже не доходило. Его мысли были поглощены иным: грезами, несбыточными мечтами, недосягаемой любовью, безумствами, а между тем человеческие создания, его братья во Христе, его братья в народе, умирали рядом с ним. Умирали напрасно! И он до некоторой степени являлся как бы причиной их несчастья, усугублял его. Ибо будь у них другой сосед, не такой фантазер, как он, а человек внимательный, простой и отзывчивый, — разумеется, их нищета не осталась бы незамеченной, грозящая им опасность была бы обнаружена, и, наверно, они уже давным-давно были бы призрены и спасены! Правда, они производили впечатление развращенных, безнравственных, грубых и даже омерзительных созданий, но редко бывает, чтобы, впав в нищету, человек не опустился; к тому же существует грань, за которой стирается различие между несчастными и нечестными людьми. И тех и других можно определить одним словом — роковым словом «отверженные». Кого же винить в этом? И разве милосердие не должно проявляться с особенной силой именно там, где особенно глубоко падение?

Читая себе эту мораль — ибо, как всякому подлинно честному человеку, ему случалось выступать в роли собственного наставника и бранить себя даже больше, чем он того заслуживал, — Мариус не отрывал взгляда, полного сострадания, от стенки, отделявшей его от Жондретов, словно пытаясь проникнуть взором за перегородку и согреть им этих несчастных. Стенка состояла из брусков и дранок, покрытых тонким слоем штукатурки, и, как мы уже сказали, через нее было слышно каждое слово, каждый звук. Мало было быть мечтателем Мариусом, чтобы раньше не заметить этого. Стенка не была оклеена обоями ни со стороны, выходившей к Жондретам, ни со стороны комнаты Мариуса; все грубое ее устройство было на виду. Не давая себе в том отчета, Мариус пристально разглядывал перегородку; мечтая, можно иногда исследовать, наблюдать и изучать не хуже, чем размышляя. Вдруг он поднялся. Наверху, у самого потолка, он заметил треугольную щель между тремя дранками. Штукатурка, которою было заделано отверстие, осыпалась, и, встав на комод, можно было заглянуть сквозь эту дыру в комнату Жондретов. В известных случаях сострадание не только может, но и должно обнаруживать любопытство. Эта щель являлась как бы потайным оконцем. Нет ничего недозволенного в том, чтобы быть соглядатаем чужого несчастья, если хочешь помочь. «Надо взглянуть, что это за люди и что у них там творится», — подумал Мариус.

Он взобрался на комод, приложил глаз к скважине и стал смотреть.

#### Глава 6

#### Хищник в своем логове

В городах, как в лесах, есть трущобы, где прячется все самое коварное, все самое страшное. Но то, что прячется в городах, свирепо, гнусно и ничтожно — иначе говоря, безобразно; а то, что прячется в лесах, свирепо, дико и величаво — иначе говоря, прекрасно. И тут и там берлоги, но звериные берлоги заслуживают предпочтения перед человеческими. Пещеры лучше вертепов.

Именно вертеп и увидел Мариус.

Мариус был беден, и комната его была убога, но бедность его была благородна, под стать ей была опрятна и его мансарда. А жилье, куда проник его взгляд, было отвратительно: смрадное, запачканное, загаженное, темное, гадкое. Соломенный стул, колченогий стол, несколько битых склянок, две неописуемо грязные постели по углам — вот и вся мебель; четыре стеклышка затянутого паутиной слухового оконца — вот и все освещение. Дневных лучей через оконце проникало как раз столько, сколько нужно для того, чтобы человеческое лицо казалось лицом призрака. Стены были словно изъязвлены — все в струпьях и рубцах, как физиономия, обезображенная какой-нибудь ужасной болезнью. Сырость сочилась из них, подобно гною. Всюду виднелись намазанные углем непристойные рисунки.

В комнате, снимаемой Мариусом, был, правда, выщербленный, но все же кирпичный пол, тут же не было ни плиток, ни дощатого настила, ходили прямо по обмазанному глиной ветхому перекрытию чердака, почерневшему под ногами. На этой неровной, густо покрытой въевшейся в нее пылью поверхности, нетронутость которой щадил только веник, причудливыми созвездиями располагались старые башмаки, домашние туфли, замызганное тряпье; впрочем, в комнате был камин, поэтому-то она и сдавалась за сорок франков в год. А в камине можно было увидеть все, что угодно: жаровню, кастрюлю, сломанные доски, лохмотья, свисавшие с гвоздей, птичью клетку, золу и даже еле теплившееся пламя. Уныло чадили две головни.

Еще страшнее чердак этот выглядел оттого, что был он огромен. Всюду выступы, углы, черные провалы, стропила, какие-то заливы, мысы, ужасные, бездонные ямы в закоулках, где, казалось, должны были таиться пауки величиной с кулак, мокрицы длиной в ступню, а может быть, даже и какие-нибудь человекообразные чудовища.

Одна кровать стояла у двери, другая у окна. Обе упирались в стенки камина и находились как раз против Мариуса.

В углу, недалеко от отверстия, через которое смотрел Мариус, на стене висела раскрашенная гравюра в черной деревянной рамке, а внизу гравюры крупными буквами стояло: СОН. Гравюра изображала спящую женщину и ребенка, спящего у нее на коленях; над ними в облаках парил орел с короной в когтях, и женщина, не пробуждаясь, отстраняла корону от головы ребенка; в глубине, окруженный сиянием, стоял Наполеон; опираясь на лазоревую колонну с желтой капителью, украшенную такой надписью:

Моренго

Аустерлис

Йена

Баграм

Элоу

Под гравюрой на полу была прислонена к стене какая-то широкая доска, нечто вроде деревянного панно. Она походила на перевернутую картину, на подрамник с какой-нибудь мазней на обратной стороне, на снятое со стены зеркало, которое никак не соберутся опять повесить.

За столом, на котором Мариус заметил ручку, чернила и бумагу, сидел человек лет шестидесяти, низенький, сухопарый, угрюмый, с бескровным лицом, с хитрым, жестоким, беспокойным взглядом; на вид — отъявленный негодяй.

Лафатер, увидев такое лицо, определил бы его как помесь грифа с сутягой; пернатый хищник и человек-крючкотвор, дополняя друг друга, усиливали свое уродство, ибо черты крючкотвора придавали хищнику нечто подлое, а черты хищника крючкотвору — нечто страшное.

У человека, сидевшего за столом, была длинная седая борода. Он был в женской рубашке, обнажавшей его волосатую грудь и голые руки, заросшие седой щетиной. Из-под рубашки виднелись грязные штаны и дырявые сапоги, из которых торчали пальцы.

Во рту он держал трубку, он курил. Хлеба в берлоге уже не было, но табак еще был.

Он что-то писал — вероятно, письмо вроде тех, которые читал Мариус.

На краю стола лежала растрепанная старая книга в красноватом переплете; старинный, в двенадцатую долю листа, формат изданий библиотек для чтения указывал на то, что это роман. На обложке красовалось название, крупно напечатанное прописными буквами: «БОГ, КОРОЛЬ, ЧЕСТЬ и ДАМЫ, СОЧИНЕНИЕ ДЮКРЕДЮМИНИЛЯ. 1814 г.».

Старик писал, разговаривая сам с собой, и до Мариуса долетали его слова:

— Подумать только, что равенства нет даже после смерти! Прогуляйтесь-ка по Пер-Лашез! Вельможи, богачи покоятся на пригорке, на замощенной и обсаженной акациями аллее. Они могут прибыть туда в катафалках. Мелюзгу, голытьбу, незадачливых — чего с ними церемониться! — закапывают в низине, где грязь по колено, в яминах, в слякоти. Закапывают там, чтобы поскорее сгнили! Пока дойдешь туда к ним, сто раз в землю провалишься.

Он остановился, ударил кулаком по столу и, скрежеща зубами, прибавил:

— Так бы и перегрыз всем горло!

У камина, поджав под себя голые пятки, сидела толстая женщина, которой по виду могло быть и сорок и сто лет.

Она тоже была в одной рубашке и в вязаной юбке с заплатами из потертого сукна. Юбку наполовину прикрывал передник из грубого холста. Хоть женщина и съежилась и согнулась в три погибели, все же было видно, что она очень высокого роста. Рядом с мужем она казалась великаншей. У нее были безобразные рыжевато-соломенные с проседью волосы, в которые она то и дело запускала свои толстые лоснящиеся пальцы с плоскими ногтями.

Рядом с ней на полу валялась открытая книга такого же формата, что и лежавшая на столе, — вероятно, продолжение романа.

На одной из постелей Мариус заметил полураздетую мертвенно-бледную долговязую девочку, которая сидела, свесив ноги, и, казалось, ничего не слышала, не видела, не дышала.

Это, несомненно, была младшая сестра приходившей к нему девушки.

На первый взгляд ей можно было дать лет одиннадцать-двенадцать. Но присмотревшись, вы убеждались, что ей не меньше четырнадцати. Это была та самая девочка, которая накануне вечером говорила на бульваре:

«А я как припущу! Как припущу!»

Она принадлежала к той хилой породе, что долго отстает в развитии, а потом вырастает внезапно и сразу. И именно нищета — рассадник этой жалкой людской поросли. У подобных существ нет ни детства, ни отрочества. В пятнадцать лет они выглядят двенадцатилетними, в шестнадцать — двадцатилетними. Сегодня — девушка, завтра — женщина. Они как будто нарочно бегут бегом по жизни, чтобы поскорей покончить с нею.

Сейчас это создание казалось еще ребенком.

В комнате ничто не говорило о труде: не было в ней ни станка, ни прялки, ни инструмента. В углу валялся какой-то подозрительный железный лом. Здесь царила та угрюмая лень, что является спутницей отчаяния и предвестницей смерти.

Мариус несколько минут рассматривал эту мрачную комнату, более страшную, нежели могила, ибо чувствовалось, что тут еще содрогается человеческая душа, еще трепещет жизнь.

Чердак, подвал, подземелье, где у самого подножия социальной пирамиды копошатся бедняки, — это еще не усыпальница, а преддверие к ней; но, подобно богачам, стремящимся с особым великолепием убрать вход в свои чертоги, смерть, всегда стоящая рядом с нищетой, нагромождает самую беспросветную нужду у этих врат своих.

Старик умолк, женщина не произносила ни слова, девушка, казалось, не дышала. Слышался только скрип пера.

Старик проворчал, не переставая писать:

— Сволочь! Сволочь! Кругом одна сволочь!

Сей вариант Соломоновой сентенции вызвал у женщины вздох.

— Успокойся, дружок, — промолвила она. — Не огорчайся, душенька. Все эти людишки не стоят того, чтобы ты писал им, муженек.

В бедности, точно в холод, люди жмутся друг к другу, но сердца их отдаляются. По всему было видно, что женщина эта когда-то любила мужа со всею заложенной в ней способностью любви; но в повседневных взаимных попреках, под тяжестью страшных невзгод, придавивших семью, все, должно быть, угасло. Сохранился лишь пепел нежности. Однако ласкательные прозвища, как часто случается, пережили чувство. Уста говорили: «душенька, дружок, муженек» и т. д., а сердце молчало.

Старик снова принялся писать.

#### Глава 7

#### Стратегия и тактика

С тяжелым сердцем Мариус собрался уже было спуститься со своего импровизированного наблюдательного пункта, когда внимание его привлек какой-то шум; это удержало его на месте.

Дверь чердака внезапно распахнулась.

На пороге появилась старшая дочь.

Она была обута в грубые мужские башмаки, запачканные грязью, забрызгавшей ее до самых лодыжек, покрасневших от холода, и куталась в старый дырявый плащ, которого Мариус еще час тому назад на ней не видел; она, очевидно, оставила его тогда за дверью, чтобы внушить к себе большее сострадание, а потом, должно быть, снова накинула. Она вошла, хлопнула дверью, остановилась, чтобы перевести дух, потому что совсем запыхалась, и только после этого торжествующе и радостно крикнула:

— Идет!

Отец поднял глаза, мать подняла голову, а сестра не шелохнулась.

— Кто идет? — спросил отец.

— Тот господин.

— Филантроп?

— Да.

— Из церкви Сен-Жак?

— Да.

— Тот самый старик?

— Да.

— И он придет?

— Сейчас. Следом за мной.

— Ты уверена?

— Уверена.

— На самом деле придет?

— Едет в наемной карете.

— В карете! Да это настоящий Ротшильд!

Отец встал.

— Почему ты так уверена? Если он едет в карете, то почему же ты очутилась здесь раньше? Дала ты ему по крайней мере адрес? Сказала, что наша дверь в самом конце коридора, направо последняя? Только бы он не перепутал! Значит, ты его застала в церкви? Прочел он мое письмо? Что он тебе сказал?

— Та-та-та! Не надо пороть горячку, старина, — ответствовала дочка. — Слушай, вхожу я в церковь; благодетель на своем обычном месте; отвешиваю реверанс и подаю письмо; он читает и спрашивает: «Где вы живете, дитя мое?» — «Я провожу вас, сударь», — говорю я. А он: «Нет, дайте ваш адрес, моя дочь должна сделать кое-какие покупки, я найму карету и приеду одновременно с вами». Я ему даю адрес. Когда я назвала дом, он словно бы удивился и как будто поколебался, а потом сказал: «Все равно я приеду». Служба окончилась, я видела, как они с дочкой вышли из церкви, видела, как сели в фиакр, и я, конечно, не забыла сказать, что наша дверь последняя в конце коридора, справа.

— Откуда же ты взяла, что он приедет?

— Я сию минуточку видела фиакр, он свернул с Малой Банкирской улицы. Вот я и пустилась бегом.

— А кто тебе сказал, что это тот самый фиакр?

— Да ведь я же заметила номер!

— Ну-ка, скажи какой?

— Четыреста сорок.

— Так. Ты, девка, не дура.

Девушка дерзко взглянула на отца и, показав на свои башмаки, проговорила:

— Может быть, и не дура, да только не надену больше этих дырявых башмаков, очень они мне нужны, — во-первых, в них простудиться можно, а потом и грязища надоела. До чего противно слышать, как эти размокшие подошвы чавкают всю дорогу — чав, чав, чав! Буду уж лучше ходить босиком.

— Верно, — ответил отец кротким голосом, в противоположность грубому тону дочки, — но ведь тебя иначе не пустят в церковь. Бедняки обязаны иметь обувь. К господу богу вход босиком воспрещен, — добавил он желчно. Затем, возвращаясь к занимавшему его предмету, спросил: — Так ты уверена, вполне уверена, что он придет, а?

— За мной по пятам едет, — сказала она.

Старик выпрямился. Лицо его словно озарилось сиянием.

— Слышишь, жена? — крикнул он. — Наш филантроп сейчас будет тут. Гаси огонь.

Мать, опешив, не двигалась с места.

Отец с ловкостью фокусника схватил стоявший на камине кувшин с отбитым горлышком и плеснул воду на головни.

Затем, обращаясь к старшей дочери, приказал:

— Тащи-ка солому из стула!

Дочь не поняла.

Тогда, схватив стул, он ударом каблука выбил соломенное сиденье. Нога прошла насквозь.

— На дворе холодно? — спросил он у дочки, вытаскивая ногу из пробитого сиденья.

— Очень холодно. Снег валит.

Он обернулся к младшей дочери, сидевшей на кровати у окна, и заорал громовым голосом:

— Живо! Слезай с кровати, лентяйка! От тебя никогда проку нет! Выбивай стекло!

Девочка, дрожа, спрыгнула с кровати.

— Выбивай стекло, — повторил он.

Она застыла в изумлении.

— Слышишь, что тебе говорят? Выбей стекло! — снова крикнул отец.

Девочка с какой-то пугливой покорностью встала на цыпочки и кулаком ударила в окно. Стекло с шумом разлетелось на мелкие осколки.

— Хорошо, — сказал отец.

Он был сосредоточен и решителен. Быстрый взгляд его обежал все закоулки чердака.

Ни дать ни взять, полководец, отдающий последние распоряжения перед битвой.

Мать, еще не произнесшая ни звука, встала и спросила таким тягучим и глухим голосом, будто слова застывали у нее в горле:

— Что это ты задумал, голубчик?

— Ложись в постель! — последовал ответ.

Тон, каким это было сказано, не допускал возражения. Жена повиновалась и грузно свалилась на кровать. В это время в углу послышался плач.

— Что там еще? — закричал отец.

Младшая дочь, не выходя из темного закутка, куда забилась, показала окровавленный кулак. Она поранила руку, разбивая стекло; тихонько всхлипывая, она подошла к кровати матери.

Тут наступил черед матери. Она вскочила с криком:

— Полюбуйся! А все твои глупости! Она из-за тебя порезалась.

— Тем лучше, это было мною предусмотрено, — сказал муж.

— Как? Тем лучше? — завопила женщина.

— Молчать! Я отменяю свободу слова, — объявил отец.

Затем, оторвав от надетой на нем женской рубашки холщовый лоскут, он наспех обмотал им кровоточившую руку девочки.

Покончив с этим, он с удовлетворением посмотрел на свою изорванную рубашку.

— Рубашка тоже в порядке. Все выглядит как нельзя лучше.

Ледяной ветер свистел в окне и врывался в комнату. С улицы вползал туман и расстилался повсюду; казалось, чьи-то невидимые пальцы незаметно затягивают комнату белесой ватой. Через разбитое окно было видно, как падает снег. Холод, который предвещало накануне солнце сретенья, и в самом деле наступил.

Старик огляделся, словно желая удостовериться, нет ли каких-либо упущений. Взяв старую лопату, он забросал золой залитые водой головни, чтобы их совсем не было видно. Затем, выпрямившись и прислонившись спиной к камину, сказал:

— Ну, теперь мы можем принять нашего филантропа.

#### Глава 8

#### Луч света в притоне

Старшая дочь подошла к отцу, взяла его за руку и сказала:

— Пощупай, как я озябла!

— Подумаешь, я озяб еще больше, — ответил отец.

Мать запальчиво крикнула:

— Ну конечно, у тебя всегда всего больше, чем у других, даже худого!

— Заткнись! — сказал муж.

Он бросил на нее такой взгляд, что она замолчала.

На минуту наступила тишина. Старшая дочь хладнокровно счищала грязь с подола плаща, младшая продолжала всхлипывать; мать обхватила руками ее голову и, покрывая поцелуями, приговаривала тихонько:

— Ну, перестань, мое сокровище, прошу тебя, это скоро заживет, не плачь, а то рассердишь отца.

— Наоборот, плачь, плачь! Так и надо! — крикнул отец.

Затем обратился к старшей:

— Вот дьявольщина, его все нет! А вдруг он и вовсе не пожалует к нам? Зря, выходит, я затушил огонь, продавил стул, разорвал рубаху и разбил окно.

— И дочурку поранил! — прошептала мать.

— Известно ли вам, — продолжал отец, — что на нашем чертовом чердаке собачий холод? Ну, а если этот субъект возьмет и не придет? Ах, вот оно что! Он заставляет себя ждать! Он думает: «Подождут! Для того и существуют!» О, как я их ненавижу! С какой радостью, ликованьем, восторгом и наслажденьем я передушил бы всех богачей! Всех этих богачей! Этих так называемых благотворителей, сладкоречивых ханжей, которые ходят к обедне, перенимают поповские замашки, пляшут по поповской указке, рассказывают поповские сказки и воображают, что они люди высшей породы. Они приходят унизить нас! Одарить нас одеждой! По-ихнему, эти обноски, которые не стоят и четырех су, — одежда! Одарить хлебом! Не это мне нужно, сволочи! Денег, денег давайте! Но их-то никогда и не увидишь! Потому что мы, видите ли, пропьем их, потому что мы пьянчуги и лодыри! А сами-то! Сами-то что собой представляют и кем сами прежде были? Ворами! Иначе не разбогатели бы! Не плохо было бы схватить все человеческое общество, как скатерть, за четыре угла и встряхнуть хорошенько! Все бы перебилось, наверно, зато по крайней мере ни у кого ничего не осталось бы, вот в чем барыш! Да куда же запропастился твой господин благотворитель, поганое его рыло? Может быть, адрес позабыл, скот этакий? Бьюсь об заклад, что старая образина...

Тут в дверь легонько постучались. Жондрет бросился к ней, распахнул и, низко кланяясь и подобострастно улыбаясь, воскликнул:

— Входите, сударь! Окажите честь войти, мой глубокочтимый благодетель, а также и ваша прелестная барышня.

На пороге появился мужчина зрелых лет и юная девушка.

Мариус не покидал своего наблюдательного поста. То, что он пережил в эту минуту, не в силах передать человеческий язык.

То была Она.

Тому, кто любил, понятен весь лучезарный смысл коротенького слова «Она».

Действительно, то была она. Мариус с трудом различал ее сквозь светящуюся дымку, внезапно застлавшую ему глаза. Перед ним было то нежное и утерянное им создание, та звезда, что светила ему полгода. Это были ее глаза, ее лоб, ее уста, ее прелестное, скрывшееся от него личико, с исчезновением которого все погрузилось во мрак. Видение пропало и вот — появилось вновь.

Появилось во тьме, на чердаке, в гнусном вертепе, среди этого ужаса!

Мариус весь дрожал. Как! Неужели это она! От сердцебиения у него темнело в глазах. Он чувствовал, что вот-вот разрыдается. Как! Он видит ее наконец, после стольких поисков! Ему казалось, что он вновь обрел свою утраченную душу.

Девушка нисколько не переменилась, только, пожалуй, немного побледнела; фиолетовая бархатная шляпка обрамляла ее тонкое лицо, черная атласная шубка скрывала фигуру. Из-под длинной юбки виднелась ножка, затянутая в шелковый полусапожок.

Девушку, как всегда, сопровождал г-н Белый.

Она сделала несколько шагов по комнате и положила на стол довольно большой сверток.

Старшая девица Жондрет спряталась за дверью и угрюмо смотрела оттуда на бархатную шляпку, атласную шубку и очаровательное, радующее взгляд личико.

#### Глава 9

#### Жондрет чуть не плачет

В конуре было так темно, что всякий входивший с улицы испытывал такое чувство, словно очутился в погребе. Оба посетителя подвигались поэтому как-то нерешительно, еле различая смутные очертания окружавших их фигур, а обитатели чердака, привыкшие к этому сумраку, разглядывая вновь прибывших, видели их совершенно ясно.

Господин Белый подошел к Жондрету и, устремив на него свой грустный и добрый взгляд, сказал:

— Сударь, здесь в свертке вы найдете новое носильное платье, чулки и шерстяные одеяла.

— Посланец божий, благодетель наш! — воскликнул Жондрет, кланяясь до земли.

Затем, пока посетители рассматривали убогое жилье, он, нагнувшись к самому уху старшей дочери, скороговоркой прошептал:

— Ну? А что я говорил? Обноски! А денежки где? Все эти господа на один манер! Кстати, как было подписано письмо к этому старому дуралею?

— Фабанту, — отвечала дочь.

— Драматический актер, великолепно.

Жондрет осведомился вовремя, ибо в ту же секунду г-н Белый обернулся к нему и сказал с таким видом, с каким обычно стараются припомнить фамилию собеседника:

— Вижу, что вы в плачевном положении, господин...

— Фабанту, — быстро подхватил Жондрет.

— Господин Фабанту, да, так... Вспомнил.

— Драматический актер, сударь, некогда пожинавший лавры.

Тут Жондрет, очевидно, решил, что настал самый подходящий момент для натиска на «филантропа».

— Я ученик Тальма́, сударь! — воскликнул он, и в голосе его прозвучало и бахвальство ярмарочного фигляра, и самоуничижение нищего с проезжей дороги. — Ученик Тальма! И мне улыбалась некогда фортуна. Увы! Пришел черед беде. Сами видите, благодетель мой, нет ни хлеба, ни огня. Нечем обогреть бедных моих деток. Один-единственный стул, и тот сломан! Разбитое окно, и в такую-то погоду! Супруга в постели! Больна!

— Бедняжка! — сказал г-н Белый.

— И дочурка поранилась! — добавил Жондрет.

Девочка, отвлеченная приходом чужих, засмотрелась на «барышню» и перестала всхлипывать.

— Плачь! Реви! — сказал ей тихо Жондрет и ущипнул за больную руку. Все это он проделал с проворством настоящего жулика.

Девочка громко заплакала.

Прелестная девушка, которую Мариус в душе звал «моя Урсула», подбежала к ней со словами:

— Бедная детка!

— Взгляните, любезная барышня, — продолжал Жондрет, — у нее вся кисть в крови! Несчастный случай — попала в машину, на которой она работает за шесть су в день. Возможно, придется отнять всю руку!

— Неужели? — встревоженно спросил старик.

Девочка, приняв слова отца за правду, начала всхлипывать еще сильнее.

— Увы, это так, благодетель! — ответил папаша.

Уже несколько секунд Жондрет с каким-то странным выражением всматривался в «филантропа». Не переставая говорить, он, казалось, внимательно изучал его, словно стараясь что-то вспомнить. Вдруг, воспользовавшись минутой, когда посетители участливо расспрашивали девочку о пораненной руке, он подошел к лежавшей в постели жене, лицо которой изображало тупое уныние, и торопливо шепнул:

— Вглядись-ка в него получше!

Затем, обернувшись к г-ну Белому, он снова принялся за свои плаксивые жалобы:

— Подумайте, сударь, вся моя одежда — это женина рубашка! Да к тому же рваная! В самые-то холода. Мне не в чем выйти. Был бы у меня хоть плохонький костюм, я бы навестил мадемуазель Марс, которая меня знает и очень благоволит ко мне. Ведь она, кажется, по-прежнему живет на улице Тур-де-Дам? Видите ли, сударь, мы вместе играли в провинции, я разделял с нею лавры. Селимена пришла бы мне на помощь, сударь! Эльмира подала бы милостыню Велизарию! Но ничего-то у меня нет! И в доме ни единого су! Супруга больна, и ни единого су! Дочка опасно ранена, и ни единого су! У жены моей приступы удушья. Возраст, да и нервы к тому же. Ей нужен уход и дочке тоже! Но врач! Но аптекарь! Чем же им заплатить? Нет ни лиарда! Сударь, я готов пасть на колени перед монетой в десять су!

Вот в каком упадке искусство! И да будет вам известно, прелестная барышня и великодушный покровитель мой, исполненные добродетели и милосердия, что бедная моя дочь ходит молиться в тот самый храм, чьим украшением вы являетесь, и ежедневно лицезреет вас... Ибо я воспитываю своих дочек в благочестии, сударь. Я не желал, чтобы они пошли на сцену. Смотрите у меня, бесстыдницы! Вздумайте только свихнуться! Со мной шутки плохи! Я не перестаю им долбить о чести, морали, добродетели. Спросите-ка их! Пусть идут по прямому пути. У них есть отец. Они не из тех несчастных, которые начинают жить безродными, а кончают тем, что роднятся со всем светом, и вот мамзель «Ничья» превращается в мадам «Всех-и-вся». Клянусь, этого не будет в семье Фабанту! Я надеюсь воспитать их в добродетели, чтобы они были честными, хорошими, верующими в бога, черт возьми! Итак, сударь, достопочтенный мой благодетель, знаете ли вы, что готовит мне завтрашний день? Завтра четвертое февраля, роковой день, последняя отсрочка, которую мне дал хозяин; если я ему не уплачу сегодня же вечером, завтра моя старшая дочь, я, моя больная супруга, мое израненное дитя, мы все вчетвером будем лишены крова, выкинуты на улицу, на бульвар, под открытое небо, под дождь, под снег. Так-то, сударь! Я должен за четыре квартала, за год. То есть шестьдесят франков.

Жондрет лгал. Плата за год составляла всего сорок франков, и он не мог задолжать за четыре квартала: еще не прошло и полугода, как Мариус заплатил за два.

Господин Белый вынул из кармана пять франков и положил их на стол.

Жондрет буркнул на ухо старшей дочери: «Негодяй! На что мне сдались его пять франков? Ими не окупишь ни стул, ни оконное стекло. Решайся после этого на затраты!» В ту же минуту г-н Белый, сняв с себя широкий коричневый редингот, который он носил поверх своего синего редингота, бросил его на спинку стула.

— Господин Фабанту, — сказал он, — при мне только пять франков, но я провожу дочь домой и вернусь к вам вечером; ведь вы должны платить сегодня вечером?..

В глазах Жондрета промелькнуло какое-то странное выражение. Он поспешно ответил:

— Да, мой глубокоуважаемый покровитель. В восемь часов я должен быть у домохозяина.

— Я буду в шесть и принесу шестьдесят франков.

— Благодетель! — восторженно завопил Жондрет.

И добавил чуть слышно:

— Всмотрись в него хорошенько, жена!

Господин Белый взял снова под руку прелестную девушку и направился к двери.

— До вечера, друзья мои, — сказал он.

— В шесть часов? — переспросил Жондрет.

— Ровно в шесть.

Тут внимание старшей девицы Жондрет привлек висевший на спинке стула сюртук.

— Сударь, вы забыли ваш редингот, — сказала она.

Жондрет устремил на дочку угрожающий взгляд и гневно передернул плечами.

Господин Белый обернулся и ответил улыбаясь:

— Я не забыл, а нарочно оставил его.

— О мой покровитель, — сказал Жондрет, — мой высокочтимый благодетель, я не могу сдержать слез! Дозвольте, я провожу вас до фиакра.

— Если вы хотите выйти, то наденьте этот сюртук, — вместо ответа заметил г-н Белый. — На дворе очень холодно.

Жондрет не заставил просить себя дважды. Он быстро натянул коричневый редингот.

И они вышли втроем: Жондрет впереди, а за ним посетители.

#### Глава 10

#### Такса наемного кабриолета: два франка в час

Хотя вся эта сцена разыгралась на глазах у Мариуса, он, в сущности, почти ничего не видел. Взгляд его впился в молодую девушку, сердце его, так сказать, ухватилось за нее и словно вобрало всю целиком, едва она ступила на порог конуры Жондрета. Пока она была там, он находился в том состоянии экстаза, когда человек не воспринимает явлений внешнего мира, а сосредоточивает всю душу на чем-то одном. Он созерцал не девушку, а луч, одетый в атласную шубку и бархатную шляпку. Если бы даже сам Сириус, покинув небеса, появился в комнате, Мариус не был бы так ослеплен.

Пока молодая девушка развертывала пакет, раскладывала вещи и одеяла, с участием расспрашивала больную мать и ласково говорила с раненой девочкой, он ловил каждое ее движение и старался услышать ее голос. Ему были знакомы ее глаза, лоб, фигура, походка, вся ее краса, но он не знал, как звучит ее голос. Однажды в Люксембургском саду ему показалось, что до него долетело несколько сказанных ею слов, но он не был в этом вполне уверен. Он отдал бы десять лет жизни, чтобы услышать, чтобы запечатлеть в душе музыку ее голоса. Но все заглушалось жалостными причитаниями и высокопарными тирадами Жондрета. И к восхищению Мариуса примешивался гнев. Он не сводил с нее глаз. Ему не верилось, чтобы в отвратительной трущобе, среди человеческого отребья, он мог найти это божественное создание. Ему казалось, что он видит колибри среди жаб.

Когда она вышла, его охватило одно желание — следовать за ней, идти по пятам, не упускать из вида, пока не узнает, где она живет, чтобы не утратить ее вновь после того, как он чудом обрел ее! Он спрыгнул с комода и схватил шляпу. Он уже взялся за дверную ручку и хотел было выйти, но тут его остановила одна мысль. Коридор был длинный, лестница крутая, — Жондрет болтлив, г-н Белый, разумеется, еще не успел сесть в коляску; если, обернувшись в коридоре или на лестнице, он заметит здесь его, Мариуса, то, разумеется, встревожится и найдет способ снова ускользнуть, и тогда все будет кончено. Как быть? Подождать немного? Но пока будешь ждать, коляска может отъехать... Мариус был в нерешительности. Наконец он рискнул и вышел из комнаты.

В коридоре уже никого не было. Он побежал к лестнице. Никого не было и на лестнице. Он поспешно спустился и вышел на бульвар как раз в ту минуту, когда экипаж завернул за угол Малой Банкирской улицы и покатил обратно в Париж.

Мариус бросился бежать в том же направлении. Достигнув угла бульвара, он вновь увидел экипаж, который быстро ехал вниз по улице Муфтар; экипаж был уже очень далеко, нечего было и пытаться догнать его. Что делать? Бежать за ним? Невозможно. К тому же из коляски, несомненно, заметили бы человека, бегущего за нею со всех ног, и отец девушки узнал бы его. И тут — чудесная неслыханная случайность — Мариус заметил свободный наемный кабриолет, проезжавший по бульвару. Оставалось только одно решение: сесть в кабриолет и поехать следом за фиакром. Это был верный, действительный и безопасный выход.

Мариус знаком остановил экипаж и крикнул:

— Почасно!

Мариус был без галстука, в старом будничном сюртуке, на котором не хватало пуговиц, манишка на сорочке была у него в одном месте разорвана.

Кучер остановился и, подмигнув, протянул в сторону Мариуса левую руку, слегка потирая один о другой большой и указательный пальцы.

— Что такое? — спросил Мариус.

— Плата вперед, — сказал кучер.

Мариус вспомнил, что при нем было всего шестнадцать су.

— Сколько? — спросил он.

— Сорок су.

— Уплачу по приезде.

Кучер вместо ответа засвистел песенку о Ла Палисе и стегнул лошадь.

Мариус растерянно смотрел вслед удаляющемуся кабриолету. Из-за двадцати четырех су, которых ему не хватало, он терял свою радость, свое счастье, свою любовь! Он вновь погружался во мрак! Он прозрел, а теперь снова лишился зрения. По правде говоря, он с горечью и глубоким сожалением подумал о пяти франках, отданных им поутру жалкой дочери Жондрета. Имей он эти пять франков, он был бы спасен, он бы возродился, он вышел бы из чистилища, из ада, из одиночества, тоски и душевного вдовства; он снова связал бы черную нить своей судьбы с дивной золотой нитью, промелькнувшей перед его глазами и еще раз оборвавшейся. Он вернулся в свою лачугу в полном отчаянии.

Он мог бы себя утешить тем, что г-н Белый обещал вернуться вечером, и на этот раз нужно было только получше взяться за дело и постараться не упустить его, но, поглощенный созерцанием девушки, он едва ли что-нибудь слышал.

В ту минуту, когда Мариус собирался подняться по лестнице, он заметил на другой стороне бульвара, у глухой стены, идущей вдоль улицы заставы Гобеленов, Жондрета, облаченного в редингот «благодетеля». Он разговаривал с одним из тех субъектов, лица которых вселяют беспокойство и которых принято называть «хозяевами застав»; это люди, внешность которых двусмысленна, речь подозрительна, словно на уме у них что-то дурное; спят они обычно днем, а следовательно, дают все основания думать, что работают ночью.

Собеседники, стоявшие неподвижно под хлопьями падающего снега, представляли собой группу, которая, наверно, остановила бы внимание полицейского, но взгляд Мариуса едва скользнул по ней.

Однако, как ни был он озабочен и огорчен, он невольно подумал, что этот «хозяин застав», с которым беседовал Жондрет, был похож на одного человека, по кличке Крючок, он же Весенний, он же Гнус, на которого как-то указал ему Курфейрак и который слыл в квартале весьма опасным ночным гулякой. В предыдущей книге упоминалось его имя. Крючок, он же Весенний, он же Гнус, позднее фигурировал в нескольких уголовных процессах и стяжал себе славу знаменитого мошенника. А в описываемое нами время он был еще просто ловким мошенником. Память о нем сохранилась и посейчас среди бандитов и грабителей. В конце последнего царствования он создал целую школу. И вечерами, в сумерках, в тот час, когда люди шепчутся, собравшись в кружок, о нем говорили в Львином рву тюрьмы Форс. В этой же тюрьме, как раз в том месте, где под дозорной дорожкой проходит сток нечистот, через который в 1843 году тридцать два заключенных среди бела дня совершили неслыханный побег, можно было даже прочесть над плитой, закрывающей отверстие сточной трубы, его имя *Крючок*. Он дерзко выцарапал его на стене у самой дозорной дорожки при одной из попыток к бегству. В 1832 году полиция уже следила за ним, но он еще ни в чем серьезном себя не проявил.

#### Глава 11

#### Нищета предлагает услуги горю

Мариус медленно поднялся по лестнице. Он собирался уже войти в свою каморку, когда заметил, что за ним по коридору идет старшая дочь Жондрета. Ему было очень неприятно видеть эту девушку — ведь именно к ней и перешли его пять франков, но требовать их обратно было уже поздно, кабриолет уехал, а коляски и след простыл. К тому же девушка и не вернула бы их. Так же бесполезно было бы расспрашивать ее о том, где жили их посетители, очевидно, она и сама не знала, раз письмо, подписанное Фабанту, было адресовано «господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па».

Мариус вошел в комнату и захлопнул за собой дверь.

Однако она не закрылась вплотную; он обернулся и заметил, что ее придерживает чья-то рука.

— Что такое? Кто там? — спросил он.

И увидел дочь Жондрета.

— Это вы? — почти грубо продолжал Мариус. — Опять вы? Что вам от меня нужно?

Но она, казалось, о чем-то думала и не глядела на него. В ней не было прежней самоуверенности. В комнату она не вошла, а осталась стоять в темном коридоре, и Мариус видел ее через неплотно притворенную дверь.

— Да отвечайте же! — воскликнул Мариус. — Что вам нужно от меня?

Она окинула его тусклым взглядом, в котором, казалось, смутно засветился какой-то огонек, и сказала:

— Господин Мариус, у вас такой печальный вид. Что с вами?

— Со мной?

— Да, с вами.

— Ничего.

— Что-то есть все же!

— Нет.

— А я говорю — есть.

— Оставьте меня в покое!

Мариус снова толкнул дверь, а она продолжала придерживать ее.

— Слушайте, вы это зря, — сказала она. — Вы небогаты, а какой были добрый сегодня утром. Ну станьте опять таким. Вы мне дали на пропитанье, скажите же, что с вами? Вы огорчены, это сразу видно. А мне не хочется, чтобы вы огорчались. Нельзя ли тут чем-нибудь помочь? Не могу ли я вам пригодиться? Положитесь на меня. Я не собираюсь выведывать ваши секреты, не прошу мне о них рассказывать, но как-никак я могу быть полезной. Я могу вам подсобить, ведь подсобляю же я отцу. Понадобится отнести кому письмо, обойти дома из двери в дверь, разыскать адрес, выследить кого-нибудь, — посылают меня. Так вот, можете спокойно мне все доверить, я передам кому надо. Иной раз поговоришь с кем надо, и все уладилось. Распоряжайтесь мной.

В уме Мариуса промелькнула мысль. За какую только веточку не цепляется человек, когда чувствует, что сейчас упадет!

Он приблизился к дочери Жондрета.

— Послушай... — сказал он.

Девушка прервала его, и глаза ее радостно сверкнули.

— Да, да, говорите мне «ты», мне так больше нравится.

— Хорошо, — продолжал он, — ведь это ты привела сюда старика с дочкой...

— Да.

— Ты знаешь их адрес?

— Нет.

— Узнай мне его.

Взгляд девушки, ставший из угрюмого радостным, теперь из радостного стал мрачным.

— Только это вам и надо? — спросила она.

— Да.

— Вы с ними знакомы?

— Нет.

— Иначе говоря, — живо перебила его девушка, — вы незнакомы с нею, но хотите познакомиться.

В этой замене слов «с ними» словами «с нею» чувствовалось что-то многозначительное и горькое.

— Ну, как? Сумеешь? — спросил Мариус.

— Я добуду вам адрес красивой барышни.

И тон, каким были произнесены слова: «красивой барышни», почему-то опять покоробил Мариуса. Он сказал:

— В конце концов, неважно! Адрес отца и дочери. Ну, адрес обоих.

Она пристально взглянула на него.

— Что вы мне за это дадите?

— Все, что пожелаешь.

— Все, что пожелаю?

— Да.

— Вы получите адрес.

Она опустила голову, затем порывистым движением захлопнула дверь.

Мариус остался один.

Он упал на стул, оперся локтями о кровать, обхватил руками голову и погрузился в водоворот неуловимых мыслей, испытывая состояние, близкое к обмороку. Все, что произошло с утра: появление небесного создания, его исчезновение, слова, только что услышанные им от жалкой девушки, луч надежды, блеснувший в беспредельном отчаянии, — вот что смутно проносилось в его мозгу.

Вдруг его задумчивость была грубо прервана.

Громкий и резкий голос Жондрета произнес следующие крайне заинтересовавшие Мариуса загадочные слова:

— Говорю тебе, что уверен в этом. Я узнал его.

О ком шла речь? Кого узнал Жондрет? Г-на Белого? Отца его «Урсулы»? Возможно ли! Разве Жондрет был с ним знаком? Неужели ему, Мариусу, вдруг так неожиданно откроется то, без чего жизнь его была такой беспросветной? Неужели наконец узнает, кого же он любит, узнает, кто эта девушка, кто ее отец? Неужели наступила минута, когда окутывающий этих людей густой туман рассеется, когда таинственный покров разорвется? О небо!

Он влез, вернее, вскочил на комод и занял место у своего потайного окошечка в переборке.

И снова увидел внутренность логова Жондрета.

#### Глава 12

#### На что была истрачена пятифранковая монета г-на Белого

С виду в семействе Жондрета все было по-прежнему, если не считать того, что его жена и дочки успели уже вытащить кое-что из свертка, принесенного г-ном Белым, и нарядились в шерстяные чулки и кофточки. Новые одеяла были наброшены на обе кровати.

Жондрет, по-видимому, только что пришел, так как не успел еще отдышаться. Дочки сидели на полу у камина, и старшая перевязывала руку младшей. Жена, казалось, утонула в кровати, стоявшей рядом с камином; лицо ее выражало удивление. Жондрет мерил комнату большими шагами. В его взгляде было что-то необычное.

Наконец жена, видимо глубоко изумленная и робевшая перед мужем, осмелилась произнести:

— Неужели правда? Ты уверен?

— Уверен, конечно! Прошло восемь лет. И все же я его узнал. Еще бы не узнать! Сразу же узнал! Неужто тебе ничего не бросилось в глаза?

— Нет.

— Но ведь я же тебе говорил: «Обрати внимание!» Тот же рост, то же лицо, почти не постарел, — некоторых даже и старость не берет, не знаю, как это они ухитряются, ну и голос тот же. Только одет получше, вот и все! Ага, старый проклятый притворщик, попался? Теперь держись у меня!

Он остановился и крикнул дочерям:

— Эй, вы, убирайтесь-ка отсюда! — И добавил, обращаясь к жене: — Чудно даже, что тебе не бросилось в глаза.

Дочери покорно встали.

— С больной рукой, — пробормотала мать.

— Воздух ей на пользу, — отрезал Жондрет. — Убирайтесь.

Очевидно, он был из породы людей, которым не возражают. Девушки вышли.

В ту минуту, когда они уже были в дверях, отец удержал старшую за руку и каким-то многозначительным тоном сказал:

— Будьте здесь ровно в пять. Вы обе мне понадобитесь.

Это заставило Мариуса удвоить внимание.

Оставшись наедине с женой, Жондрет опять стал ходить по комнате и два-три раза молча обошел ее. Затем несколько минут заправлял и засовывал за пояс штанов подол надетой на нем женской рубашки.

Вдруг он повернулся к жене, скрестил руки и воскликнул:

— Хочешь, я скажу тебе еще кое-что? Эта девица...

— Ну, что такое? — подхватила жена. — Что девица?

У Мариуса не могло быть сомнений: конечно, разговор шел о «ней». Он слушал с мучительным волнением. Вся его жизнь сосредоточилась в слухе.

Но Жондрет наклонился к жене и о чем-то тихо заговорил. Потом выпрямился и закончил громко:

— Она и есть!

— Эта вот? — спросила жена.

— Эта вот! — подтвердил муж.

Трудно передать то выражение, с каким жена Жондрета произнесла слова: «эта вот». Удивление, ярость, ненависть, злоба — все слилось и смешалось здесь в какой-то зловещей интонации. Достаточно было нескольких фраз и, вероятно, имени, сказанного ей на ухо мужем, чтобы эта сонная толстуха оживилась и чтобы ее отталкивающее лицо стало страшным.

— Быть не может! — закричала она. — И подумать только, что мои дочки ходят разутые, что им одеться не во что! А тут! И атласная шубка, и бархатная шляпка, и полусапожки — словом, все! Больше чем на две сотни франков надето! Прямо дама! Да нет же, ты ошибся! И, во-первых, та была уродина, а эта — недурна! Совсем недурна! Не может быть, это не она!

— А я говорю тебе — она. Сама увидишь.

При столь категорическом утверждении тетка Жондрет подняла свою широкую кирпично-красную физиономию и с каким-то отвратительным выражением уставилась в потолок. В этот миг она показалась Мариусу опасней самого Жондрета. То была свинья с глазами тигрицы.

— Вот как! — прошипела она. — Значит, эта расфуфыренная барышня, которая жалостливо смотрела на моих дочек, и есть та самая нищенка! А-а, так бы все кишки ей и выпустила! Затоптала бы!

Она соскочила с постели и постояла с минуту, растрепанная, с раздувающимися ноздрями, полуоткрытым ртом, со сжатыми и занесенными словно для удара кулаками. Затем рухнула на свое неопрятное ложе. Жондрет ходил взад и вперед по комнате, не обращая никакого внимания на супругу.

После нескольких минут молчания он подошел к жене и опять остановился перед ней, скрестив руки.

— А хочешь, я скажу тебе еще кое-что?

— Ну что? — спросила она.

— Да то, что я теперь богач, — ответил он отрывисто и тихо.

Жена устремила на него взгляд, казалось, говоривший: «Уж не спятил ли ты?»

Жондрет продолжал:

— Проклятие! Давненько я состою в прихожанах прихода Коль-есть-жратва-подыхай-с-холоду, коль-есть-дрова-подыхай-с-голоду! Довольно хлебнул нищеты! Довольно тащил свое и чужое бремя! Мне уже не до смеха, ничего забавного я больше здесь не вижу, довольно ты тешился надо мной, милосердный боже! Обойдемся без твоих шуток, отец предвечный! Я желаю есть вдоволь, пить вдосталь! Жрать! Дрыхнуть! Бездельничать! Я желаю, чтобы пришел и мой черед, — мой, вот что! Пока я не издох! Я желаю немножко пожить миллионером!

Он прошелся по своей конуре и прибавил:

— Не хуже иных прочих.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила жена.

Он тряхнул головой, подмигнул и, повысив голос, как бродячий лектор, приступающий к демонстрации физического опыта, начал:

— Что я хочу сказать? Слушай!

— Тес... — заворчала тетка Жондрет, — потише! Если разговор о делах, не к чему посторонним про это слушать.

— Вот еще! Кому это слушать? Соседу? Я только что видел, как он выходил из дому. Да и что он разберет, эта дурья башка? А потом, говорю тебе, он ушел.

Тем не менее Жондрет как-то инстинктивно понизил голос, не настолько, однако, чтобы его слова могли ускользнуть от слуха Мариуса. К тому же, на счастье, падал снег и заглушал шум проезжавших по бульвару экипажей, что позволило Мариусу ничего не пропустить из беседы супругов.

Вот что услышал Мариус:

— Понимаешь, он попался, богатей! Можно считать, что дело в шляпе. Все сделано. Все устроено. Я видел наших. Он придет сегодня в шесть часов. Принесет шестьдесят франков, этакий мерзавец! Чего только я ему не наплел! Ты заметила? И насчет шестидесяти франков, и насчет хозяина, и насчет четвертого февраля! А какой в этот день может быть срок? Вот олух царя небесного! Значит, он прибудет в шесть часов! В это время сосед уходит обедать. Мамаша Бюргон отправляется в город мыть посуду. В доме никого. Сосед не возвращается раньше одиннадцати. Девчонки будут на карауле. Ты нам поможешь. Он расквитается с нами.

— А вдруг не расквитается? — спросила жена.

Жондрет сделал угрожающий жест.

— Тогда мы расквитаемся с ним.

И он засмеялся.

Мариус впервые слышал его смех. Это был холодный, негромкий смех, от которого дрожь пробегала по телу.

Жондрет открыл стенной шкаф около камина, вытащил старую фуражку и надел ее на голову, предварительно почистив рукавом.

— Ну, я ухожу, — сказал он. — Мне нужно еще кое-кого повидать из добрых людей. Увидишь, как у нас пойдет дело. Я постараюсь поскорее вернуться. Игра стоящая. Стереги дом.

И, засунув руки в карманы брюк, он на минуту остановился в задумчивости, потом воскликнул:

— А знаешь, хорошо все-таки, что он-то меня не узнал! Узнай он меня, ни за что бы не вернулся! Выскользнул бы из рук! Борода меня выручила! Романтическая моя бородка! Миленькая моя романтическая бородка!

И снова засмеялся.

Он подошел к окошку. Снег все еще падал с серого неба.

— Что за собачья погода! — сказал он.

Потом, запахнув редингот, он добавил:

— Эта шкура немного широковата. Но ничего, сойдет, старый мошенник чертовски кстати мне ее оставил! А то ведь мне не в чем выйти. Дело бы опять лопнуло. От какой ерунды иной раз все зависит!

И, нахлобучив фуражку, он вышел.

Едва ли он успел сделать и несколько шагов, как дверь приоткрылась и между ее створок появился его хищный и умный профиль.

— Совсем забыл, — сказал он. — Приготовь жаровню с угольями.

И кинул в передник жены пятифранковую монету, которую ему оставил «филантроп».

— Жаровню с углем? — переспросила жена.

— Да.

— Сколько мер угля купить?

— Две с верхом.

— Это обойдется в тридцать су. На остальное я куплю что-нибудь к обеду.

— К черту обед!

— Почему?

— Не вздумай растранжирить всю монету, все сто су.

— Почему?

— Потому что мне тоже нужно кое-что купить.

— Что же?

— Да так, кое-что.

— Сколько тебе на это потребуется?

— Где тут у нас ближняя скобяная лавка?

— На улице Муфтар.

— Ах да, на углу; знаю, где.

— Да скажи ты мне, наконец, сколько тебе потребуется на твои покупки?

— Пятьдесят су, а может, и все три франка.

— Не очень-то жирно остается на обед.

— Сегодня не до жратвы. Есть вещи поважнее.

— Как знаешь, мое сокровище.

При этих словах жены Жондрет снова закрыл дверь, и на сей раз Мариус услышал, как шум его шагов, поспешно удалявшихся по коридору, мало-помалу затих внизу лестницы.

На Сен-Медарской колокольне в этот миг пробило час.

#### Глава 13

#### Solus cum solo, in loco remoto, non cogitabuntur orare pater noster[[45]](#footnote-45)

Несмотря на то что Мариус был мечтателем, он, как мы говорили, обладал решительным и энергичным характером. Привычка к сосредоточенным размышлениям, развив в нем участие и сострадание к людям, быть может, ослабила способность возмущаться, но оставила нетронутой способность предаваться негодованию; доброжелательность брамина сочеталась у него с суровостью судьи; он пощадил бы жабу, но, не задумываясь, раздавил бы гадюку. А взор его только что проник в нору гадюк; перед его глазами было гнездо чудовищ.

«Надо уничтожить этих негодяев», — подумал он.

Вопреки его надеждам ни одна из мучивших его загадок не разъяснилась; напротив, мрак надо всем как будто еще более сгустился; ему не удалось узнать ничего нового ни о прелестной девушке из Люксембургского сада, ни о человеке, которого он звал г-ном Белым, если только не считать того, что Жондрету они были, оказывается, известны. Из туманных намеков, брошенных Жондретом, он явственно уловил лишь то, что здесь для них готовится ловушка — какая-то непонятная, но ужасная ловушка; что над обоими нависла огромная опасность: над девушкой — возможно, а над стариком — несомненно; что нужно их спасти, что нужно расстроить гнусные замыслы Жондрета и порвать тенета, раскинутые этими пауками.

Мариус взглянул на жену Жондрета. Она вытащила из угла старую жестяную печь и рылась в железном ломе.

Он осторожно спустился с комода, постаравшись сделать это без всякого шума.

Полный страха перед тем, что подготовлялось, полный отвращения к Жондретам, Мариус все же испытывал какую-то радость при мысли, что ему, быть может, суждено оказать услугу той, которую он любит.

Но как поступить? Предупредить тех, кому угрожает опасность? А где их найти? Ведь он не знал их адреса. Они на миг появились перед его глазами и вновь погрузились в бездонные глубины Парижа. Ждать г-на Белого у дверей в шесть часов вечера и, как только он приедет, предупредить его о засаде? Но Жондрет и его помощники заметят, что он кого-то караулит; место пустынно, сила на их стороне, они найдут способ схватить и отделаться от него, и тогда тот, кого он хотел спасти, погибнет. Только что пробило час, а злодейское нападение должно совершиться в шесть. В распоряжении у Мариуса было пять часов.

Оставалось лишь одно.

Он надел свой сюртук, еще вполне приличный, повязал шею шарфом, взял шляпу и вышел так бесшумно, как будто ступал босиком по мху.

Вдобавок и тетка Жондрет продолжала громыхать железом, копаясь в куче хлама.

Выбравшись из дома, Мариус пошел по Малой Банкирской улице.

Дойдя до середины ее, он поравнялся с отгораживавшей пустырь низенькой стеной, через которую в иных местах можно было перешагнуть. Поглощенный своими мыслями, он шел медленно, снег заглушал его шаги. Вдруг, совсем рядом, он услышал голоса. Он оглянулся, улица была пустынна, хотя дело происходило среди бела дня; нигде не было видно ни души; но он ясно слышал голоса.

Ему пришло в голову заглянуть за ограду.

И действительно, сидя на снегу и прислонившись к стене, там тихо разговаривали двое мужчин.

Их лица были ему незнакомы. Один из них был бородатый, в блузе, а другой — лохматый, в отрепьях. На бородаче красовалась греческая шапочка, а непокрытую голову его собеседника запушил снег.

Наклонившись над стеной, Мариус мог услышать их беседу.

Длинноволосый говорил, подталкивая локтем бородача:

— Уж если дружки из Петушиного часа взялись за это дело, промашки не будет.

— Так ли? — сказал бородач, а лохматый возразил:

— Отхватим по пятьсот монет на брата, а ежели обернется худо, получим годков по пять, по шесть, — ну по десять, никак не больше!

Бородач в греческом колпаке отвечал несколько нерешительно, стуча зубами от холода:

— Уж это-то наверное. Тут никак не отвертишься.

— А я тебе говорю, что промашки не будет, — возразил лохматый. — Тележка папаши Бесфамильного стоит наготове.

Затем они стали толковать о мелодраме, которую видели накануне в театре Гетэ.

Мариус пошел дальше.

Ему казалось, что непонятная речь обоих субъектов, столь подозрительно расположившихся в укромном местечке за стеной, прямо в снегу, возможно, имела некоторое отношение к гнусным замыслам Жондрета. Должно быть, это и было то самое *дело.*

Он направился к предместью Сен-Марсо и в первой же попавшейся лавке спросил, где можно найти полицейского пристава.

Ему сказали, что на улице Понтуаз, в доме № 14.

Мариус пошел туда.

Проходя мимо булочной, он купил на два су хлеба и съел, предвидя, что пообедать не удастся.

Размышляя дорогой, он возблагодарил провидение. Ведь не дай он утром дочери Жондрета пяти франков, он поехал бы вслед за фиакром г-на Белого и, таким образом, ничего бы не знал. Никакая сила не помешала бы тогда Жондрету устроить засаду, г-н Белый погиб бы, а вместе с ним, без сомнения, и его дочь.

#### Глава 14,

#### в которой полицейский дает адвокату два карманных пистолета

Подойдя к дому № 14, что на улице Понтуаз, Мариус поднялся на второй этаж и спросил полицейского пристава.

— Господин полицейский пристав сейчас в отсутствии, — сказал один из писарей, — но его заменяет надзиратель. Может быть, поговорите с ним? У вас спешное дело?

— Да, — ответил Мариус.

Писарь ввел его в кабинет пристава. За решеткой, прислонившись к печке и приподняв заложенными назад руками полы широкого каррика о трех воротниках, стоял рослый человек. У него было квадратное лицо, тонкие, плотно сжатые губы, весьма свирепого вида густые баки с проседью и взгляд, выворачивающий вас наизнанку. Этот взгляд, можно сказать, не только пронизывал вас, но обыскивал.

С виду человек этот казался почти таким же хищным, таким же опасным, как Жондрет; встретиться с догом иногда не менее страшно, чем с волком.

— Что вам угодно? — обратился он к Мариусу, опуская обращение «сударь».

— Не вы ли будете господин полицейский пристав?

— Его нет. Я его заменяю.

— Я по весьма секретному делу.

— Ну, так говорите.

— И весьма срочному.

— Ну, так говорите скорее.

Этот спокойный и грубоватый человек пугал и в то же время ободрял. Он внушал и страх, и доверие. Мариус рассказал ему обо всем: о том, что некоего человека, которого он, Мариус, знал лишь с виду, собирались нынче вечером заманить в ловушку; что, занимая комнату по соседству с притоном, он, Мариус Понмерси, адвокат, услышал через перегородку об этом заговоре; что фамилия негодяя, придумавшего устроить западню, Жондрет; что у него есть сообщники, по всей вероятности «хозяева застав», и в их числе некий Крючок, по прозвищу Весенний, он же Гнус; что дочерям Жондрета поручено стоять на карауле; что человека, которому грозит опасность, никоим образом предупредить нельзя, поскольку даже имя его неизвестно; что, наконец, все должно произойти в шесть часов вечера, в самом глухом конце Госпитального бульвара, в доме № 50/52.

Когда Мариус назвал номер дома, надзиратель поднял голову и бесстрастно спросил:

— Комната, что в конце коридора?

— Совершенно верно, — подтвердил Мариус и добавил: — Разве вы знаете этот дом?

Полицейский надзиратель помолчал, затем ответил, подставляя каблук сапога к дверце топившейся печи, чтобы согреть ногу:

— По-видимому, так.

Он продолжал цедить сквозь зубы, не столько обращаясь к Мариусу, сколько к собственному галстуку:

— Тут без Петушиного часа не обошлось.

Его слова поразили Мариуса.

— Петушиный час, — повторил он. — В самом деле, я слышал эти слова.

И он рассказал полицейскому надзирателю о диалоге между лохмачом и бородачом, в снегу, за стеной на Малой Банкирской улице.

Надзиратель пробурчал:

— Лохматый — должно быть, Брюжон, а бородатый — Пол-Лиарда, он же Два Миллиарда.

Он снова опустил глаза и предался размышлениям.

— Ну, а насчет папаши Бесфамильного, — присовокупил он, — тоже догадываюсь. Так и есть, я подпалил свой каррик. И чего они всегда так жарко топят эти проклятые печки! Номер пятьдесят — пятьдесят два. Бывшее домовладение Горбо.

Он взглянул на Мариуса:

— Вы видели только бородача и лохмача?

— И Крючка.

— А этакого молоденького франтика?

— Нет.

— А огромного плечистого детину, похожего на слона из зоологического сада?

— Нет.

— А этакого пройдоху, с виду старого паяца?

— Нет.

— Ну, а четвертый — тот вообще невидимка, даже для своих же помощников, пособников и подручных. Нет ничего удивительного, что вы его не заметили.

— Действительно, не заметил. А что это вообще за люди? — спросил Мариус.

— Впрочем, это совсем не их час... — сказал вместо ответа надзиратель.

Он снова помолчал, потом проговорил:

— Пятьдесят — пятьдесят два. Знаю я этот сарай. Нам в нем спрятаться негде, артисты нас сразу заметят. И отделаются только тем, что отменят водевиль. Это народ очень скромный. Стесняется публики. Нет, это не годится, не годится. Я хочу услышать, как они поют, и заставлю их поплясать.

Закончив этот монолог, он повернулся к Мариусу и спросил, глядя на него в упор:

— Вы боитесь?

— Кого?

— Этих людей.

— Не больше, чем вас, — сумрачно отрезал Мариус, заметив наконец, что сыщик еще ни разу не назвал его сударем.

Полицейский надзиратель посмотрел на Мариуса еще пристальнее и произнес с какою-то нравоучительной торжественностью:

— Вы говорите, как человек смелый и как человек честный. Мужество не страшится зрелища преступления, а честность не страшится властей.

— Все это хорошо, но что вы думаете предпринять? — прервал его Мариус.

Полицейский надзиратель ограничился таким ответом:

— У всех жильцов дома пятьдесят — пятьдесят два есть ключи от наружных дверей; ими пользуются, возвращаясь ночью к себе домой. У вас есть такой ключ?

— Да, — сказал Мариус.

— Он при вас?

— Да.

— Дайте его мне, — сказал инспектор.

Мариус вынул ключ из жилетного кармана, передал его надзирателю и прибавил:

— Послушайтесь меня, приходите с охраной.

Надзиратель метнул на Мариуса такой взгляд, каким Вольтер подарил бы провинциального академика, подсказавшего ему рифму, и, рывком погрузив обе руки, обе свои огромные лапищи, в бездонные карманы каррика, вытащил оттуда два стальных пистолетика, из тех, что называются карманными пистолетами. Протянув их Мариусу, он заговорил быстро, короткими фразами:

— Возьмите. Отправляйтесь домой. Спрячьтесь у себя в комнате. Пусть думают, что вы ушли. Они заряжены. В каждом по две пули. Наблюдайте. Вы мне говорили, в стене есть щель. Пусть соберутся. Не мешайте им сначала. Когда сочтете, что время пришло и пора кончать, стреляйте. Только не спешите. Остальное предоставьте мне. Стреляйте в воздух, в потолок — безразлично куда. Но главное — не спешите. Выждите. Пусть они приступят к делу, вы — адвокат, вы понимаете, как это важно.

Мариус взял пистолеты и положил их в боковой карман сюртука.

— Очень топорщится, сразу заметно. Уж лучше суньте их в жилетные карманы, — сказал надзиратель.

Мариус спрятал пистолеты в жилетные карманы.

— А теперь, — продолжал надзиратель, — нам нельзя терять ни минуты. Посмотрим, который час. Половина третьего. Сбор в семь?

— К шести, — ответил Мариус.

— Время у меня есть, — сказал надзиратель, — а всего остального еще нет. Не забудьте ни слова из того, что я вам сказал. Паф! Один пистолетный выстрел.

— Будьте покойны, — ответил Мариус.

И когда Мариус взялся за дверную ручку, собираясь выйти, надзиратель крикнул:

— Кстати, если я вам понадоблюсь раньше, приходите или пришлите сюда. Спросите полицейского надзирателя Жавера.

#### Глава 15

#### Жондрет делает закупки

Немного погодя, часов около трех, Курфейрак случайно проходил по улице Муфтар вместе с Боссюэ. Снег падал все гуще и засыпал все кругом.

— Посмотришь на падающие хлопья, и кажется, что в небесах пошел мор на белых бабочек, — начал было Боссюэ, обращаясь к Курфейраку, как вдруг заметил Мариуса, который поднимался вверх по улице, к заставе, и имел какой-то совершенно необычный вид.

— Смотри-ка! Мариус! — воскликнул Боссюэ.

— Вижу, — сказал Курфейрак. — Только не стоит с ним заговаривать.

— Почему?

— Он занят.

— Чем?

— Разве ты не видишь, какое у него выражение лица?

— Какое же?

— Да такое, будто он кого-то выслеживает.

— Верно, — согласился Боссюэ.

— А какие глаза сделал, взгляни только! — заметил Курфейрак.

— Какого же черта он выслеживает?

— Какой-нибудь помпончик-бутончик-чепчик-с-цветочком! Он влюблен.

— Но я что-то не вижу на улице ни помпончика, ни бутончика, ни чепчика с цветочком, — заметил Боссюэ. — Словом, ни одной девицы.

Курфейрак посмотрел и воскликнул:

— Он выслеживает мужчину!

В самом деле, впереди Мариуса, шагах в двадцати, шел мужчина в фуражке; и хотя они видели только его спину, сбоку можно было различить его седоватую бороду.

На нем был новый, но непомерно большой для его роста редингот и ужаснейшие рваные брюки, побуревшие от грязи.

Боссюэ расхохотался.

— Это еще что за тип, а?

— Поэт, — заявил Курфейрак, — безусловно, поэт! Они с одинаковым удовольствием щеголяют и в штанах торговцев кроличьими шкурками, и в рединготах пэров Франции.

— Давай посмотрим, куда направится Мариус и куда этот человек, — предложил Боссюэ. — Выследим их, идет?

— О Боссюэ! — воскликнул Курфейрак. — Орел из Мо! Следить за тем, кто сам кого-то выслеживает! Вы просто осел!

Они повернули обратно.

И в самом деле, Мариус, увидев на улице Муфтар Жондрета, стал за ним следить.

Жондрет шел впереди, не подозревая, что уже взят на мушку.

Он свернул с улицы Муфтар, и Мариус заметил, как он вошел в один из самых дрянных домишек на улице Грасьез, пробыл там с четверть часа и вернулся на улицу Муфтар. Затем он задержался в скобяной лавке, что в ту пору помещалась на углу улицы Пьер-Ломбар, а через несколько минут Мариус увидел, как он выходит из лавки с большим, насаженным на деревянную ручку долотом, которое он тут же спрятал под своим рединготом. Дойдя до улицы Пти-Жантильи, он свернул влево и быстро достиг Малой Банкирской улицы. День склонялся к вечеру, снег, на минуту было прекратившийся, пошел снова. Мариус засел в засаду на углу Малой Банкирской улицы, как всегда безлюдной, и за Жондретом не последовал. И хорошо сделал, ибо, поравнявшись с той низкой стеной, где Мариус подслушал разговор лохматого и бородатого, Жондрет обернулся и, удостоверившись, что за ним никто не идет и никто его не видит, перешагнул через стену и скрылся.

Пустырь, обнесенный этой стеной, примыкал к задворкам дома бывшего каретника, пользовавшегося дурной славой. Когда-то он отдавал внаем экипажи, а потом обанкротился, но под навесами у него все еще стояло несколько ветхих тарантасов.

Мариус подумал, что благоразумнее всего, воспользовавшись отсутствием Жондрета, вернуться домой; к тому же время шло к ночи; по вечерам мамаша Бюргон, уходя в город мыть посуду, имела обыкновение запирать входную дверь, и с наступлением сумерек она всегда бывала на замке; Мариус отдал свой ключ полицейскому надзирателю, следовательно, надо было поторапливаться.

Наступил вечер, почти совсем стемнело: и на горизонте и на всем необъятном небесном пространстве осталась лишь одна озаренная солнцем точка — то была луна.

Красный диск ее всплывал из-за низкого купола больницы Сальпетриер.

Мариус быстрым шагом направился к дому № 50/52. Когда он пришел, дверь оказалась еще открытой. Он поднялся на цыпочках по лестнице и прокрался по стенке, через коридор, в свою комнату. По обеим сторонам коридора, как известно читателю, были расположены каморки, все они тогда были не заняты и сдавались внаем. Двери в них мамаша Бюргон обычно оставляла открытыми настежь. Когда Мариус пробирался мимо одной из этих дверей, ему показалось, что в нежилой комнате перед ним промелькнули головы четырех неподвижно стоявших мужчин, смутно освещенные угасающим дневным светом, который проникал сквозь чердачное окно. Мариус не пытался их разглядеть, не желая, чтобы его увидели. Ему удалось незаметно и бесшумно войти к себе в комнату. Он пришел вовремя. Через минуту он услышал, как вышла мамаша Бюргон и как закрылась входная дверь.

#### Глава 16,

#### в которой читатель услышит песенку на английский мотив, модную в 1832 году

Мариус присел на кровать. Было, пожалуй, около половины шестого. Только полчаса отделяли его от того, что должно было свершиться. Он слышал, как пульсирует кровь в его жилах, — так в темноте слышится тиканье часов. Он думал о двойном наступлении, которое готовилось в эту минуту под прикрытием темноты: с одной стороны, приближалось злодейство, с другой — надвигалось правосудие. Страха он не испытывал, но не мог подумать без содрогания о том, что вот-вот должно произойти. Как это всегда бывает при внезапном столкновении с событием из ряда вон выходящим, ему казалось, что весь этот день — лишь сон, и только ощущая холодок двух стальных пистолетов, лежавших в жилетных карманах, он убеждался, что не является жертвой кошмара.

Снег перестал; луна, выходя из тумана, становилась все ярче, и ее сияние, смешиваясь с серебряным отблеском снега, наполняло комнату какой-то сумеречной мглой.

В лачуге Жондретов горел огонь. Через щель в перегородке пробивался багровый луч света, казавшийся Мариусу кровавым.

Было очевидно, что этот луч — не от свечи. Между тем из комнаты Жондретов не доносилось ни шороха, ни звука, ни слова, ни вздоха — там царила леденящая глухая тишина, и не будь этого света, можно было бы подумать, что рядом склеп.

Мариус тихонько снял ботинки и задвинул их под кровать.

Прошло несколько минут. Вдруг внизу скрипнула в петлях дверь, и Мариус услышал шум грузных шагов, поспешно протопавших по лестнице и пробежавших по коридору; со стуком приподнялась дверная щеколда: то вернулся Жондрет.

Сразу же раздалось несколько голосов. Семья, как оказалось, была в сборе, но в отсутствие хозяина все притихли, словно волчата в отсутствие волка.

— Вот и я, — сказал Жондрет.

— Добрый вечер, папочка! — завизжали дочки.

— Ну как? — спросила жена.

— Помаленьку, — отвечал Жондрет, — но я прозяб, как пес, ноги окоченели. Ага, ты приоделась! Правильно. Надо, чтобы твой вид внушал доверие.

— Я готова, могу идти.

— Ничего не забудешь из того, что я тебе сказал? Все сделаешь, как надо?

— Будь спокоен.

— Дело в том... — сказал Жондрет. И не закончил фразу.

Мариус услышал, как он положил на стол что-то тяжелое, по всей вероятности купленное им долото.

— Кстати, вы уже поели? — спросил Жондрет.

— Да, — ответила жена. — У меня были три больших картофелины и соль. Я их испекла — спасибо, огонь еще был.

— Отлично, — сказал Жондрет. — Завтра поведу всех вас обедать. Закажем утку и всякую всячину. Пообедаете по-королевски, не хуже Карла Десятого. Все идет как нельзя лучше!

Потом добавил, понизив голос:

— Мышеловка открыта. Коты начеку.

И еще тише:

— Сунь-ка это в огонь.

Мариус услышал, как потрескивают угли, которые помешивали каминными щипцами или каким-то железным инструментом, а Жондрет продолжал:

— Дверные петли смазала, чтобы не скрипели?

— Да, — ответила жена.

— Который теперь час?

— Скоро шесть. Недавно пробило полшестого на Сен-Медаре.

— Черт возьми! — произнес Жондрет. — Девчонкам пора идти караулить. Эй, вы, идите-ка сюда, слушайте.

Они зашушукались.

Потом снова послышался громкий голос Жондрета:

— Бюргонша ушла?

— Да, — ответила жена.

— Ты уверена, что у соседа никого нет?

— Он с утра не возвращался, и ты сам отлично знаешь, что в это время он обедает.

— Ты в этом уверена?

— Уверена.

— Все равно, — сказал Жондрет, — невредно сходить и взглянуть, нет ли его. Ну-ка, дочка, возьми свечу и прогуляйся туда.

Мариус опустился на четвереньки и бесшумно заполз под кровать.

Едва успел он там свернуться в комочек, как сквозь щели в дверях показался свет.

— Па-ап, его нет! — раздалось в коридоре.

Мариус узнал голос старшей дочери Жондрета.

— Ты входила в комнату? — спросил отец.

— Нет, — ответила дочь, — но раз ключ в дверях, значит, он ушел.

— А все-таки войди, — крикнул отец.

Дверь отворилась, и Мариус увидел старшую девицу Жондрет со свечой в руке. Она была такая же, как и утром, но при этом освещении казалась еще ужаснее.

Она направилась прямо к кровати, и Мариус пережил минуту неописуемой тревоги. Но над кроватью висело зеркало, к нему-то она и шла. Она встала на цыпочки и погляделась в него. Из соседней комнаты доносился лязг каких-то передвигаемых железных предметов.

Она пригладила волосы ладонью и заулыбалась сама себе в зеркало, напевая своим надтреснутым, замогильным голосом:

Семь или восемь дней пылал огонь сердечный,

И, право, стоило, чтоб он и впредь не гас!

Ах, если бы любовь могла быть вечной, вечной!

Но счастье лишь блеснет и покидает нас.

Мариус дрожал от страха. Ему казалось невозможным, чтобы она не услышала его дыхания.

Она приблизилась к окошку и, окинув взглядом улицу, с обычным своим полубезумным видом громко проговорила:

— Надел Париж белую рубаху и стал уродиной!

Она снова подошла к зеркалу и снова начала гримасничать, разглядывая себя то прямо, то в профиль.

— Ну что же ты? — закричал отец. — Куда запропастилась?

— Сейчас! Смотрю под кроватью и под другой мебелью, — отвечала она, взбивая волосы. — Никого.

— Дуреха! — заревел отец. — Сейчас же сюда! Нечего время терять.

— Иду! Иду! Им вечно некогда! — сказала она и стала напевать:

Вы бросили меня, ушли дорогой славы,

Но сердцем горестным везде я там, где вы...

Кинув прощальный взгляд в зеркало, она вышла, закрыв за собою дверь.

А через минуту Мариус услышал топот босых ног по коридору и голос Жондрета, кричавшего вслед девушкам:

— Смотрите хорошенько! Одной сторожить заставу, другой — угол Малой Банкирской. Ни на минуту не терять из виду дверь дома, и как что-нибудь заметите, сейчас же сюда! Пулей! Ключ от входной двери у вас с собой.

Старшая проворчала:

— Попробуй, покарауль босиком на снегу!

— Завтра у вас будут коричневые шелковые полусапожки! — сказал отец.

Девушки спустились с лестницы, и через несколько секунд стук захлопнувшейся внизу двери оповестил о том, что они вышли.

В доме остались только Мариус и чета Жондретов да, вероятно, те таинственные личности, которых Мариус заметил в полутьме, за дверью пустующей каморки.

#### Глава 17

#### На что была истрачена пятифранковая монета Мариуса

Мариус решил, что наступило время вернуться на свой наблюдательный пост. В одно мгновение, со всем проворством, свойственным его возрасту, он очутился у щели в перегородке.

Он заглянул внутрь.

Жилье Жондретов представляло необыкновенное зрелище, и Мариус нашел, наконец, объяснение проникавшему оттуда странному свету. Там горела свеча в позеленевшем медном подсвечнике, но не она освещала чердак. Вся берлога была как бы озарена огнем большой железной жаровни, поставленной в камин и полной горящих угольев, — той самой жаровни, которую раздобыла утром жена Жондрета. Угли пылали, и жаровня раскалилась докрасна; там плясало синее пламя вокруг купленного Жондретом на улице Пьер-Ломбар долота, которое было теперь воткнуто в уголья и побагровело от накала. В углу возле дверей виднелись две груды каких-то предметов, вероятно положенных здесь неспроста: одна была похожа на связку веревок, другая на кучу железного лома. Человека, не посвященного в то, что здесь замышлялось, эта картина заставила бы колебаться между самыми зловещими и самыми безобидными предположениями. Освещенная таким образом комната напоминала скорее кузницу, чем адское пекло, зато Жондрет при таком освещении смахивал больше на дьявола, чем на кузнеца.

От углей шел такой жар, что горевшая на столе свеча таяла со стороны, обращенной к жаровне, оплывая с одного края. На камине стоял старый медный потайной фонарь, достойный Диогена, обернувшегося Картушем.

Чад от жаровни, поставленной в самый очаг между тлеющих головешек, уходил в каминную трубу, и в комнате не чувствовалось его запаха.

Проникая сквозь оконные стекла, луна посылала свои бледные лучи в это пылающее пурпуром логово, и поэтическому воображению Мариуса, который оставался мечтателем даже тогда, когда нужно было действовать, они представлялись как бы небесной грезой, залетевшей в безобразные земные сны.

Ветер, врываясь через разбитое окно, в свою очередь, рассеивал чад и помогал, таким образом, скрывать присутствие жаровни.

Берлога Жондрета, если читатель припомнит то, что мы говорили о лачуге Горбо, являлась самой прекрасной ареной для темного, кровавого дела и надежным местом для сокрытия преступления. Это была самая глухая комната в самом уединенном доме на самом безлюдном бульваре Парижа. Если бы не существовало на свете засад, то их изобрели бы там.

Вся толща стен и множество необитаемых помещений отделяло эту трущобу от бульвара, а единственное ее окно выходило на пустыри, обнесенные глухой стеной и заборами.

Жондрет разжег трубку, уселся на дырявый стул и задымил. Жена что-то говорила ему шепотом.

Если бы Мариус был Курфейраком, то есть принадлежал к той породе людей, которые смеются во всех случаях жизни, он расхохотался бы при виде супруги Жондрет. На ней была черная шляпа с перьями, весьма напоминавшая головные уборы герольдов на коронации Карла X, широченная клетчатая шаль поверх вязаной юбки и мужские башмаки — те самые, которыми утром побрезговала ее собственная дочь. По-видимому, этот наряд и заставил Жондрета воскликнуть: «Ага! Ты приоделась! Правильно. Надо, чтобы твой вид внушал доверие!»

Что касается самого Жондрета, то на нем был все тот же новый, слишком просторный редингот, подаренный г-ном Белым, и в его костюме по-прежнему поражало несоответствие между рединготом и панталонами, столь любезное, по мнению Курфейрака, сердцу поэта.

Вдруг Жондрет повысил голос:

— Кстати! Дай сообразить. Ведь по такой погоде он, пожалуй, приедет в фиакре. Бери-ка фонарь, зажги и спускайся вниз. Станешь там за дверью. Как только услышишь, что подъехала карета, живо отвори; пока он подымется, ты посветишь ему на лестнице и в коридоре, а как только проводишь сюда, опять спустись бегом, рассчитайся с кучером и отошли его.

— А деньги где? — спросила жена.

Жондрет пошарил в карманах штанов и протянул ей пять франков.

— Это еще откуда? — воскликнула она.

Жондрет степенно ответил:

— Тот лобанчик, что дал утром сосед. — Потом прибавил: — Знаешь что? Надо бы принести сюда два стула.

— Зачем?

— Чтобы было на чем сидеть.

У Мариуса пробежал по коже мороз, когда он услышал спокойный ответ тетки Жондрет:

— Ну ладно! Пойду приволоку их от соседа.

Она быстро отворила дверь и вышла в коридор. Мариусу не хватило даже времени соскочить с комода, добраться до кровати и спрятаться.

— Возьми свечу! — крикнул Жондрет вдогонку.

— Не надо, — сказала она, — только помешает, ведь мне два стула тащить. От луны и так светло.

Мариус услышал, как тяжелая рука тетки Жондрет ощупью искала в темноте ключ. Дверь распахнулась. Он застыл, словно пригвожденный к месту неожиданностью и страхом.

Тетка Жондрет вошла в комнату.

Сквозь чердачное окно пробивался узкий лунный луч, разрезавший тьму как бы на два полотнища. Одно из этих широких полотнищ тьмы целиком закрывало стену, к которой прислонился Мариус, и его не было видно.

Тетка Жондрет подняла глаза, не заметила никого, взяла оба стула, единственную мебель Мариуса, и вышла, оглушительно хлопнув дверью.

Она вернулась в свою конуру.

— Вот тебе стулья.

— А вот и фонарь, — сказал муж. — Спускайся, живо.

Она поспешно вышла, и Жондрет остался один.

Он поставил стулья по обеим сторонам стола, перевернул долото в угольях, придвинул к камину старые ширмы, загородив ими жаровню, затем направился в угол, где лежала груда веревок, и нагнулся над ней, что-то разглядывая. То, что Мариус принял было за бесформенную кучу хлама, оказалось прекрасно слаженной веревочной лестницей с деревянными перекладинами и двумя крючьями.

Ни этой лестницы, ни этих похожих на железные бруски тяжелых инструментов, добавленных к груде железного лома за дверью, не было утром в лачуге Жондрета, очевидно, он принес их днем, во время отсутствия Мариуса.

«Это кузнечные инструменты», — подумал Мариус.

Если бы Мариус немного лучше разбирался в таких вещах, то понял бы, что он принимал за кузнечную снасть особый набор для отмычки замков или взлома дверей, а также колющие и режущие инструменты — два типа зловещих орудий, известных у воров под названием «жало» и «резь».

Камин и стол с двумя стульями находились как раз напротив Мариуса. Жаровня была заставлена ширмой, и комната освещалась только свечой; от малейшего черепка, валявшегося на столе или на камине, ложились длинные тени. Кувшин с отбитым горлышком затенял полстены. Комната застыла в каком-то жутком и зловещем покое. В воздухе нависло ожидание чего-то страшного.

Жондрет дал своей трубке погаснуть — верный признак озабоченности — и снова уселся к столу. При пламени свечи отчетливо выступили острые, хищные черты его лица. По временам он хмурил брови и резко взмахивал правой рукой, как бы возражая на какие-то последние доводы мрачного внутреннего голоса. При одной из таких угрюмых реплик, обращенных к самому себе, он быстро выдвинул ящик стола, вытащил длинный кухонный нож, спрятанный там, и попробовал на ногте острие. Потом, сунув нож обратно, задвинул ящик.

Мариус в свою очередь нащупал пистолет в правом жилетном кармане, вытащил его и взвел курок. Пистолет издал при этом отчетливый сухой треск. Жондрет вздрогнул и привстал со стула.

— Кто там? — крикнул он.

Мариус затаил дыхание. Жондрет прислушивался с минуту, затем проговорил смеясь:

— Ну и болван же я! Это трещит перегородка.

Мариус зажал пистолет в руке.

#### Глава 18

#### Два стула Мариуса ставятся один против другого

Внезапно стекла задребезжали от унылого отдаленного звона. На колокольне Сен-Медар пробило шесть часов.

Жондрет отмечал каждый удар кивком головы. Когда отзвонил шестой, он снял пальцами нагар со свечи.

Затем он принялся шагать из угла в угол, выглянул в коридор, прислушался, опять зашагал, опять прислушался. «Только бы не надул!» — пробормотал он, возвращаясь на свое место.

Не успел он сесть, как дверь отворилась.

Тетка Жондрет распахнула ее и остановилась в коридоре, осклабясь отвратительной льстивой гримасой, которую подчеркивал свет, пробивавшийся снизу, сквозь одну из щелей потайного фонаря.

— Милости просим, сударь, — сказала она.

— Милости просим, благодетель вы наш, — подхватил Жондрет, поспешно вскакивая.

Появился г-н Белый.

Его лицо выражало ясное спокойствие, невольно внушающее почтение.

Он положил на стол четыре золотых.

— Господин Фабанту, — проговорил он, — вот вам на квартиру и на самые неотложные расходы. А дальше будет видно.

— Да вознаградит вас господь за вашу щедрость, благодетель! — вскричал Жондрет и, быстро подойдя к жене, тихо сказал: — Отошли фиакр.

Покуда ее муж расточал поклоны и пододвигал стул г-ну Белому, она незаметно скрылась. Вернувшись через минуту, она шепнула ему на ухо:

— Готово!

Снег шел с утра не переставая и покрыл мостовую таким толстым слоем, что никто не слышал ни как подкатил, ни как отъехал фиакр.

Тем временем г-н Белый уселся.

Жондрет пристроился на другом стуле, напротив него.

Теперь, чтобы лучше представить себе то, что сейчас последует, пусть читатель вообразит себе морозную ночь, пустыри больницы Сальпетриер, занесенные снегом и белеющие в лунном свете, словно огромные саваны; там и сям огоньки уличных фонарей, бросающие красный отсвет на хмурые бульвары, на длинные ряды черных вязов; глухое безлюдье, быть может, на четверть мили вокруг; лачугу Горбо в час глубочайшей тишины и жуткого мрака, а в этой лачуге, затерявшейся во тьме, в глуши, огромную, слабо освещенную единственной свечой берлогу Жондрета, и в этой трущобе — двух людей, сидящих за одним столом: г-на Белого, сохраняющего невозмутимый вид, и ухмыляющегося страшного Жондрета, в углу — старую волчицу Жондрет, а за перегородкой — невидимого Мариуса, не упускающего ни единого слова, ни единого движения, с настороженным взглядом, с пистолетом в руке.

Впрочем, Мариус не испытывал ни малейшего страха; им владело одно лишь отвращение. Он сжимал рукоятку пистолета и чувствовал себя уверенно. «Я арестую негодяя, как только сочту нужным», — думал он.

Он знал, что полиция где-то близко, в засаде, и ждет условного сигнала, чтобы схватить преступника.

Помимо всего, он надеялся, что трагическое столкновение г-на Белого с Жондретом прольет хоть немного света на то, что ему так важно было узнать.

#### Глава 19

#### Остерегайтесь темных углов

Не успел г-н Белый сесть, как тотчас же, окинув взглядом убогие кровати, на которых теперь никто не лежал, спросил:

— Как себя чувствует бедное раненое дитя?

— Плохо, — отвечал Жондрет с горькой и признательной улыбкой, — очень плохо, сударь. Старшая сестра повела ее в больницу Бурб на перевязку. Вы их увидите, они сейчас вернутся.

— А госпоже Фабанту как будто лучше? — продолжал г-н Белый, рассматривая причудливый наряд тетки Жондрет, которая, стоя перед дверью, словно она уже сторожила выход, уставилась на него с угрожающим, чуть ли не воинственным видом.

— Она смертельно больна, — заявил Жондрет. — Но что поделаешь, сударь? У нее столько мужества, у бедняжки! Это просто не женщина, а бык.

Супруга Жондрета, растроганная комплиментом, воскликнула с жеманством чудовища, которому польстили:

— Ты слишком добр ко мне, голубчик Жондрет!

— Жондрет? — удивился г-н Белый. — Я полагал, что вас зовут Фабанту?

— Фабанту, а по сцене — Жондрет, — живо нашелся муж. — Псевдоним артиста.

И, взглянув на супругу, он пожал плечами, но так, чтобы не заметил г-н Белый, затем снова затянул слащавым, воркующим голосом:

— Мы с моей бедной женушкой всегда жили душа в душу! Что бы у нас оставалось, не будь этого утешения? Мы так несчастны, сударь. Руки есть, а работы нет. Душа горит, а заняться нечем. Я не знаю, о чем думает правительство, но, честное слово, сударь, я не якобинец, не какой-нибудь горлопан республиканец, я не против властей, но если бы посадили меня вместо министров — честное благородное слово, все пошло бы по-другому. Вот я, к примеру, послал дочек обучаться картонажному ремеслу. Вы скажете: «Как, ремеслу?» Да, ремеслу, грубому ремеслу, чтобы иметь на кусок хлеба. Видите, до чего мы докатились, мой благодетель! До какого унижения! И это после того, кем мы были! Увы, у нас ничего не осталось от прежнего благополучия. Ничего, кроме одной-единственной вещи, кроме картины; но как ни дорожу я этой картиной, а придется ее спустить, ведь жить-то надо! Что ни говори, а жить надо!

Пока Жондрет разглагольствовал с какой-то нарочитой бессвязностью, что нисколько не отвечало настороженному и сосредоточенному выражению его лица, Мариус поднял глаза и увидел в углу комнаты какого-то мужчину, которого до сих пор не замечал. Человек, должно быть, недавно вошел, и так тихо, что даже не было слышно скрипа дверных петель. На нем была лиловая вязаная фуфайка, старая, заношенная, грязная, изодранная и вся зияющая прорехами, широкие плисовые штаны и грубые носки; он был без рубашки, с голой шеей, голыми татуированными руками и с лицом, вымазанным сажей. Скрестив руки, он молча уселся на ближайшей кровати, позади тетки Жондрет, и таким образом его почти не было видно.

Повинуясь какой-то внутренней магнетической силе, которая направляет наш взгляд, г-н Белый невольно посмотрел в угол почти одновременно с Мариусом. Он не мог удержаться от удивленного жеста, что сразу заметил Жондрет.

— Ага, понимаю, — с особой предупредительностью воскликнул Жондрет, застегивая на себе пуговицы, — вы изволите глядеть на ваш редингот? Он идет мне! Ей-богу, очень идет!

— Что это за человек? — спросил г-н Белый.

— Это?.. — протянул Жондрет. — Это так, сосед. Не обращайте внимания.

Вид у соседа был странный. Но в предместье Сен-Марсо расположено несколько химических заводов. У многих фабричных рабочих бывают черные лица. Впрочем, вся наружность г-на Белого говорила о полном доверии, и в нем не чувствовалось и тени страха.

— Простите, о чем это вы начали говорить, господин Фабанту?

— Я говорил вам, мой дорогой покровитель, — подхватил Жондрет, облокотясь на стол и вперив в г-на Белого неподвижный и нежный взгляд, слегка напоминающий взгляд удава, — я говорил, что у меня продается картина.

Чуть скрипнула дверь. Вошел второй мужчина и уселся на постели, позади тетки Жондрет. У него, как и у первого, были голые руки и черное от сажи или чернил лицо.

Хотя этот человек в буквальном смысле слова проскользнул в комнату, г-н Белый все же заметил и его.

— Не беспокойтесь, — продолжал Жондрет, — это здешние жильцы. Итак, я говорил, что у меня сохранилась ценная картина... Вот, сударь, извольте поглядеть.

Он поднялся, подошел к стене, где стояла на полу уже упомянутая нами картина, и, повернув ее лицом, опять прислонил к стене. При слабом свете свечи это действительно казалось чем-то похожим на живопись. Однако, что изображала картина, Мариус не мог разобрать, так как Жондрет загораживал ее; он разглядел только грубую мазню и нечто вроде человеческой фигуры на переднем плане; все это было размалевано с кричащей яркостью балаганного занавеса или ширмы марионеточного театра.

— Что это такое? — спросил г-н Белый.

Жондрет воскликнул с восторгом:

— Произведение мастера, картина огромной ценности, благодетель! Я дорожу ею не меньше, чем своими дочерьми, она мне многое напоминает! Но я уже говорил вам и опять скажу: нужда заставляет, придется ее спустить.

Было ли это случайно, или потому, что он начал испытывать какое-то беспокойство, но г-н Белый, рассматривая картину, снова перевел взгляд в глубину комнаты. Там уже оказались четыре человека — трое сидели на кровати, один стоял у дверей; все четверо — с голыми руками, неподвижные, с лицами, вымазанными черным. Один из сидевших на кровати прижался к стене и закрыл глаза; могло показаться, что он спит. Это был старик, и его седые волосы над черным лицом производили страшное впечатление. Остальные двое казались молодыми. Один был бородатый, другой лохматый. Все они были разуты — кто в носках, кто босиком.

Жондрет заметил, что г-н Белый не спускает глаз с этих людей.

— Это друзья. Живут по соседству, — сказал он. — Они все чумазые, потому что копаются в саже. Эти ребята — трубочисты. Не стоит ими заниматься, благодетель, вы лучше купите у меня картину. Сжальтесь над моей нищетой. Я вам недорого уступлю. Во сколько вы ее оцените?

— Но ведь это вывеска с какого-нибудь кабачка, ей цена не больше трех франков, — проговорил г-н Белый, пристально глядя в глаза Жондрета с настороженным видом.

Жондрет ответил вкрадчиво:

— При вас ли ваш бумажник? С меня довольно будет тысячи экю.

Господин Белый встал во весь рост, прислонился к стене и быстро окинул взглядом комнату. Слева от него, между ним и окном, находился Жондрет, справа, между ним и дверью, жена Жондрета и четверо мужчин. Все четверо не шевелились и как будто даже не замечали его. Жондрет снова жалобно забубнил таким плаксивым голосом и глядел таким блуждающим взглядом, что г-н Белый мог подумать, будто нищета, которую он видел перед собой, и впрямь помутила рассудок этого человека.

— Если вы не купите у меня картину, дорогой благодетель, — продолжал ныть Жондрет, — я совсем пропал, мне останется одно: броситься в воду. Подумать только, ведь я мечтал обучить дочек художественному картонажу, оклеиванью коробок для новогодних подарков. Не тут-то было! Оказывается, для этого нужен верстак с бортом, чтобы стекла не падали на пол, нужна печь по особому заказу, посудина с тремя отделениями для разных сортов клея: погуще — для дерева, пожиже — для бумаги или для материи; нужен резак для заготовки картона, колодка, чтобы прилаживать его, молоток — заколачивать скрепки, еще кисти и еще всякая чертовщина; почем я знаю, что еще? И все для того, чтобы заработать четыре су в день! А корпеть над ними четырнадцать часов. И каждую коробку раз по тринадцать брать в руки. Да смачивать бумагу, да нигде не насажать пятен, да разогревать клей. Проклятая работа, говорят вам! И за все — четыре су в день! Ну, разве на это проживешь?

Причитая так, Жондрет не глядел на г-на Белого, а тот пристально его рассматривал. Глаза г-на Белого были устремлены на Жондрета, а глаза Жондрета — на дверь. Мариус с напряженным вниманием следил за ними обоими. Г-н Белый, казалось, спрашивал себя: «Не умалишенный ли это?» Жондрет несколько раз и на разные лады повторил тягучим, умоляющим голосом: «Мне остается одно: броситься в воду. Я уже недавно спустился было на три ступеньки у Аустерлицкого моста!»

Вдруг его мутные глаза вспыхнули отвратительным блеском, этот низкорослый человечек выпрямился и стал страшен; он шагнул навстречу г-ну Белому и крикнул громовым голосом:

— Все это вздор, не в том дело! Узнаете вы меня?

#### Глава 20

#### Западня

Дверь логова Жондрета внезапно распахнулась, и в ней показались трое мужчин в синих холщовых блузах и черных бумажных масках. Один, очень худой, держал в руке длинную дубину, окованную железом; другой, рослый детина, нес за топорище, обухом вниз, топор, какой употребляют для убоя быков; третий, широкоплечий, не такой худой, как первый, но и не такой плотный, как второй, сжимал в кулаке огромный ключ, вероятно украденный в тюрьме от какой-нибудь двери.

Жондрет, видимо, только и ждал этих людей. Между ним и человеком с дубиной тотчас завязался торопливый диалог.

— Все готово? — спросил Жондрет.

— Все, — отвечал тот.

— А где Монпарнас?

— Первый любовник остановился поболтать с твоей дочкой.

— С которой?

— Со старшей.

— Фиакр стоит внизу?

— Стоит.

— А повозка запряжена?

— Да.

— А пару заложили хорошую?

— Отличную.

— Они дожидаются, где я велел?

— Да.

— Ну хорошо, — сказал Жондрет.

Господин Белый был очень бледен. Он внимательно и спокойно осматривал все вокруг себя, с видом человека, который понимает, куда он попал, и медленно и удивленно поворачивал голову, вглядываясь по очереди в каждого из окружавших его людей. Однако ни малейшего признака испуга не было на его лице. Стоя позади стола, он воспользовался им как заграждением; этот человек, за минуту до того казавшийся лишь добродушным стариком, вдруг превратился в настоящего богатыря, и движение, которым он опустил свой могучий кулак на спинку стула, дышало угрозой и неожиданной силой.

Этот старик, так стойко и мужественно державшийся перед лицом подобной опасности, принадлежал, по-видимому, к числу тех натур, для которых быть храбрыми так же естественно и просто, как быть добрыми. Отец любимой женщины никогда не остается нам совсем чужим. Мариус испытывал гордость за незнакомца.

Между тем трое мужчин с голыми руками, про которых Жондрет сказал: «Это трубочисты», вытащили из кучи железного лома: один — громадные ножницы для резки металла, другой — тяжелый лом, третий — молоток и, не проронив ни слова, молча стали в дверях. Старик, дремавший на постели, не тронулся с места и только открыл глаза. Тетка Жондрет уселась подле него.

Мариус решил, что момент для вмешательства наступает, и, подняв правую руку с пистолетом, приготовился стрелять вверх, в сторону коридора.

Жондрет, закончив беседу с человеком, вооруженным дубиной, снова обратился к г-ну Белому и повторил прежний вопрос, сопровождая его своим коротким, негромким и в то же время зловещим смешком.

— Итак, вы меня не узнаете?

— Нет, — ответил г-н Белый, глядя ему прямо в глаза.

Тогда Жондрет подошел вплотную к столу. Наклонившись над свечой, скрестив руки и подавшись насколько можно вперед, он приблизил к спокойному лицу г-на Белого, который при этом даже не пошевельнулся, свои угловатые свирепые челюсти и, застыв в этой позе дикого зверя, приготовившегося укусить, крикнул:

— Я не Фабанту, не Жондрет, я — Тенардье! Я трактирщик из Монфермейля! Слышите? Тенардье! Теперь узнаете меня?

Легкая краска залила лицо г-на Белого, но он сохранил обычную свою невозмутимость и ответил, нисколько не повышая голоса и без малейшей в нем дрожи:

— Не более, чем прежде.

Мариус не расслышал этого ответа. Если бы не темнота, можно было бы видеть, как он растерян, ошеломлен и поражен. Он весь задрожал, когда Жондрет произнес: «Я Тенардье», и прислонился к стене с таким ощущением, будто холодный клинок шпаги пронзил его сердце. Затем его правая рука, готовая уже было дать условный выстрел, медленно опустилась, и в то мгновение, когда Жондрет повторил: «Слышите? Тенардье!», ослабевшие пальцы Мариуса едва не выронили пистолет. Жондрет, открыв, кто он, ничуть не встревожил этим г-на Белого, но глубоко потряс Мариуса. Имя Тенардье, по-видимому, совсем незнакомое г-ну Белому, было хорошо известно Мариусу. Вспомним, что оно означало для него. Это имя, вписанное в отцовское завещание, Мариус носил у сердца, хранил в сокровенных своих мыслях, в глубинах памяти, запечатлевшей строки священного поручения, гласившего: «Один человек, по имени Тенардье, спас мне жизнь. Если моему сыну случится встретиться с ним, пусть он сделает для него все, что может!»

Имя это, как, вероятно, помнит читатель, являлось одной из святынь Мариуса; он боготворил его наравне с именем отца. Неужели это и есть тот самый Тенардье, тот самый монфермейльский трактирщик, которого он так долго и так тщетно разыскивал? Но вот, наконец, он нашел его! И что же! Спаситель отца был разбойником! Человек, которому он, Мариус, горел желанием доказать свою преданность, был чудовищем! Избавитель полковника Понмерси собирался совершить тяжкое преступление — какое именно, Мариус затруднился бы точно определить, но то, что он видел, походило на замышляющееся убийство! И кого замыслили убить, боже милосердный! Какая роковая случайность! Какая горькая насмешка судьбы! Отец из глубины могилы приказывал ему сделать для Тенардье все, что он может; в продолжение четырех лет Мариус жил одной мыслью — как бы заплатить отцовский долг; и вот, в ту самую минуту, когда он хочет помочь правосудию задержать разбойника на месте преступления, судьба кричит ему: «Это Тенардье!» Наконец-то расплатится он с этим человеком за жизнь отца, спасенную под градом пуль в героической битве при Ватерлоо. Но чем? Эшафотом! Он дал себе слово при встрече с Тенардье, если только этой встрече суждено произойти, броситься к его ногам. И вот он встретился с ним, но затем, чтобы выдать палачу! Отец говорил: «Помоги Тенардье!» А он, в ответ на призыв обожаемого, священного голоса, погубит Тенардье! Пусть отец из могилы любуется, как на площади Сен-Жак будут казнить человека, с опасностью для жизни вырвавшего его у смерти, — казнить по милости его сына, того самого Мариуса, которому он завещал заботиться об этом человеке! И разве не насмешка над самим собой — так долго носить на груди последнюю волю отца, собственноручно им написанную, чтобы потом самым кощунственным образом поступить вопреки ей! Но, с другой стороны, можно ли видеть, как затевается злодеяние, и не помешать ему? Неужели нужно предать жертву и пощадить убийцу? Можно ли считать себя обязанным какой-либо признательностью к столь презренному негодяю? Этот неожиданный удар произвел, можно сказать, полный переворот в мыслях Мариуса, которыми он жил в течение четырех лет. Его охватил ужас. Все зависело теперь только от него. Он держал в руках судьбу всех этих людей, которые, ничего не подозревая, суетились тут перед ним. Если он выстрелит, то спасет г-на Белого и погубит Тенардье; если не станет стрелять, г-н Белый окажется жертвой, а Тенардье, быть может, и ускользнет. Столкнуть ли в пропасть одного, не мешать ли падению другого? Совесть восставала против обоих решений. Как же быть? На чем остановиться? Изменить ли самым властным воспоминаниям, самым глубоким обязательствам перед самим собой, самому священному долгу, самым святым письменам? Изменить ли заветам отца, или дать совершиться преступлению? Мариусу казалось, что, с одной стороны, он слышит голос «своей Урсулы», умолявшей за отца, с другой — голос полковника, препоручающего ему Тенардье. Он чувствовал, что сходит с ума. У него подкашивались колени, а сцена, происходившая перед его глазами, разыгрывалась с такой бешеной стремительностью, что раздумывать было некогда. Его, словно вихрем, закружили события, которыми ранее он предполагал распоряжаться. Он почти терял сознание.

Между тем Тенардье — впредь мы уже не будем называть его иначе — в каком-то исступлении расхаживал взад и вперед у стола, предаваясь буйному ликованию.

Схватив всей пятерней подсвечник, он с такой силой опустил его на камин, что свеча едва не погасла, а сало брызнуло на стену.

Затем с угрожающим видом он повернулся к г-ну Белому и зарычал:

— Проигрались, промотались, проторговались! В лоск!

И снова принялся шагать, выкрикивая, как одержимый:

— Ага, наконец-то вы мне попались, господин филантроп! Господин нищий мильонщик! Господин даритель кукол! Старый разиня! Так вы меня не узнаете? Значит, это не вы приходили ко мне в трактир в Монфермейле восемь лет тому назад, в сочельник тысяча восемьсот двадцать третьего года? Не вы увели с собой ребенка Фантины, Жаворонка? Значит, не на вас был желтый редингот? Скажете — нет? И не у вас был в руках сверток с тряпьем, точь-в-точь как нынче утром, когда вы явились сюда? Нет, ты только послушай, жена! Видно, такая уж у него придурь — таскать по домам свертки, набитые шерстяными чулками! Тоже благодетель нашелся! Не чулочная ли у вас торговля случайно, господин мильонщик? Вы раздаете, стало быть, все запасы товара из своей лавки беднякам, святоша?! Шут вы гороховый! Так вы меня не узнаете? Зато я узнаю! Я вас сразу узнал, только вы сунули сюда свое рыло. Теперь-то, наконец, вы увидите, что не всегда проходит даром забираться в приличные дома под предлогом, что это, мол, трактир, и жалким своим платьем и нищим видом, с каким только гроши собирают, морочить порядочных людей, прикидываться щедрым, отнимать у человека его заработок да еще потом стращать в лесу. Вы увидите, что, разорив людей, от них не отделаться рединготом со своего плеча да двумя дрянными больничными одеялами! У-у, старый бродяга, похититель детей!

Он на минуту остановился, казалось, что-то бормоча про себя. Его гнев напоминал бурное течение Роны, вдруг исчезающее в какой-нибудь расщелине; затем, словно заканчивая вслух разговор с самим собой, он стукнул по столу кулаком и воскликнул:

— Да при этом еще корчить праведника!

И снова обратился к г-ну Белому:

— Когда-то вы надо мной насмеялись, провались вы пропадом! Вы причина всех моих несчастий! За полторы тысячи франков вы получили девчонку, что жила у меня, а она была, наверно, из богатого семейства. Я уже успел нажить на ней изрядные денежки и мог бы вытянуть еще столько, что хватило бы по гроб жизни! Девчонка покрыла бы все убытки от проклятого этого кабака, на котором, черта с два, попробуй заработай и на который я ухлопал, как дурак, все свое добро! Эх, от души желаю, чтобы вино, выпитое там у меня, превратилось в яд для тех, кто его пил! Ну, да не об этом речь. Признайтесь, я вам казался очень смешным, когда вы ушли от меня, забрав с собой Жаворонка! В лесу при вас была дубинка. Тогда на вашей стороне была сила. Теперь моя взяла. Теперь козыри у меня! Дело ваше дрянь, старина. Право, меня смех разбирает, на него глядя! Простофиля! Я ему наплел, будто я актер, зовусь Фабанту, будто играл в комедиях с мадемуазель Марс, — подумайте только, с самой мадемуазель Шептуньей! — будто домовладелец требует с меня завтра, четвертого февраля, за квартиру, а ему, круглому болвану, и невдомек, что срок платежа бывает восьмого января, а никак не четвертого февраля! Он тащит мне свои поганые четыре монеты, подлец! Духу не хватило даже на сто франков раскошелиться! Уши развесил, слушая мою чепуху! Умора! А я про себя думал: «Врешь, не уйдешь, ворона! Не смотри, что утром я лижу тебе лапы. Наступит вечер, вгрызусь тебе в сердце!»

Тенардье умолк. Он задыхался. Его щуплая, узкая грудь ходила ходуном, раздуваясь, как кузнечные мехи. В глазах его светилось гаденькое счастье слабого, жестокого и подлого существа, радующегося, что наконец-то оно может угрожать тому, кого боялось, и оскорблять того, кому льстило, — счастье, с каким карлик попирал бы голову Голиафа, счастье, с каким шакал терзал бы больного, полумертвого быка, уже неспособного защищаться, но еще способного страдать.

Господин Белый не прерывал Тенардье. Когда же тот замолчал, он проговорил:

— Я не понимаю, что вы хотите сказать. Вы заблуждаетесь. Я человек очень бедный и какой уж там миллионер. Я вас не знаю. Вы меня принимаете за кого-то другого.

— Ага! — захрипел Тенардье. — Старая песня! Продолжаете в том же духе! Совсем заврались, старина! Ага, вы меня не помните? Не видите, кто я?

— Прошу извинения, сударь, — ответил г-н Белый вежливым тоном, прозвучавшим в такую минуту необычно и внушительно, — я вижу, что вы бандит.

Кому не доводилось замечать, что даже самые мерзкие люди по-своему самолюбивы; чудовища не лишены чувствительности. При слове «бандит» жена Тенардье соскочила с постели, а сам он с такой силой схватил стул, словно намеревался изломать его в щепки. «Эй ты, не суйся!» — крикнул он жене и, повернувшись к г-ну Белому, разразился следующей тирадой:

— Бандит! Да, я знаю, что вы, господа богачи, так нас именуете. Ничего не скажешь, правильно! Если я разорился, скрываюсь, сижу без куска хлеба, без гроша, — значит, бандит! Вот уже три дня, как у меня во рту крошки не было. Конечно, я бандит! Зато у всех вас ноги в тепле, на вас сапожки от Сакосского, рединготы, подбитые ватой, как на архиепископах; вы квартируете в бельэтажах, в домах с привратниками, кушаете трюфели, лакомитесь спаржей в январе, когда ей цена сорок франков пучок, да зеленым горошком, обжираетесь, а ежели захотите узнать, холодно ли на улице, справляетесь в газете, что показывает термометр инженера Шевалье. Ну, а наш брат — сам себе термометр! Нам нет надобности бегать на набережную к Часовой башне смотреть, сколько градусов мороза; мы чувствуем, как кровь стынет в жилах, как леденеет сердце, и говорим: «Нет бога». И вы изволите посещать наши трущобы, именно трущобы, и обзывать нас бандитами! Но мы вас съедим, проглотим, голубчиков! Так знайте же, господин мильонщик, я был человеком с положением, имел патент, был избирателем, я буржуа! А вот вы — еще неизвестно, кто вы такой!

Тут Тенардье подошел к людям, стоящим у двери, и, дрожа от гнева, добавил:

— Подумать только! Он осмелился разговаривать со мной так, точно перед ним какой-нибудь сапожник!

Затем, адресуясь к г-ну Белому, с еще большим бешенством продолжал:

— И запомните также, господин филантроп, что я не какая-нибудь подозрительная личность, не какой-нибудь безродный человек. Я не шляюсь по домам и не увожу детей! Я старый французский солдат, меня должны были представить к ордену! Я дрался при Ватерлоо, да, да! Я спас в этом сражении генерала, какого-то, сам уж не помню какого, графа. Он назвал мне свою фамилию, но голос у него чертовски ослабел, и я ее не расслышал. Я разобрал только *мерси*. Но мне важнее было его имя, чем его мерси. Оно помогло бы мне разыскать его. А знаете, кого изображает вот эта картина, написанная Давидом в Брюсселе? Меня. Давид пожелал увековечить сей воинский подвиг. Взвалив на спину генерала, я уношу его под картечью. Вот как обстояло дело. Он же ровно ничего никогда для меня не сделал, этот самый генерал, он был не лучше других! И все-таки я спас ему жизнь с риском для собственной жизни, у меня полны карманы всяких бумажек, которые подтверждают это. Я солдат Ватерлоо, тысяча чертей! А теперь, раз уж я сделал вам милость и рассказал всю эту историю, давайте кончать. Мне нужны деньги, много денег, уйма денег! А не дадите, погублю, провались я на этом месте!

Мариус уже несколько справился со своим волнением и слышал слова Тенардье. Последние основания для сомнений исчезли. Перед ним был тот самый Тенардье, о котором упоминалось в завещании. Мариус задрожал, услыхав упрек в неблагодарности, брошенный по адресу отца, ведь он едва не оправдал этот упрек, и столь роковым образом. Это повергло его в еще большую тревогу. Впрочем, во всех речах Тенардье, в его тоне, жестах, во взгляде, метавшем пламя при каждом слове, в этих вспышках распоясавшейся подлой натуры, в этой смеси бахвальства и унижения, гордости и низости, злобы и тупости, в этом хаосе подлинных обид и наигранных чувств, в этой наглости злодея, который сладострастно упивался совершаемым насилием, в этой бесстыдной наготе уродливой души, в этом взрыве человеческих страданий и ненависти, слитых воедино, — во всем этом было нечто столь же отвратительное, как само зло, и столь же мучительное, как сама правда.

Читатель, вероятно, уже догадался, что произведение кисти знаменитого мастера, картина Давида, которую Тенардье предлагал г-ну Белому купить у него, было просто вывеской его трактира, им же самим, как мы помним, нарисованной, — единственным обломком, уцелевшим от монфермейльского крушения.

Поскольку Тенардье не загораживал больше Мариусу поле зрения, последний мог теперь рассмотреть картину. Эта пачкотня действительно изображала сражение в облаках дыма и человека, несущего на себе раненого. Группа должна была представлять Тенардье и Понмерси, спасителя-сержанта и спасаемого полковника. Мариус смотрел, будто опьяненный; эта картина словно оживляла перед ним отца; он видел уже не вывеску монфермейльского кабака, а воскрешение из мертвых, полуразверстую могилу и восстающий из гроба призрак. В висках у Мариуса стучало, в ушах ревели пушки Ватерлоо, образ истекающего кровью отца, неясно выписанный на этом мрачном холсте, пугал его, и ему казалось, что бесформенный силуэт пристально глядит на него.

Между тем Тенардье, отдышавшись и уставив на г-на Белого свои налитые кровью глаза, негромко и отрывисто спросил:

— Желаешь что-нибудь сказать перед последним угощеньем?

Господин Белый молчал. Среди наступившей тишины кто-то надтреснутым голосом бросил из коридора следующую полную зловещего смысла остроту:

— Кому наколоть дров? Я готов!

То была шутка человека с топором.

И тотчас в дверях, с отвратительным смехом, обнажавшим не зубы, а клыки, показалась огромная, обросшая щетиной, осклабленная физиономия землистого цвета.

То была физиономия человека с топором.

— Ты зачем скинул маску? — в бешенстве заорал на него Тенардье.

— Чтобы посмеяться, — ответил человек.

Уже несколько минут, как г-н Белый внимательно следил за каждым движением Тенардье, а тот, ослепленный яростью, ничего не замечая, шагал взад и вперед по своей берлоге, с полной уверенностью, что дверь охраняется, что он, вооруженный, имеет дело с безоружным, что их девять против одного, если даже считать тетку Тенардье только за одного мужчину. Делая выговор человеку с топором, он повернулся спиной к г-ну Белому.

Господин Белый воспользовался этим мгновением, оттолкнул ногой стул, кулаком — стол, и, прежде чем Тенардье успел повернуться, он с изумительным проворством, одним прыжком, очутился у окна. Открыть окно, вскочить на подоконник и перекинуть через него ногу было делом минуты. Он был уже наполовину снаружи, когда шесть крепких ручищ схватили его и сильным рывком втащили назад в логово. Это сделали три ринувшихся на него «трубочиста». Тетка Тенардье тут же вцепилась ему в волосы.

На шум из коридора сбежались остальные бандиты. Старик, лежавший на постели и казавшийся навеселе, слез с койки, вооружился молотом каменщика и, покачиваясь, тоже подошел к ним.

Один из «трубочистов», на размалеванное лицо которого падал свет от свечи и в котором, несмотря на сажу, Мариус узнал Крючка, прозываемого также Весенним, а также Гнусом, занес над головой г-на Белого железный брусок со свинцовыми набалдашниками на обоих концах, напоминавший палицу.

Этого Мариус уже не мог выдержать: «Прости меня, отец!» — мысленно прошептал он и пальцем нащупал курок пистолета. Но выстрел еще не успел грянуть, как послышался окрик Тенардье:

— Не троньте его!

Отчаянная попытка жертвы спастись подействовала на Тенардье скорее успокаивающим, нежели раздражающим образом. Два человека жило в нем: жестокий и расчетливый. До сих пор, в упоении победой перед поверженной и недвижимой жертвой, главенствовал жестокий; теперь же, когда добыча начала сопротивляться и обнаружила желание бороться, в нем проснулся и взял верх человек расчетливый.

— Не троньте его! — повторил он. И, сам того не подозревая, сразу же добился успеха, остановив готовый выстрелить пистолет и удержав Мариуса, который, при изменившейся обстановке, решил, что можно еще повременить. Кто знает, а вдруг счастливая случайность избавит его от мучительного выбора: дать ли погибнуть отцу Урсулы, или погубить человека, спасшего полковника.

Между тем завязалась исполинская борьба. Ударом кулака в грудь г-н Белый отбросил старика, и тот откатился на середину комнаты, потом двумя ударами наотмашь свалил двух других нападавших и прижал их коленями, под тяжестью которых негодяи хрипели, словно под жерновами; но четверо остальных схватили грозного старика за руки, обхватили за шею и пригнули его к повергнутым на землю «трубочистам». И теперь, одолев одних и одолеваемый другими, придавив нижних и задыхаясь под грузом тех, что были сверху, тщетно отбиваясь от теснивших его врагов, г-н Белый исчез под этой омерзительной кучей убийц, как вепрь под воющей сворой догов и ищеек.

Наконец им удалось опрокинуть его на кровать, стоявшую ближе к окну, где они оставили его лежать, держа под угрозой нового нападения. Но тетка Тенардье так и не выпустила из своих рук его волос.

— Тебе нечего в это путаться, — прикрикнул на нее Тенардье. — Еще шаль порвешь.

Она повиновалась с рычаньем, как волчица волку.

— Обыскать его, ребята, — приказал Тенардье.

Господин Белый решил, по-видимому, больше не оказывать сопротивления. Его обыскали. Кроме кожаного кошелька с шестью франками и носового платка, при нем ничего не оказалось.

Тенардье положил платок к себе в карман.

— Неужели нет бумажника? — спросил он.

— Ни бумажника, ни часов, — ответил кто-то из «трубочистов».

— Неважно, — пробормотал голосом чревовещателя человек в маске, который держал в руке большой ключ. — Что и говорить, неподатливый старик!

Тенардье подошел к дверям, взял в углу связку веревок и бросил бандитам.

— Привяжите его в ногах кровати, — приказал он. И, заметив неподвижно лежащего посреди комнаты старика, сбитого ударом г-на Белого, спросил: — Что, Башка помер?

— Нет, пьян, — ответил Гнус.

— Оттащите его в угол, — распорядился Тенардье.

Двое «трубочистов» ногами подтолкнули пьяницу к куче железного лома.

— Зачем ты привел столько народу, Бабет? — тихо спросил Тенардье у человека с дубиной. — Этого не требовалось.

— Не отвяжешься от них, — ответил человек с дубиной. — Все захотели участвовать. Времена плохие. Дела не делаются.

Кровать, на которую был брошен г-н Белый, представляла собой нечто вроде больничной койки на четырех грубо обтесанных деревянных ножках. Г-н Белый не сопротивлялся разбойникам. Они поставили его на землю и крепко привязали к спинке той из кроватей, что находилась дальше от окна и ближе к камину.

Когда последний узел был затянут, Тенардье взял стул и уселся почти напротив г-на Белого. Тенардье уже не походил больше на самого себя, в одно мгновение дикая ярость на его лице сменилась спокойным, кротким и лукавым выражением. Под услужливой чиновничьей улыбкой Мариус с трудом узнавал только что пенившуюся злобой звериную его пасть. Он с изумлением следил за этой фантастической и подозрительной метаморфозой, испытывая то чувство, какое должен испытывать человек, на глазах которого насильник вдруг превратился бы в любезного ходатая по делам.

— Сударь, — начал было Тенардье.

Но тотчас остановился и сделал разбойникам, все еще не отпускавшим г-на Белого, знак удалиться.

— Отойдите немножко. Дайте мне переговорить с господином, — сказал он.

Все отошли к дверям. Тенардье снова заговорил:

— Сударь, зря вы это вздумали прыгать в окошко. Этак можно и ноги себе сломать. А теперь, если не возражаете, потолкуем спокойно. Прежде всего я хочу поделиться с вами одним своим наблюдением: я заметил, что вы еще ни разу не крикнули.

Тенардье был прав. Это соответствовало действительности, хотя и ускользнуло от внимания взволнованного Мариуса. За все время г-н Белый едва произнес несколько слов, не возвышая голоса, и даже во время борьбы у окна с шестью бандитами хранил самое глубокое и самое странное молчание. Тенардье продолжал:

— Да разве бы я нашел это неуместным, господи боже мой, если бы вы крикнули, например: «Грабят, режут!» При известных обстоятельствах обычно кричат «караул», и, уверяю вас, я не истолковал бы это дурно. Можно ведь немножко пошуметь, когда попадаешь в общество людей, не совсем внушающих доверие. Никто не стал бы вам мешать. Даже рта бы вам не заткнули. А почему, сейчас объясню. Дело в том, что из этой комнаты очень плохо слышно. Вот единственно, что в ней есть хорошего, но уж этого от нее не отнимешь. Настоящий погреб. Взорвись здесь бомба, на соседней караульне подумали бы, что храпит пьяница. Отсюда пушечный выстрел донесся бы не более как «бум!», а гром как «трах!». Удобное помещеньице. Впрочем, вы не кричали, с чем вас и поздравляю. Тем лучше. Позвольте же сообщить вам, какое именно я отсюда делаю заключение. Скажите, любезный, кто является, когда зовут на помощь? Полиция, не правда ли? А за полицией? Юстиция. Но вы не звали на помощь, значит, вам, как и нам, не такая уж охота встречаться с полицией и юстицией. Значит, вам, как я уже давно заподозрил, некоторым образом важно кое-что скрывать. Нам, со своей стороны, тоже это важно — стало быть, можно договориться.

Произнося эти слова, Тенардье не сводил глаз с г-на Белого, как будто желая проникнуть острым своим взглядом в самую глубину души пленника. Тем не менее речь его, несмотря на оттенок скрытой, сдержанной наглости, была осторожна и почти изысканна; в этом негодяе, за минуту до того бывшем всего только разбойником, чувствовался человек, который «готовился в священники».

Надо сказать, что молчание пленника — эта необычайная осмотрительность, граничившая с пренебрежением к жизни, это упорство, с каким он подавлял в себе первое, естественное желание позвать на помощь, все эти обстоятельства, теперь, когда Мариус это заметил, были ему крайне неприятны и вызывали у него мучительное чувство недоумения.

Вполне обоснованные замечания Тенардье еще больше сгустили таинственный мрак, окутывавший суровую и странную фигуру, получившую от Курфейрака прозвище г-на Белого. Впрочем, как бы то ни было, но и связанный веревками, окруженный палачами, находясь, так сказать, наполовину в могиле и с каждым мгновением все глубже туда опускаясь, испытуемый то яростью, то вкрадчивостью Тенардье, человек этот оставался невозмутимым; и Мариус не мог не восхищаться в эту минуту его лицом, хранившим выражение гордой печали.

Несомненно, это была душа, недоступная страху, не ведающая растерянности. Это был один из тех людей, которые умеют владеть собою даже в самом безвыходном положении. Как ни грозен был момент, как ни страшна и неизбежна катастрофа, здесь ничто не напоминало агонию утопающего и тот ужас, которым полон взгляд его широко открытых под водою глаз.

Тенардье непринужденно поднялся со своего места, подошел к камину и отодвинул ширмы, прислонив их к стоявшей рядом кровати. Открылась жаровня, полная пылающих угольев, среди которых пленнику было отчетливо видно раскаленное добела долото, усеянное пурпурными искрами.

Затем Тенардье снова подсел к г-ну Белому.

— Итак, последуем дальше, — сказал он. — Мы можем договориться. Закончим дело полюбовно. Я виноват, признаюсь, я слишком погорячился, хватил через край, не знаю, где у меня только голова была, я наговорил всякого вздору. На том основании, что вы мильонщик, я заявлял, например, что требую денег, много денег, уйму денег. Это неправильно. Пусть вы богаты, но у вас свои расходы; господи боже мой, у кого их нет? Я вовсе не хочу вас разорять, не обирала ведь я в самом деле какой-нибудь. Я не из тех людей, которые слишком злоупотребляют выгодами своего положения и остаются в конце концов в дураках. Послушайте, я готов приложить свое, я согласен пойти на уступки. Мне нужно только двести тысяч франков.

Господин Белый не проронил ни слова. Тенардье продолжал:

— Как видите, я лишнего не запрашиваю. Мне неизвестен размер вашего капитала, но я знаю, что деньги для вас ничто. И такому благотворителю, как вы, конечно, ничего не стоит дать двести тысяч франков несчастному отцу семейства. Впрочем, вы сами человек рассудительный и, конечно, не думаете, что я положил столько труда на это дельце и так здорово, по мнению вот этих господ, его наладил, только для того, чтобы попросить у вас на бутылочку красного да порцию жаркого и сходить разок поужинать у Денуайе. Двести тысяч франков — вот моя цена. Это сущие пустяки. А как только денежки вылетят из вашего кармана, на том, ручаюсь, все и кончится. Никто вас и пальцем не тронет. Вы можете возразить: «Помилуйте, да при мне нет двухсот тысяч франков». О, я не ставлю невыполнимых условий! Этого и не требуется. Я прошу вас только об одном, не откажите в любезности написать то, что я вам продиктую.

Тут Тенардье прервал свою речь и, помолчав немного, добавил, нарочито подчеркивая каждое слово и поглядывая с многозначительной усмешкой на жаровню:

— Предупреждаю, никаких отговорок насчет неграмотности я слушать не буду.

Сам великий инквизитор мог бы позавидовать этой усмешке.

Тенардье придвинул стол вплотную к г-ну Белому, вынул из ящика чернила, перо и лист бумаги, оставив ящик полуоткрытым; там блестело длинное лезвие ножа.

Лист он положил перед г-ном Белым.

— Пишите, — сказал он.

Тут, наконец, заговорил и пленник:

— Как же вы хотите, чтобы я писал? Я привязан.

— Совершенно верно, вы правы. Извините! — ответил Тенардье.

И, обратившись к Крючку, прозываемому также Весенним, а также Гнусом, приказал:

— Развяжите господину правую руку.

Крючок, он же Весенний, он же Гнус, выполнил приказание Тенардье. Когда правая рука пленника была освобождена, Тенардье обмакнул перо в чернила и подал ему.

— Советую хорошенько запомнить, сударь, — сказал он, — что вы в полной нашей власти, в полном нашем распоряжении, что никакая человеческая сила уже не вырвет вас отсюда и что мы будем поистине огорчены, если нас вынудят прибегнуть к крайним и неприятным мерам. Я не знаю ни вашего имени, ни адреса, но предупреждаю, что вас не развяжут до тех пор, пока не воротится особа, которой будет поручено отвезти ваше письмо. А теперь соблаговолите писать.

— Что же я должен писать? — спросил пленник.

— Я продиктую.

Господин Белый взял перо.

Тенардье стал диктовать:

— «Дочь моя...»

Пленник вздрогнул и вскинул глаза на Тенардье.

— Напишите: «Дорогая моя дочь», — продолжал Тенардье.

Г-н Белый повиновался.

— «...приезжай немедленно...»

Он приостановился:

— Ведь вы говорите ей «ты», не правда ли?

— Кому? — спросил г-н Белый.

— Ну девчонке, Жаворонку, черт побери!

— Я не понимаю, что вы хотите сказать, — ответил г-н Белый без малейших признаков волнения.

— Пишите, пишите, — оборвал его Тенардье и снова принялся диктовать: — «Приезжай немедленно. Ты мне крайне нужна. Особе, которая передаст тебе настоящую записку, поручено доставить тебя ко мне. Жду тебя. Приезжай не раздумывая».

Господин Белый написал все, что ему было продиктовано. Но Тенардье не успокоился:

— Нет, вычеркните: «приезжай не раздумывая»; она может заподозрить, что тут не все ладно и что есть основания раздумывать.

Господин Белый зачеркнул эти три слова.

— А теперь, — продолжал Тенардье, — подпишитесь. Как вас зовут?

Пленник положил перо и спросил:

— Кому предназначается это письмо?

— Вы сами прекрасно знаете. Девчонке. Вам уже это сказано.

Тенардье явно избегал называть по имени девушку, о которой шла речь. Он говорил: «Жаворонок», «девчонка», но имени ее не произносил. Это обычная предосторожность жулика, старающегося скрыть от сообщников свою тайну. Назвать имя означало бы раскрыть им все «дело» и дать возможность узнать о нем больше, чем им надлежало знать.

— Подпишитесь. Как вас зовут? — повторил он.

— Урбен Фабр, — сказал пленник.

Тенардье кошачьим движением быстро запустил руку в карман и вытащил носовой платок, отобранный у г-на Белого. Отыскав метку, он поднес платок к свече.

— У. Ф. Так, подходит. Урбен Фабр. Ну, ставьте подпись «У. Ф.».

Пленник поставил подпись.

— Одной рукой письма не сложить, — сказал Тенардье. — Давайте я сложу. Пишите адрес: «Мадемуазель Фабр», на вашу квартиру. Я знаю, что вы живете неподалеку отсюда, где-то близ церкви Сен-Жак-дю-О-Па, так как ходите туда каждый день к обедне, но на какой улице, не знаю. Я вижу, что вы поняли свое положение. А раз уж вы не скрыли настоящего своего имени, надо думать, не скроете и адреса. Напишите его сами.

Пленник на минуту задумался, затем взял перо и написал:

«Мадемуазель Фабр у г-на Урбена Фабра на улице Сен-Доминик-д’Анфер, № 17».

Тенардье с какой-то лихорадочной поспешностью схватил письмо.

— Жена! — позвал он.

Она подбежала.

— Вот письмо. Что с ним делать, ты знаешь. Фиакр ждет внизу. Сейчас же поезжай и живо назад.

И, обращаясь к человеку с топором, распорядился:

— А ты, если уж не хочешь ходить ряженым, проводишь хозяйку. Сядешь на запятки. Хорошо помнишь, где поставил повозку?

— Помню, — ответил тот.

И, поставив свой топор в угол, он последовал за теткой Тенардье.

Не успели они выйти, как Тенардье, просунув голову в полуоткрытую дверь, крикнул в коридор:

— Главное, не потеряй письма! Не забудь, что везешь двести тысяч франков.

— Не беспокойся. Оно у меня за пазухой, — отвечал сиплый голос супруги.

Не прошло и минуты, как послышалось щелканье кнута; оно становилось все тише и вскоре совсем заглохло.

— Отлично, — пробормотал Тенардье. — Здорово гонят. Таким галопом хозяйка в три четверти часа обернется.

Он придвинул стул к камину и сел, скрестив руки и приблизив к жаровне подошвы своих грязных сапог.

— Ноги у меня совсем окоченели, — сказал он.

Теперь, кроме Тенардье и пленника, в трущобе оставалось лишь пятеро бандитов. Хотя лица их были скрыты под масками или под черным клеем, что, в зависимости от степени внушаемого страха, делало их похожими на угольщиков, негров или чертей, люди эти казались угрюмыми и сонными. Чувствовалось, что они совершают преступление как бы по обязанности, не спеша, без злобы, без жалости, с какой-то неохотой. Словно скот, они сгрудились в углу и притихли. Тенардье грел ноги. Пленник снова погрузился в молчание. Мрачная тишина сменила дикий шум, наполнявший несколько минут до того логово Тенардье.

Нагоревшая свеча едва освещала огромное грязное жилье, уголья в жаровне потускнели, и уродливые головы бандитов отбрасывали на стены и потолок чудовищные тени.

Слышалось только мирное посапывание спящего в углу пьяного старика.

Мариус ждал, охваченный все возрастающей тревогой. Загадка стала теперь еще непостижимее. Кто же она, «эта девчонка», которую Тенардье называл также «Жаворонком»? Уж не его ли «Урсула»? Пленник, казалось, нисколько не смутился при слове «Жаворонок» и ответил совершенно просто: «Я не понимаю, что вы хотите сказать». Наряду с этим нашли свое объяснение буквы У и Ф: они означали «Урбен Фабр», и Урсула уже перестала, таким образом, быть Урсулой. Последнее особенно отчетливо врезалось в сознание Мариуса. Словно какие-то страшные чары приковали его к месту, откуда он мог наблюдать за всей сценой. Он стоял там, почти неспособный двигаться и мыслить, как бы уничтоженный зрелищем подлости, открывшимся в такой непосредственной близости от него. Он ждал, надеясь на что-то, сам не зная на что, не в силах собраться с мыслями и принять какое-либо решение.

«Во всяком случае, — думал он, — если Жаворонок — это она, я, конечно, увижу ее, так как жена Тенардье должна привезти ее сюда. А тогда решено: если понадобится, я не пощажу ни жизни, ни своей крови, но освобожу ее! Я ни перед чем не остановлюсь».

Так прошло около получаса. Тенардье, казалось, был поглощен какими-то угрюмыми размышлениями. Пленник застыл в неподвижной позе. Между тем Мариусу уже несколько минут слышался по временам как бы легкий заглушенный звук, доносившийся оттуда, где находился пленник.

— Господин Фабр, — вдруг обратился к пленнику Тенардье. — Запомните хорошенько то, что я сейчас скажу.

Эта краткая фраза походила на начало объяснения. Мариус насторожился.

— Потерпите немного, — продолжал Тенардье. — Жена моя скоро вернется. Я думаю, что Жаворонок — на самом деле ваша дочь, и нахожу в порядке вещей, чтобы она оставалась с вами. Только вот какое дело. Жена поехала за нею с вашим письмом. Я велел жене принарядиться так, чтобы ваша барышня без опаски отправилась с ней, вы это видели. Обе они сядут в фиакр, приятель мой станет на запятки. За заставой, в одном местечке, поджидает повозка, запряженная парой добрых коней. Туда-то и доставят вашу барышню. Там она выйдет из фиакра. Приятель посадит ее вместе с собой в повозку, а жена вернется к нам и доложит: «Все сделано». Что касается вашей барышни, то никакого зла ей не причинят, повозка отвезет ее туда, где ей будет спокойно, и как только вы выложите эти несчастные двести тысяч, вам ее вернут. Если же по вашей милости меня арестуют, приятель уберет Жаворонка. Вот и все.

Пленник не проронил ни слова. Тенардье после небольшой паузы продолжал:

— Как видите, все очень просто. Ничего дурного не случится, если вы сами этого не захотите. Я вам для того все и рассказываю. Я предупреждаю вас о том, как обстоит дело.

Он остановился, но пленник не нарушал молчания, и Тенардье снова заговорил:

— Как только супруга моя вернется и подтвердит, что Жаворонок находится в пути, мы вас отпустим, и вы можете беспрепятственно идти домой ночевать. Вы видите, что дурных намерений у нас нет.

Потрясающие картины проносились в воображении Мариуса. Как! Разве похищенную девушку не привезут сюда? Одно из этих чудовищ потащит ее куда-то в ночной мрак? Но куда?.. А вдруг это она? А что это была она, он не сомневался. Мариус чувствовал, как сердце его перестает биться в груди. Что делать? Выстрелить? Отдать в руки правосудия всех этих негодяев? Но это не помешает страшному человеку с топором, увозящему девушку, остаться вне пределов досягаемости. Мариусу вспомнились слова Тенардье, и ему приоткрылся их кровавый смысл: *«Если же по вашей милости меня арестуют, приятель уберет Жаворонка».*

Теперь он чувствовал, что его удерживают не только заветы полковника, но и любовь, а также опасность, нависшая над любимой.

Это ужасное положение длилось уже больше часа, поминутно рисуя ему все происходившее в новом свете. Мариус имел мужество последовательно перебрать все самые страшные возможности, которыми оно грозило, стараясь отыскать выход, но так и не нашел его. Возбуждение, царившее в его мыслях, составляло резкий контраст с могильной тишиной притона.

Стук открывшейся и вновь захлопнувшейся наружной двери нарушил эту тишину.

Связанный пленник пошевельнулся.

— А вот и хозяйка, — сказал Тенардье. Не успел он договорить, как в комнату действительно ворвалась тетка Тенардье, вся красная, задыхающаяся, запыхавшаяся, с горящим взглядом и, хлопнув себя толстыми руками по бедрам, завопила:

— Фальшивый адрес!

Вслед за ней появился бандит, которого она возила с собой, и поспешил снова схватить свой топор.

— Фальшивый адрес? — повторил за ней Тенардье.

— Никого! На улице Сен-Доминик, в доме номер семнадцать, никакого господина Урбена Фабра нет! Там никто такого и не знает! — продолжала она.

Затем остановилась, чтобы перевести дыхание, и сейчас же опять заговорила:

— Эх ты, господин Тенардье! Ведь старик-то тебя околпачил! Ты, видишь ли, слишком добр! На твоем месте я прежде всего дала бы ему хорошенько по роже для острастки, а стал бы упираться — живьем бы изжарила! Надо было его заставить открыть рот, сказать, где девчонка и куда он запрятал свою кубышку! Вот как бы я, доведись это мне, повела дело! Недаром говорят, что мужчины куда глупее женщин! В доме семнадцать — никого! Это дом с большими воротами. Никакого господина Фабра на улице Сен-Доминик нет! А я-то мчусь очертя голову, а я-то бросаю на водку кучеру и все такое! Расспрашивала я и привратника и привратницу, женщину очень толковую, они о нем и слыхом не слыхали!

Мариус облегченно вздохнул. Она, Урсула или Жаворонок, — та, имени которой он теперь не сумел бы уже назвать, — была спасена.

Между тем как жена продолжала исступленно вопить, Тенардье уселся на стол. Покачивая свисавшей правой ногой, он несколько минут молча, со свирепым и задумчивым видом, глядел на жаровню.

Наконец, обернувшись к пленнику, он медленно, с каким-то злобным клокотанием в голосе, спросил:

— Фальшивый адрес! На что же ты, собственно говоря, надеялся?

— Выиграть время! — крикнул в ответ пленник. В то же мгновение он сбросил с себя веревки; они были перерезаны. Теперь пленник оставался привязанным к постели только за одну ногу.

Прежде чем кто-либо из всех семерых успел опомниться и кинуться к нему, он нагнулся над камином, протянул руку к жаровне и снова выпрямился; Тенардье, его жена и бандиты отпрянули в глубь логова и оцепенели от ужаса, увидев, как он, почти свободный от уз, в грозной позе, поднял над головой раскаленное докрасна долото, светившееся зловещим светом.

Судебное расследование, произведенное впоследствии по делу о злоумышлении в лачуге Горбо, установило, что при полицейской облаве в мансарде была обнаружена монета в два су, особым образом разрезанная и отделанная. Эта монета являлась одной из диковинок ремесленного мастерства каторги, порождаемого ее терпением во мраке и для мрака, — одной из тех диковинок, которые представляют собой не что иное, как орудие побега. Эти отвратительные и в то же время тончайшие изделия изумительного искусства занимают в ювелирном деле такое же место, какое метафоры воровского арго в поэзии. На каторге существуют свои Бенвенуто Челлини, совершенно так же, как в языке — Вийоны. Несчастный, жаждущий освободиться, умудряется иной раз даже без всякого инструмента, с помощью какого-нибудь ножичка или старого токарного долота, распилить су на две тонкие пластинки, выскоблить их, не повредив чекана, и сделать по ребру нарезы, чтобы можно было снова соединять пластинки. Монета по желанию завинчивается и развинчивается; это — коробочка. В нее прячут часовую пружинку, а часовая пружинка в умелых руках перепиливает цепи любой толщины и железные решетки. Глядя на этого бедного каторжника, мы полагаем, что он обладает одним только су. Ничуть не бывало, он обладает свободой. Такую-то монету стоимостью в два су, обе отвинченные половинки которой валялись под кроватью у окна, и нашли при последующих полицейских обысках в логове Тенардье. Равным образом была обнаружена и маленькая стальная пилка голубого цвета, умещавшаяся в монете. Когда бандиты обыскивали пленника, монета, вероятно, была при нем, но ему удалось спрятать ее в руке, а как только ему освободили правую руку, он развинтил монету и воспользовался пилкой, чтобы перерезать веревки, которыми был привязан. Этим объясняются и легкий шум и едва уловимые движения, замеченные Мариусом.

Боясь нагнуться, чтобы не выдать себя, пленник не перерезал пут на левой ноге.

Между тем бандиты вскоре опомнились от первого испуга.

— Не беспокойся, — обращаясь к Тенардье, сказал Гнус, — одна нога у него еще привязана, и ему не уйти. Могу поручиться. Эту лапу я сам ему затянул.

Но тут возвысил голос пленник:

— Вы подлые люди, но жизнь моя не стоит того, чтобы так уж за нее бороться. А если вы воображаете, что меня можно заставить говорить, заставить писать то, чего я не хочу говорить и чего не хочу писать, то...

Он засучил рукав на левой руке и прибавил:

— Вот, глядите!

С этими словами он вытянул правую руку и приложил прямо к голому телу раскаленное до свечения долото, которое держал за деревянную ручку.

Послышалось потрескивание горящего мяса, чердак наполнился запахом камеры пыток. У Мариуса, обезумевшего от ужаса, подкосились ноги; даже бандиты, и те содрогнулись. Но едва ли хоть один мускул дрогнул на лице изумительного старика. Меж тем как раскаленное железо все глубже погружалось в дымящуюся рану, невозмутимый, почти величественный, он остановил на Тенардье беззлобный прекрасный взор, в возвышенной ясности которого растворялось страдание.

У сильных, благородных натур, когда они становятся жертвой физической боли, бунт плоти и чувств побуждает их душу открыться и явить себя на челе страдальца; так солдатский мятеж заставляет выступить на сцену командира.

— Несчастные, — сказал он, — я не боюсь вас, и вы меня не бойтесь.

И резким движением вырвав долото из раны, он бросил его за окошко, оставшееся открытым. Страшный огненный инструмент, кружась, исчез в темноте ночи и, упав где-то далеко в снег, погас.

— Делайте со мной, что угодно, — продолжал пленник. Теперь он был безоружен.

— Держите его! — крикнул Тенардье.

Двое из бандитов схватили пленника за плечи, а человек в маске, говоривший голосом чревовещателя, встал перед ним, готовый при малейшем его движении размозжить ему череп ключом.

В ту же минуту внизу за перегородкой и в такой непосредственной от нее близости, что Мариус не мог видеть собеседников, он услышал тихие голоса, обменявшиеся следующими фразами:

— Остается только одно.

— Укокошить?

— Вот именно.

Это совещались супруги Тенардье.

Тенардье медленно подошел к столу, выдвинул ящик и вынул нож.

Мариус беспокойно сжимал рукоятку пистолета. Непростительная нерешительность! Вот уже целый час два голоса звучали в его душе: один призывал чтить завет отца, другой требовал оказать помощь пленнику. Непрерывно шла эта борьба голосов, причиняя ему смертельные муки. До сих пор он лелеял надежду, что найдет средство примирить оба своих долга, но никакой возможности для этого не возникало. Между тем опасность все приближалась, истекли все сроки ожидания. Тенардье, с ножом в руках, над чем-то раздумывал, стоя в нескольких шагах от пленника.

Мариус растерянно водил вокруг глазами — к этому, как последнему средству, бессознательно прибегает отчаяние.

Вдруг он вздрогнул.

Прямо у его ног, на столе, яркий луч полной луны освещал, как бы указуя на него, листок бумаги. Мариусу бросилась в глаза строчка, которую не дольше чем нынешним утром вывела крупными буквами старшая дочь Тенардье:

*Легавые пришли.*

Неожиданная мысль блеснула в уме Мариуса: средство, которое он искал, решение страшной, мучившей его задачи, как, пощадив убийцу, спасти жертву, было найдено. Не слезая с комода, он опустился на колени, протянул руку, поднял листок, осторожно отломил от перегородки кусочек штукатурки, обернул его в листок и бросил через щель на середину логова Тенардье.

И как раз вовремя. Тенардье, поборов последние свои страхи и сомнения, уже направлялся к пленнику.

— Что-то упало! — закричала тетка Тенардье.

— Что такое? — спросил Тенардье.

Жена со всех ног кинулась подбирать завернутый в бумагу кусочек штукатурки. Она подала его мужу.

— Откуда он сюда попал? — удивился Тенардье.

— А откуда же, черт побери, мог он, по-твоему, попасть сюда? Из окна, конечно, — объяснила жена.

— Я видел, как он влетел, — заявил Гнус.

Тенардье поспешно развернул листок и поднес его к свече.

— Почерк Эпонины. Проклятие!

Он сделал знак жене и, когда та поспешно подошла, показал ей написанную на листе строчку. Затем глухим голосом добавил:

— Живо! Лестницу! Оставить сало в мышеловке, а самим смываться!

— Не свернув ему шею? — спросила тетка Тенардье.

— Теперь некогда этим заниматься.

— А как будем уходить? — задал вопрос Гнус.

— Через окно, — ответил Тенардье. — Раз Понина бросила камень в окно — значит, дом с этой стороны не оцеплен.

Человек в маске, говоривший голосом чревовещателя, положил на пол громадный ключ, поднял обе руки и трижды быстро сжал и разжал кулаки. Это было как бы сигналом бедствия команде корабля. Разбойники, державшие пленника, тотчас оставили его; в одно мгновение была спущена за окошко веревочная лестница и прочно прикреплена к краю подоконника двумя железными крюками.

Пленник не обращал никакого внимания на то, что происходило вокруг. Казалось, он о чем-то думал или молился.

Лишь только лестница была прилажена, Тенардье крикнул:

— Хозяйка, идем! — И бросился к окошку.

Но едва он занес ногу, как Гнус грубо схватил его за шиворот.

— Нет, шалишь, старый плут! После нас!

— После нас! — зарычали бандиты.

— Бросьте ребячиться, — принялся увещевать их Тенардье, — мы теряем время. Фараоны у нас за горбом.

— Давайте тянуть жребий, кому первому вылезать, — предложил один из бандитов.

— Да что вы, рехнулись? Спятили? — завопил Тенардье. — Видали таких олухов? Терять время! Тянуть жребий! Как прикажете, на мокрый палец? На соломинку? Или, может, напишем наши имена? Сложим записочки в шапку?..

— Не пригодится ли вам моя шляпа? — крикнул с порога чей-то голос.

Все обернулись. Это был Жавер.

Держа в руке свою шляпу, он, улыбаясь, протягивал ее бандитам.

#### Глава 21

#### Надо было бы всегда начинать с ареста пострадавших

Как только стемнело, Жавер расставил своих людей, а сам спрятался за деревьями на улице Застава Гобеленов, против лачуги Горбо, по другую сторону бульвара. Он хотел прежде всего «засунуть в мешок» обеих девушек, которым было поручено сторожить подступы к логову. Но ему удалось «упрятать» одну только Азельму. Что касается Эпонины, то ее на месте не оказалось, она исчезла, и он не успел ее задержать. Покончив с этим, Жавер уже не выходил из своей засады, прислушиваясь, не раздастся ли условный сигнал. Уезжавший и вновь вернувшийся фиакр его сильно встревожил. Наконец Жавер потерял терпение; он узнал кой-кого из вошедших в дом бандитов, заключил отсюда, что «напал на гнездо», что ему «повезло», и решил подняться наверх, не дожидаясь пистолетного выстрела.

Читатель помнит, конечно, что Мариус отдал ему ключ от входной двери.

Жавер пришел в самый нужный момент.

Испуганные бандиты схватились за оружие, брошенное ими где попало при попытке бежать. Через минуту эти страшные люди, все семеро, уже стояли в оборонительной позиции, один с топором, другой с ключом, третий с дубиной, остальные — кто со щипцами, кто с клещами, кто с молотом, а Тенардье — сжимая в руке нож. Жена его подняла большой камень, который валялся в углу у окна и служил скамейкой ее дочерям.

Жавер снова надел на голову шляпу и, скрестив руки, засунув трость под мышку, не вынимая шпаги из ножен, сделал два шага вперед.

— Стоп, ни с места! — крикнул он. — Через окно не лазить. Выходить через дверь. Так оно будет лучше. Вас семеро, нас пятнадцать. Нечего зря затевать потасовку, давайте по-хорошему.

Гнус вынул спрятанный за пазухой пистолет и вложил его в руку Тенардье, шепнув ему на ухо:

— Это — Жавер. В этого человека я стрелять не посмею. А ты?

— Плевать я на него хотел, — ответил Тенардье.

— Тогда стреляй.

Тенардье взял пистолет и прицелился в Жавера.

Жавер, находившийся в трех шагах от Тенардье, пристально взглянул на него и произнес только:

— Не стреляй. Все равно даст осечку.

Тенардье спустил курок. Пистолет дал осечку.

— Я ведь тебе говорил, — заметил Жавер.

Гнус бросил к ногам Жавера свою дубину.

— Ты, видно, сам дьявол! Сдаюсь.

— А вы? — обратился Жавер к остальным бандитам.

— Мы тоже, — последовал ответ.

— Вот это дело, вот это правильно. Ведь я же говорил, надо по-хорошему, — спокойно добавил Жавер.

— Я попрошу только об одном, — снова заговорил Гнус, — пусть не лишают меня курева, пока буду сидеть в одиночке.

— Согласен, — ответил Жавер.

Тут он обернулся и крикнул в дверь:

— Пора, входите!

Группа постовых, с саблями наголо, и полицейских, вооруженных кастетами и короткими дубинками, ввалилась в комнату на зов Жавера. Бандитов связали. От такого скопления людей в логове Тенардье, освещенном лишь одной свечой, стало совсем темно.

— Всем наручники! — распорядился Жавер.

— А ну-ка, подойдите! — раздался вдруг чей-то, не мужской, но отнюдь и не женский голос.

Это рычала тетка Тенардье, загородившаяся в углу у окна.

Полицейские и постовые отступили.

Она сбросила с себя шаль, но осталась в шляпе. Муж, скорчившись за ее спиной, почти исчезал под упавшей шалью, а жена прикрывала его своим телом и, подняв обеими руками над головой булыжник, раскачивала им, словно великанша, собирающаяся швырнуть утес.

— Берегитесь! — крикнула она.

Все попятились к выходу. Середина чердака сразу опустела.

Тетка Тенардье взглянула на бандитов, давших себя связать, и гортанным, хриплым голосом пробормотала:

— У-у, трусы!

Жавер улыбнулся и пошел прямо в опустевшую часть комнаты, находившуюся под неусыпным наблюдением супруги Тенардье.

— Не подходи, убирайся! Не то расшибу! — завопила она.

— Экий гренадер! — сказал Жавер. — Ну, мамаша, хоть у тебя борода, как у мужчины, зато у меня когти, как у женщины.

И он продолжал идти вперед.

Растрепанная, страшная тетка Тенардье расставила ноги, откинулась назад и с бешеной силой запустила камнем в голову Жавера. Жавер наклонился. Камень перелетел через него, ударился в заднюю стену, отбив от нее громадный кусок штукатурки, затем рикошетом, от угла к углу, пересек все, к счастью, теперь почти пустое помещение, и упал, совсем уже на излете, к ногам Жавера.

В одну минуту Жавер очутился возле четы Тенардье. Одна из огромных его ручищ опустилась на плечо супруги, другая — на голову супруга.

— Наручники! — крикнул он.

Полицейские всей гурьбой вбежали назад в комнату, и через секунду приказание Жавера было выполнено.

Это сломило тетку Тенардье. Взглянув на свои закованные руки и на руки мужа, она упала на пол и, рыдая, воскликнула:

— Дочки, мои дочки!

— Они за решеткой, — заявил Жавер.

Тем временем полицейские заметили и растолкали спавшего за дверью пьяницу.

— Уже успели управиться, Жондрет? — пробормотал он спросонья.

— Да, — ответил Жавер.

Шестеро бандитов стояли теперь связанные; впрочем, они все еще походили на привидения: трое сохраняли свою черную размалевку, трое других — маски.

— Масок не снимать, — распорядился Жавер.

Он окинул всю компанию взглядом, точно Фридрих II, производящий смотр на потсдамском параде, и, обращаясь к трем «трубочистам», бросил:

— Здоро́во, Гнус. Здоро́во, Башка. Здорово, Два Миллиарда!

Затем, повернувшись к трем маскам, приветствовал человека с топором:

— Здоро́во, Живоглот.

Человека с дубиной:

— Здоро́во, Бабет.

А чревовещателя:

— Здравия желаю, Звенигрош.

Тут Жавер заметил пленника, который с момента прихода полицейских не проронил ни слова и стоял опустив голову.

— Отвяжите господина, и никому не уходить! — приказал он.

Потом, важно усевшись за стол, на котором еще стояли свеча и чернильница, он вынул из кармана лист гербовой бумаги и приступил к допросу.

Написав первые строчки, всегда состоящие из одних и тех же условных выражений, он поднял глаза.

— Подведите господина, который был связан этими господами.

Полицейские огляделись вокруг.

— В чем дело, где же он? — спросил Жавер.

Но пленник бандитов — г-н Белый, г-н Урбен Фабр, отец Урсулы или Жаворонка — исчез.

Дверь охранялась, а про окно забыли. Едва почувствовав себя свободным, он воспользовался шумом, суматохой, давкой, темнотой, минутой, когда внимание от него было отвлечено, и, пока Жавер возился с протоколом, выпрыгнул в окно.

Один из полицейских подбежал и выглянул на улицу. Там никого не было видно.

Веревочная лестница еще покачивалась.

— Экая чертовщина! — процедил сквозь зубы Жавер. — Видно, этот был почище всех.

#### Глава 22

#### Малыш, плакавший во второй части нашей книги

На другой день после описанных событий, происшедших в доме на Госпитальном бульваре, какой-то мальчик поднимался вверх по правой боковой аллее бульвара, направляясь, по-видимому, от Аустерлицкого моста к заставе Фонтенебло. Уже совсем стемнело. Это был бледный, худой ребенок, в лохмотьях, одетый, несмотря на февраль, в холщовые панталоны; он шел, распевая во все горло.

На углу Малой Банкирской улицы сгорбленная старуха при свете фонаря рылась в куче мусора. Проходя мимо, мальчик толкнул ее и тотчас же отскочил, крикнув:

— Вот тебе раз, а я-то думал, тут большущая-пребольшущая собака!

Слово «пребольшущая» он произнес, как-то особенно насмешливо его отчеканивая, что довольно близко можно передать с помощью прописных букв: большущая, ПРЕБОЛЬШУЩАЯ собака!

Взбешенная старуха выпрямилась.

— У, висельник! — заворчала она. — Мне бы прежнюю мою силу, такого бы тебе пинка дала!

Но ребенок находился уже на почтительном от нее расстоянии.

— Куси, куси! — поддразнил он. — Ну если так, то я, пожалуй, и не ошибся.

Задыхаясь от возмущения, старуха выпрямилась теперь уже во весь рост, и красноватый свет фонаря упал прямо на бесцветное, костлявое, морщинистое ее лицо с сетью гусиных лапок, спускавшихся до самых углов рта. Вся она тонула в темноте, и виднелась одна только голова. Можно было подумать, что, потревоженная лучом света, из ночного мрака выглянула страшная маска самой дряхлости. Вглядевшись в нее, мальчик заметил:

— Красота ваша не в моем вкусе, сударыня.

И пошел дальше, снова принявшись распевать:

Король наш Стуконог,

Взяв порох, дробь и пули,

Пошел стрелять сорок.

Пропев эти три стиха, он замолк. В эту минуту он подошел к дому № 50/52 и, найдя дверь запертой, принялся колотить в нее ногами, причем раздававшиеся в воздухе мощные, гулкие удары обличали не столько его детские ноги, сколько обутые на них мужские сапоги.

Между тем следом за ним, вопя и неистово жестикулируя, подоспела та самая старуха, которую он встретил на углу Малой Банкирской улицы.

— Что такое? Что такое? Боже милосердный! Разламывают двери! Разносят дом! — орала она.

Удары не прекращались.

— Да разве нынешние постройки на этакое рассчитаны? — надрывалась старуха.

И вдруг неожиданно замолкла. Она узнала гамена.

— Да ведь это же наш дьяволенок!

— Ага! Да ведь это же наша бабка! — сказал мальчик. — Здравствуйте, Бюргончик. Я пришел повидать своих предков.

Старуха скорчила сложную гримасу, великолепно сымпровизированную злобой, применившей для этой цели уродство и дряхлость, но, к сожалению, пропавшую даром из-за темноты.

— Никого нет, бесстыжая твоя рожа, — ответила она.

— Вот тебе раз! — воскликнул мальчик. — А где же отец?

— В тюрьме Форс.

— Смотри-ка! А мать?

— В Сен-Лазаре.

— Так, так! А сестры?

— В Мадлонет.

Мальчик почесал за ухом, поглядел на мамашу Бюргон и вздохнул:

— Э-эх!

Затем повернулся на каблуках, и через минуту старуха, продолжавшая стоять на пороге у дверей, услыхала, как он запел своим чистым, юным голосом, уходя куда-то все дальше и дальше под черные вязы, дрожащие на зимнем ветру:

Король наш Стуконог,

Взяв порох, дробь и пули,

Пошел стрелять сорок,

Взобравшись на ходули.

Кто проходил внизу,

Платил ему два су.

1. Дитя *(лат.).* [↑](#footnote-ref-1)
2. Человечек *(лат.).* [↑](#footnote-ref-2)
3. Рабочий подросток парижских предместий. [↑](#footnote-ref-3)
4. Вертится колесо *(лат.).* [↑](#footnote-ref-4)
5. Любитель столицы *(лат.).* [↑](#footnote-ref-5)
6. Любитель села *(лат.).* [↑](#footnote-ref-6)
7. «Фуску, любителю Рима, привет с пожеланьем здоровья

   Шлю я — любитель села…»

   **(Гораций, Послания, I.)** [↑](#footnote-ref-7)
8. Се Париж, се человек *(лат.).* [↑](#footnote-ref-8)
9. Грек (презрительно) *(лат.).* [↑](#footnote-ref-9)
10. Щеголь *(исп.).* [↑](#footnote-ref-10)
11. Носильщик *(арабск.).* [↑](#footnote-ref-11)
12. «Спешу я. Кто за плащ хватает?» *(лат.)*. Комедия Плавта «Эпидик». [↑](#footnote-ref-12)
13. «Против Гракхов у нас есть Тибр. Пить из Тибра — то есть забывать о мятеже» *(лат.).* [↑](#footnote-ref-13)
14. Да будет свет *(лат.).* [↑](#footnote-ref-14)
15. Подонки столицы *(лат.).* [↑](#footnote-ref-15)
16. Чернь *(англ.).* [↑](#footnote-ref-16)
17. Леса достойны консула *(лат.).* [↑](#footnote-ref-17)
18. Католические молитвы. [↑](#footnote-ref-18)
19. Созвучие этих фамилий дает по‑французски следующую игру слов: «Дамасский меч, который рубит сен‑сирский болт». [↑](#footnote-ref-19)
20. Тебя Бога (хвалим) *(лат.)* — начало благодарственной католической молитвы. [↑](#footnote-ref-20)
21. Да почиют *(лат.).* [↑](#footnote-ref-21)
22. В иноверческой стране *(лат.).* [↑](#footnote-ref-22)
23. По‑французски слово «азбука» (А В С) звучит как abaisse — униженный, обездоленный. [↑](#footnote-ref-23)
24. Кастрат у лагерного костра *(лат.).* [↑](#footnote-ref-24)
25. Варвары и Барберини (*лат.*). [↑](#footnote-ref-25)
26. На страже закона — восстание (*исп.*). [↑](#footnote-ref-26)
27. Ты Петр — камень и на сем камне (*лат*.). [↑](#footnote-ref-27)
28. Человек и муж *(лат.)*. [↑](#footnote-ref-28)
29. Неизменность *(лат.)*. [↑](#footnote-ref-29)
30. Как состязающиеся в беге *(лат.)*. **Лукреций**. О природе вещей. [↑](#footnote-ref-30)
31. Л’**Эгль** (l’aigle) — по‑французски — орел. Орел был эмблемой в наполеоновском гербе. [↑](#footnote-ref-31)
32. По‑французски согласная «л» произносится «эль», так же, как слово «эль» (aile) — крыло. Отсюда каламбур: «Не улети на четырех своих «л», то есть: «Не улети на четырех своих крыльях». [↑](#footnote-ref-32)
33. Прописная буква Р по‑французски — грант эр (grand R). [↑](#footnote-ref-33)
34. Учитесь, судьи земли *(лат.)*. [↑](#footnote-ref-34)
35. Начало познания (*лат*.). [↑](#footnote-ref-35)
36. Быстро бегущий (*лат*.). [↑](#footnote-ref-36)
37. Если потребует обычай (*лат*.). [↑](#footnote-ref-37)
38. Время — деньги (*англ*.). [↑](#footnote-ref-38)
39. Хлопок — король (*англ*.). [↑](#footnote-ref-39)
40. Ибо ношу имя льва (*лат*.). [↑](#footnote-ref-40)
41. Тяготы жизни (*лат*.). [↑](#footnote-ref-41)
42. И стал свет (*лат*.). [↑](#footnote-ref-42)
43. Преисподняя (*лат*.). [↑](#footnote-ref-43)
44. Флейтщицы, нищие, мимы, шуты, лекаря площадные (*лат*.). **Гораций**. Сатиры. [↑](#footnote-ref-44)
45. Если двое встречаются с глазу на глаз в пустынном месте, вряд ли они будут читать «Отче наш» (*лат*.). [↑](#footnote-ref-45)